

Российская академия наук
Институт русского языка им. В.В. Виноградова

РУССКИЙ ЯЗЫК

в научном освещении

№1

ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Москва

2001

Редакционная коллегия:

А. М. Молдован (главный редактор), А. А. Алексеев, Х. Андерсен (США), Ю. Д. Апресян, А. Богуславский (Польша), И. М. Богуславский, Д. Вайс (Швейцария), Ж. Ж. Варбот, А. Вежбицкая (Австралия), М. Л. Гаспаров, А. А. Гиппиус, М. Ди Сальво (Италия), Д. О. Добровольский, В. М. Живов, А. Ф. Журавлев, А. А. Зализняк, Е. А. Земская, Х. Кайперт (Германия), В. В. Калугин (ответственный секретарь), Л. Л. Касаткин, Э. Кленин (США), А. Д. Кошелев, Л. П. Крысин, Р. Лясковский (Швеция), Х.-Р. Мелиг (Германия), И. Мельчук (Канада), Н. Б. Мечковская (Беларусь), Е. В. Падучева, Т. В. Рождественская, А. Тимберлейк (США), Х. Томмола (Финляндия), О. Н. Трубачев, М. Флайер (США), А. Я. Шайкевич, А. Д. Шмелев

Адрес редакции:

121019, Москва, ул. Волхонка 18/2, Институт русского языка

им. В. В. Виноградова РАН, Редакция журнала «Русский язык».

Тел.: (095) 201-79-92, факс: (095) 291-23-17, E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru

Зав. редакцией *Н. Н. Розанова*

Издатель *А. Д. Кошелев*

Редактор и корректор издательства *М.Н. Григорян*

Подписка на журнал оформляется в редакции

© Институт русского языка

им. В. В. Виноградова РАН

© Авторы, 2001

СОДЕРЖАНИЕ

Исследования

- Ю.Д. Апресян.* Системообразующие смыслы 'знать' и 'считать' в русском языке
- И.М. Богуславский.* Модальность, сравнительность и отрицание
- Е.В. Падучева.* Каузативный глагол и декаузатив в русском языке
- Л.Л. Касаткин.* Фонологическое содержание долгих мягких шипящих [ш':], [ж':] в русском литературном языке
- Л.П. Крысин.* Современный русский интеллигент: Попытка речевого портрета
- Г.А. Золотова.* Грамматика как наука о человеке
- Е.А. Земская.* Язык русского зарубежья: Итоги и перспективы исследования
- Е.Н. Ширяев.* Семантико-синтаксическая структура разговорного диалога
- М.Л. Гаспаров, Т.В. Скулачева.* Глагольная рифма и синтаксис стихотворной строки
- Д.О. Добровольский.* К динамике узуса (язык Пушкина и современное словоупотребление)
- Э.Ф. Керо Хервилья. (Испания).* Сопоставительное изучение неопределенных местоимений-прилагательных в русском и испанском языках в рамках референциального подхода
- A. Timberlake (USA).* Redactions of the Primary Chronicle
- П. Петрухин.* Syntaxis verbi. Консекутивный имперфект в ранних восточнославянских летописях

Информационно-хроникальные материалы

- О.Г. Ровнова.* Отчет о диалектологических экспедициях Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН 2000-го года
- И.И. Фужерон.* От библиотечной карточки к архиву С.И. Карцевского
- Л. Лённгрен.* XV съезд скандинавских славистов

Из истории Института русского языка РАН

- Н.Ю. Шведова.* О работе Отдела грамматики и лексикологии Института русского языка РАН (1944-2000 гг.)
- Л.П. Крысин.* Об истории создания и научной деятельности отдела современного русского языка
- Ж.Ж. Варбот.* Из истории отдела этимологии и ономастики

О.Н. Трубачев. Из воспоминаний (посвящается 25-летию начала публикации
Этимологического словаря славянских языков (ЭССЯ): 1974-1999 гг.)

Рецензии

Е.В. Красильникова. Позиционный взгляд на язык. Рецензия на книгу: М. В. Панов.
Позиционная морфология русского языка. М., 1999

А.В. Занадворова. Slavic Gender Linguistics / Ed. by Margaret H. Mills. Amsterdam/Philadelphia.
John Benjamins Publishing Company.. 1999 (Гендер-лингвистические исследования в
славянских языках / Под ред. М. Миллз. 1999)

Объявления

О.Н. Трубачев. Информация для участников очередного, XIII Международного съезда
славистов 2003 г.

К сведению авторов журнала «Русский язык в научном освещении»

Системообразующие смыслы 'знать' и 'считать' в русском языке¹

0. Вводные замечания

Давно замечено, что языковые значения неравноправны. Некоторые выражаются многими единицами языка, в том числе и единицами разной природы, а другие – ровно одним способом. Так, смысл 'причина' в чистом виде или с некоторыми наращениями выражается существительными *причина, основание, мотив, повод, предлог, подоплека, резон*; глаголами *вызывать (болезни), внушать (ужас), возбуждать (подозрения), пробуждать <вселять> (надежды), порождать (кризис), зарождасть (сомнения), производить (переполох), приводить к (краху), вынуждать (отставку), влечь за собой (наказание), сеять (панику)*; наречиями *поэтому, потому, потому-то, вот почему, оттого-то, почему, отчего*; союзами *потому что, вследствие того что, так как, поскольку*; предлогами *благодаря (вашему вмешательству), за (неимением доказательств), из (ревности), из-за (недостатка опыта), от (обиды), по (ошибке), с (испугу)*; и многими другими средствами². Точно так же ведет себя смысл 'причина' и в других языках. Напротив, смыслы типа 'воробей', 'береза', 'локоть', 'пирамида', 'сковородка', 'барион' и другие подобные чаще всего выражаются каким-то одним словом (если не считать производных типа *воробьиный, березовый, локтевой* и т. п.).

*Апресян Юрий Дереникович – академик РАН, главный научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН.

¹ Данная работа выполнена при финансовой поддержке РФНФ (грант № 99-04-00420а) и РФФИ (гранты № 99-06-80292 и № 00-15-98866) и является в известной мере итоговой в серии статей, посвященных указанным в ее заглавии смыслам. Первоначальная версия работы, а именно, словарная статья концептов [ЗНАНИЕ] и [МНЕНИЕ], предназначенная для третьего выпуска Нового объяснительного словаря синонимов русского языка, была обсуждена на заседании Сектора теоретической семантики Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН. Всем участникам обсуждения – В. Ю. Апресян, Е. Э. Бабаевой, О. Ю. Богуславской, И. В. Галактионовой, М. Я. Гловинской, С. А. Григорьевой, Б. Л. Иомдину, Т. В. Крыловой, И. Б. Левонтиной, А. В. Птенцовой, А. В. Санникову и Е. В. Урысон – автор выражает признательность за ценные критические замечания.

² Детальное описание причинных предлогов дано в [Левонтина 1997].

Очевидно, что богатство выражений смысла 'X' тем больше, чем он важнее для данного языка. Такие важные для языка смыслы часто грамматикализуются и образуют тот базовый каркас значений, на котором строится семантическая система языка в целом. В связи с этим их разумно называть системообразующими.

Как ясно из сказанного, конституирующее свойство системообразующих смыслов состоит в том, что каждый из них входит в состав значений многих языковых единиц разной природы (многообразие обличий). Другой стороной этого свойства является активность системообразующих смыслов в правилах взаимодействия языковых единиц разных уровней. При этом независимо от того, в состав какой лексической единицы они входят, они подчиняются одинаковым или очень сходным правилам ее синтаксического поведения, лексико-семантической сочетаемости, взаимодействия с грамматическими формами и их значениями, а также правилам коммуникативно-просодического оформления высказываний (единообразие проявлений). Иными словами, системообразующие смыслы могут предопределять несобственно семантические (синтаксические, сочетаемостные, морфологические, коммуникативно-просодические и иные) свойства разных лексических единиц.

Задача данной работы состоит в демонстрации понятия системообразующего смысла на материале фактивных слов, включающих смысл 'знать', и путативных слов, включающих смысл 'считать'. Многие системные свойства предикатов обоих этих классов, как общие (например, стивность и вытекающая из нее неспособность употребляться в актуально-длительном значении), так и различные (пресуппозиция истинности знания, транзитивность знания и нетранзитивность мнения, способность фактивных глаголов управлять косвенным вопросом и неспособность путативных глаголов к такому управлению, способность путативных глаголов управлять придаточным предложением, вводимым союзом *будто*, и неспособность к этому фактивных глаголов и т. п.), уже описаны в посвященной им обширной литературе³. Я постараюсь не повторять того, что уже хорошо известно, хотя иногда в целях полноты изложения это придется делать.

Начать эту работу следовало бы с толкований основных фактивных и путативных предикатов русского языка, а именно, глаголов *знать* и *считать*. Однако смыслы 'знать' и 'считать' являются семантическими примитивами, т. е. не поддаются истолкованию. Поэтому мы вынуждены прибегнуть к более свободной характеристике их семантики,

³ Упомянуть хотя бы важнейшие исследования о знании и мнении в короткой статье невозможно. Поэтому я ограничусь ссылками на самые доступные работы на русском языке, посвященные непосредственно словам *знать*, *знание*, *считать* и *мнение* и содержащие (за исключением работ, оформленных в виде словарных статей) дальнейшую библиографию предмета: [Апресян, Мельчук, Жолковский 1984], [Мельчук, Жолковский 1984], [Арутюнова 1988], [Дмитровская 1988], [Падучева 1988], [Зализняк 1992], [Апресян 1993], [Апресян 1995], [Шатуновский 1996], [Булыгина, Шмелев 1997].

а именно, к перечню их основных семантических свойств. Этому посвящена первая часть работы. Во второй части рассматриваются лексические, грамматические, словообразовательные и синтаксические единицы и классы единиц, в которые входят смыслы 'знать' и 'считать' (многообразие обличий). Наконец, в последней, третьей части исследуются несобственно семантические рефлексы этих смыслов в области правил их взаимодействия с единицами морфологического, коммуникативно-просодического, синтаксического и сочетаемостного уровней (единообразие проявлений).

1. Семантические свойства смыслов 'знать' и 'считать'

1.1. Предмет описания.

Любые языковые смыслы предстают прежде всего в виде лексем данного языка. Поэтому сначала следует вычленить те лексемы глаголов *знать* и *считать*², а также семантически производных от них существительных *знание* и *мнение*, которые являются прототипическими манифестантами соответствующих смыслов.

Слова *считать* и *мнение* не создают никаких проблем, потому что они, в сущности, однозначны; ср. *Я считаю, что попробовать стоит; Новый режиссер не разделял мнения актеров, что репертуар театра надо осовременить.*

Сложнее обстоит дело с многозначными словами *знать* и *знание*, у которых насчитывается до четырех лексем, не всегда соответствующих друг другу. У слова *знание* есть значение 'эрудиция' (ср. *Его знания потрясли современников*), которому не находится аналога в семантической структуре глагола *знать*. В свою очередь, у этого глагола выделяется значение 'быть знакомым с кем-л.' (ср. *Он лично знал многих выдающихся деятелей своего времени*), у которого нет аналога в семантической структуре слова *знание*. Эти тонкости, однако, касаются значений, которые в данной работе не рассматриваются. Поэтому нам достаточно будет выделить интересующее нас значение, а именно значение пропозиционального знания, на материале какого-то одного слова, скажем, существительного.

У слова *знание* можно выделить четыре главные лексем, различающиеся грамматическими формами, управляющими свойствами, сочетаемостью, а также наборами синонимов, антонимов и дериватов⁴. Ниже мы перечислим их с примерами и минимальными пояснениями. Вместо полных лексикографических толкований мы будем использовать более грубые перифразы значений.

⁴ Принцип разграничения лексических значений на основе различия их «языковых миров» подробно обосновывается в других работах автора. См., например, [Апресян 1999].

а) *Знание 1* ≈ ‘информация о том, что имело или имеет место в действительности’ [пропозициональное знание]⁵; ср. *знание, что он болен; знание того, в чем состоят причины кризиса; знание причин кризиса*; только в форме ЕД; управляет формой РОД, придаточным предложением, вводимым союзом *что*, и некоторыми другими типами придаточных предложений, вводимых эксплетивным местоимением *то*; синоним – *информация*; дериваты – *знать 1 (что он болен)* и *известно (что)*.

б) *Знание 2.1* ≈ ‘сведения о каком-л. объекте, понимание того, как он устроен и функционирует’ [знание-понимание]; ср. *знание автомобиля <компьютера, лошадей>; знание литературы <музыки, архитектуры>; со знанием дела*; только в форме ЕД; управляет формой РОД; синонимы – *осведомленность, компетенция*; антоним – *незнание*; дериват – *специалист*.

в) *Знание 2.2* ≈ ‘практическое владение чем-л., умение делать с данным предметом то, для чего он предназначен’ [знание-умение]; ср. *знание методов статистики <приемов самбо>; знание иностранных языков*; только в форме ЕД; управляет формой РОД; синоним – *владение*.

г) *Знание 2.3* ≈ ‘информированность’ [знание-эрудиция]; ср. *обширные <глубокие> знания; прочные знания; знания в разных областях современной науки; получать <давать, приобретать> знания*; обычно в форме МН; управляет предложно-именной группой в *области* + РОД; синонимы – *начитанность, познания, эрудиция*; неточный антоним – *невежество*; дериваты – *знаток, знающий (человек)*.

Существует большой класс употреблений слова *знание*, промежуточных между *знанием 2.1*, *знанием 2.2* и *знанием 2.3*. Ср. *знание народа <жизни, природы>; знание Москвы; Поэт, обладающий редким в наши дни знанием и чутьем языка, часто выводит свои стихи за пределы обычного понимания* (В. Ходасевич, О. Мандельштам «Tristia». СТИХИ. 1922); *Чувствуется знание темы, владение материалом* (С. Довлатов, Ремесло). Мы, однако, ограничимся простой констатацией этого факта, потому что детальное рассмотрение промежуточных употреблений увело бы нас в сторону от основной темы. Нас будет интересовать только пропозициональное знание (лексемы *знать 1* и *знание 1*), а оно хорошо противопоставлено другим видам знания.

Помимо прототипических средств выражения пропозиционального знания смысл ‘знать’ выражается такими словами и устойчивыми словосочетаниями, как *ведать 2* (ср. *Я ведаю, что боги превращали / Людей в предметы, не убив сознанья* (А. Ахматова)), *быть в*

⁵ Прототипическими для пропозиционального знания являются контексты, в которых предикаты *знать* и *знание* управляют придаточным изъяснительным предложением со сказуемым в форме ПРОШ или НАСТ и референцией к моменту в прошлом или к моменту речи, причем придаточное предложение описывает верифицируемое положение вещей (не является оценочным или модальным, не изображает чужое сознание или какие-то другие трудно наблюдаемые материи). В этом отношении наша позиция близка к позиции Н. Д. Арутюновой; см. [Арутюнова 1988: 158 и сл.]

неведении, не иметь понятия, не иметь представления, узнавать 1.1, помнить, забывать, известно, общеизвестно, неизвестно, неведомо, заведомо, не секрет, сведения, информация и некоторыми другими.

Смысл 'считать', в свою очередь, тоже выражается рядом менее прототипических для него слов и устойчивых словосочетаний, таких, как *полагать*, *думать 2* (что будет дождь), *находить 4* (что больной выглядит неплохо), *предполагать*, *рассматривать 4* (что как что), *смотреть 2* (на что как на что), *подозревать 1* кого-л., прост. *думать 4* <грешить 3> на кого-л. (= 'неосновательно подозревать 1'), *подозревать 2* что-л. (ср. *Врач подозревал у больного туберкулез*), *высоко* <*низко*> *ставить* кого-что, *считаться*, *слыть*, *казаться 1*, *быть на хорошем* <*плохом*> *счете*, *быть таким-то* в чьих-л. *глазах*, *иметь цену* <*не иметь никакой цены*> в чьих-л. *глазах*, *взгляд 2*, *точка зрения* и т. п.

1.2. Основные различия между знанием и мнением

Хотя глаголы *знать*¹ и *считать*², как уже было сказано выше, являются семантическими примитивами и, тем самым, истолкованию не подлежат (в определенной мере это относится и к существительным *знание 1* и *мнение*), различия между ними могут быть уловлены и объективированы с помощью более свободных описаний значения.

Как известно, главное различие между знанием и мнением определяется их отношением к истинности той пропозиции, в которой сообщается содержание данного знания или мнения.

Знание принадлежит к классу фактивных предикатов, важнейшим свойством которых является так называемая пресуппозиция истинности знания, т. е. сохранение свойства истинности подчиненной пропозиции под отрицанием. Предложения типа *Он знал, что друзья его предали* и *Он не знал, что друзья его предали* в равной мере утверждают факт предательства друзей.

Мнение принадлежит к классу путативных предикатов, которые не предполагают обязательной истинности того, что человек считает. Мнения могут быть *неправильными*, *неверными*, *ложными*, *предвзятыми*, *субъективными*, с ними можно *спорить*, их можно *опровергать* и т. п. Поэтому ни из предложений типа *Он считал, что друзья его предали*, ни из предложений типа *Он не считал, что друзья его предали* нельзя заключить, имело ли место предательство на самом деле или нет.

Различие между утверждением о фактах и суждением о возможном положении дел мотивирует и все остальные семантические различия между фактивами и путативами. Перечислим их⁶.

⁶ Чтобы не создавать неудобств при чтении, мы будем везде, где это мотивировано синтаксическими соображениями, оперировать не глаголами *знать* и *считать*, а существительными *знание* и *мнение*.

1. Знание единственно, неизменно и не подлежит выбору: если кто-то знает, что Р, никакого другого знания на этот счет ни у кого быть не может.

Мнения, наоборот, предполагают множественность оценок одного и того же предмета, допускают свободный выбор какой-то одной точки зрения из нескольких или многих возможных и подвержены изменению. Ср. *считать иначе, разные мнения, столкновение мнений, идти против общего мнения, возражать против чьего-л. мнения, Мнения разделились, склоняться к мнению, отказаться <отойти> от мнения, укрепиться во мнении; Прежде и я всякого чудака считал больным, ненормальным, а теперь я такого мнения, что нормальное состояние человека - это быть чудаком* (А. П. Чехов, Дядя Ваня). По указанной причине для мнений характерны ситуации полемики, спора, дискуссии.

2. Мнение имеет конкретного носителя и в большинстве случаев носит глубоко личный характер, т. е. персонифицировано. Это – своего рода неотчуждаемая принадлежность субъекта. Поэтому можно говорить о *своем <собственном>* и *чужом мнении, мнении своего друга* и т. п. По той же причине можно говорить *Я так считаю <думаю>*, *Таково мое мнение, А как ты считаешь <думаешь>?* Ср. также *Какое же ваше личное мнение о Власове тех лет? Говорят, был самолюбив и чересчур обидчив?* (Ю. Бондарев, Горячий снег).

Знание не имеет авторства, оно деперсонифицировано. Поэтому не может быть ни *своего*, ни *чужого знания*. Нельзя сказать и **Я так знаю <ведаю>*, **Таково мое знание <знание моего друга>*, **А как ты знаешь?* Если *знать* в каких-то условиях попадает в контекст слов *так, как* и т. п., то меняется либо значение *знать*, либо значение самих этих слов. Ср. ответную реплику вида *Как знаешь <Как знаете> (Делай как знаешь) = 'Поступай, как считаешь нужным'*.

3. Прототипически мнение формируется актом воли конкретного человека; ср. *составить себе мнение, изменить мнение, отказаться от мнения; Слушаю, мессир, – сказал кот, – если вы находите, что нет размаха, и я немедленно начну придерживаться того же мнения* (М. Булгаков, Мастер и Маргарита). Ср. также форму СОВ *счесть* глагола *считать*, в которой указание на волю субъекта при формировании мнения выражено настолько явно, что она сближается по значению с глаголом *решить* и в ряде контекстов даже допускает замену на него: *Он счел, что обсуждать больше нечего ≈ Он решил, что обсуждать больше нечего*.

Знание человек не формирует, а получает из какого-то внешнего источника, и поэтому само возникновение знания с волей субъекта никак не связано. В этом отношении интересен глагол *узнать*, у которого есть значения 'получить знание от кого-л.' (*узнать 1.1*) и \approx 'спросить кого-л. о чем-л.' (*узнать 1.2*). *Узнать 1.1* управляет формой *от кого-л.*, которая предполагает пассивного субъекта. Ср. *Я узнал совершенно случайно от кого-то из*

попутчиков, что поезд в Твери не остановится. В таких случаях знание изображается как полученное мгновенно и совершенно независимо от воли субъекта. Именно поэтому субъект *узнавать I.1* может рассматриваться как субъект знания: он становится обладателем полного объема знания в момент его получения. *Узнать I.2*, как и любой другой глагол с похожим значением (*спросить, выяснить, поинтересоваться* и т. п.), управляет формой *у кого-л.*, которая предполагает активного агенса, ищущего знание и в момент поиска выступающего в качестве субъекта *не знания*. Ср. *Он пошел узнать у диспетчера, когда приходит поезд из Минска.* Различие между предлогами *от* и *у* в данном случае значимо: *от* и в других случаях вводит пассивного получателя какого-то объекта или информации, а *у* – активного агенса; ср. *Он получил от командира странный приказ* VS. *Он получил у секретаря нужную справку.* Этими различиями объясняется неправильность фраз типа **Он пошел <Он попытался, Ему удалось> узнать от диспетчера, когда прибывает поезд из Минска* и **Я узнал совершенно случайно у кого-то из попутчиков, что поезд в Твери не остановится.*

С указанными различиями коррелирует и то обстоятельство, что *узнавать I.1* – моментальный глагол, не способный употребляться в актуально-длительном значении НЕСОВ. Между тем *узнавать I.2* – обычный предельный глагол, свободно используемый в актуально-длительном значении НЕСОВ, которое, при прочих равных условиях, высвечивает преднамеренный характер действия. Ср. – *Что он там делает? – Узнает у проводника, какие будут остановки*, но не – *Что он там делает? – *Узнает от проводника, какие будут остановки*⁷.

4. Для знания, поступающего из внешнего источника, требуется специальное хранилище. Таким хранилищем является память человека, откуда знание извлекается, когда в нем возникает нужда, и откуда оно со временем может выпадать. Мнения локализуются не в памяти, а в уме человека. Сами они не используются время от времени в готовом виде, а постоянно находятся в работе и корректируются с учетом меняющихся обстоятельств. Поэтому человек часто забывает то, что знал раньше, но обычно не забывает того, что считал. Ср. правильное *Я ведь знал, что у него в этом году юбилей, но потом как-то забыл и не поздравил* и гораздо менее естественное, если не вовсе невозможное ^{??} *Я ведь считал <думал>, что у него в этом году юбилей, но потом как-то забыл.*

⁷ На связь длительности и преднамеренности, на другом материале, впервые обратил внимание Дж. Лаков в давней работе [Lakoff 1968]. Ср. его примеры *I cut my finger with a knife* (либо случайно, либо преднамеренно) VS. *I was cutting my finger with a knife* (только преднамеренно). К этому наблюдению можно добавить, что неоднозначность вида 'непреднамеренно - преднамеренно' в недлительных значениях особенно характерна для глаголов с деструктивным значением типа *ломать, разбивать, рвать, резать, царапать* и т. п. Ср. *Он сломал забор <разбил окно, порвал рубаху, поцарапал себе палец, ...>* (два осмысления) VS. *Смотри, он ломает забор <разбивает окно, рвет рубаху, царапает себе палец, ...>* (только преднамеренное осмысление).

5. Поскольку знание получают, а мнение формируют, первое представляется как относительно более пассивное состояние сознания субъекта, чем второе. С этим связано различие в арсенале предикатов, из которого черпаются метафорические наименования для концептов знания и мнения. Оба концепта выражаются, в частности, глаголами и существительными, которые в своих исходных значениях называют некоторые типы восприятия. Однако метафоры знания чаще черпаются из класса предикатов со значением пассивного восприятия и не ограничены каким-то одним типом восприятия. Ср. глаголы *видеть*, *слышать* и *чувать* в следующих контекстах: *Я хотел бы видеть* [\approx 'знать'], *как будут использоваться мои деньги*; *Я уже от многих слышал* [\approx 'знаю'], *что вы собираетесь нас покинуть*; *Народ правду чувствует* [\approx 'понимает, осознает']. Между тем метафоры мнения чаще черпаются из класса предикатов со значением активного восприятия, причем преимущественно зрительного, т. е. чаще всего образованы от основ глаголов *смотреть*, *глядеть* и *взирать*. Ср. *Церковь стала рассматриваться как государственный институт* [\approx 'стала считаться таковым'], *Как он посмотрит на ваше решение?* [\approx 'какое у него будет мнение по поводу вашего решения'], *Я усматриваю в этом злой умысел* [\approx 'считаю, что есть'], *Гляди на вещи просто* [\approx 'считай, что все просто'], *Попытайтесь взглянуть на его поступок другими глазами* [\approx 'составить другое мнение о его поступке']; – *Ну-с, Марлуша, как ты на это дело взираешь? – наконец спросило "Видное лицо"* (В. Аксенов, Остров Крым). Ср. также лексемы *взгляд*, *воззрение*, *мировоззрение* – все со значением 'мнение' или 'система взглядов'.

6. Прототипическое знание представляется как движущееся из внешнего мира к субъекту. Особенно красноречивы в этом отношении метафоры иррационального понимания типа *И тут его осенило*, *Его озарила догадка*, *До него дошло* и т. п.⁸. Такие факты можно считать аргументом в пользу изложенного представления о движении знаний, ибо понимание в конечном счете сводится к знанию; см. [Апресян 1995: 49-50].

Нужно обратить внимание и на другое обстоятельство. Поскольку знание представляет ценность само по себе, безотносительно к своему носителю, человек стремится аккумулировать его в как можно большем объеме и часто прилагает специальные усилия для его получения. Однако даже в том случае, когда человек активно ищет знание, оно все-таки представляется как идущее из внешнего мира к субъекту. Этот аспект знания находит отражение в хорошо развитом фрагменте глагольной лексики, которая связана с идеей активного приобретения знания. Ср. следующие синонимические ряды русского языка: а) *спрашивать*, *осведомляться*, *справляться*, *интересоваться* 1.1 (ср. *Он поинтересовался, где я так здорово научился говорить по-китайски*), *любопытствовать*, *вопрошать*,

⁸ Этот класс метафор описан в работе [Иомдин 1999].

запрашивать; б) расспрашивать, выспрашивать, выпытывать, допытываться; в) опрашивать, допрашивать; г) узнавать 1.2 (что-л. у кого-л.), выяснять, интересоваться 1.2 (ср. Следователи особенно (за)интересовались его американскими родственниками); д) разузнавать, дознаваться, выведывать; е) высматривать, вынюхивать⁹. Во всех этих рядах отражено представление о движении знания из внешнего мира к субъекту.

Мнения и в этом отношении противопоставлены знанию. Конечно, для правильной ориентации в мире полезно знать мнения других людей, потому что мнения являются концентрированным выражением личности человека. В связи с этим чужими мнениями интересуются, о них спрашивают, их выясняют <узнают> и т. п. Но это делают не для того, чтобы обогатить свое собственное “я”, т. е. свой внутренний мир еще одним мнением, а для того, чтобы расширить свое знание внешнего мира за счет знания мнений другого человека. Следовательно, и в этом случае речь идет о движении знания из внешнего мира к субъекту, а не о движении мнений в этом направлении.

Движение мнений как таковых имеет прямо противоположное направление – они склонны к экспансии во внешний мир. Каждая личность заинтересована в том, чтобы как можно больше людей разделяло ее взгляд на конкретную ситуацию и на жизнь вообще. Поэтому человек не только экстериоризирует свои мнения – *выражает* <высказывает, излагает> их, *делится* <обменивается> ими и т. п., но и активно, а иногда даже агрессивно внедряет их в чужое сознание. Ср. *убеждать* <уверять> кого-л. в чем-л., *доказывать* 2 <внушать, нашептывать> кому-л. что-л. (ср. *Мать доказывала <внушала> мне, что мне еще рано жениться*), *навязывать* кому-л. свои мнения <свою точку зрения>, разг. *распропагандировать* <обработать> кого-л., *обрабатывать общественное мнение*, разг. *промывать мозги* кому-л. и т. п. Итак, главное направление в движении мнений – от человека во внешний мир.

7. И знание, и мнения имеют определенную ценность. При этом ценность знания определяется преимущественно типом источника, из которого оно получено. Оно оценивается тем выше, чем необычнее этот источник. Особенно ценится знание, полученное любым неэмпирическим путем, в частности, от высшей силы. Этот аспект знания проявляется в словосочетаниях типа *божественное* <высшее, возвышенное, вещее, мистическое, сверхъестественное, сокровенное> знание, невозможных или нехарактерных для мнения. Ср. *Что же возвышало их [детей] над нами? Невинность или некое высшее знание, пропадающее с возрастом?* (Ю. Казаков, Во сне ты горько плакал); *Но не только улыбка - лицо твоё приобрело выражение возвышенного, вещевого знания, – каждое мгновение оно становилось иным, но общая гармония его не угасала, не изменялась*

⁹ Примеры из словарной статьи *спрашивать 1*, написанной автором совместно с М.Я. Гловинской для третьего выпуска Нового объяснительного словаря синонимов русского языка.

(Ю. Казаков, Во сне ты горько плакал). Еще отчетливее этот смысл представлен в глаголе *ведать* и в классе этимологически родственных ему слов типа *вещий, вещун, Благовещение* и т. п., в значение которых входит указание на провидческий или мистический характер знания или на то, что обладатель знания получил его от высшей силы¹⁰. Ср. *Ты ведаешь, что некий свет струится / Объемля все до дна, / Что ищет нас, что в свисте ветра длится / Иная тишина* (А. Блок); *Я сейчас предсказывать способна / Вецим ясновиденьем сивилл* (Б. Пастернак); *Народ говорит, что мул есть создание вещее, редкое по сокровенности чувств и помыслов, по уму и чуткости ко всему тайному и дивному, чем полон мир* (И. Бунин, Мистраль).

Ценность мнений определяется главным образом интеллектуальным или социальным весом их носителей – умом человека (*дельное мнение*), его опытом (*авторитетное мнение, прислушиваться к мнению*), нетривиальностью его мышления (*оригинальное <интересное> мнение*), его положением в социальной иерархии или в личном мире субъекта оценки (*считаться с мнением, дорожить мнением*), количеством людей, которые его разделяют (ср. *общественное <всеобщее> мнение, с одной стороны, и ходячее <расхожее> мнение, с другой*).

2. Классы единиц, в которые входят смыслы ‘знать’ и ‘считать’

Семантические компоненты ‘знать’ и ‘считать’ (или ‘знание’ и ‘мнение’) входят в значения языковых единиц разной природы – лексических, синтаксических, словообразовательных и морфологических. В ряде случаев они становятся основой бинарных оппозиций, включая синонимические.

2.1. Лексика

Если человек А *ведет* кого-то в место Х, то это в норме предполагает, что А знает путь в Х. Человек А *ищет* <*разыскивает*> вещь В, когда он не знает, где В находится. Мы говорим, что какая-то вещь *исчезла* <*пропала, куда-то делась*>, если она перестала находиться в том месте, где была раньше, и мы не знаем, где она находится в момент высказывания. *Память* Х-а это мыслимая как полый объект часть сознания Х-а, предназначенная для долговременного хранения того, что человек знает. Человек *помнит* Р (*адрес, телефон* и т. п.), если в какой-то момент в

¹⁰ Любопытно, что отношения между *знать* (в основном, “земное” знание) и *ведать* (чаще высшее знание) в современном русском языке прямо противоположны тем, которые, по-видимому, существовали между их этимонами в индоевропейском языке; см. [Степанов 1997: 339 и сл.].

прошлом он знал Р, если позднее это знание могло выпасть из его памяти, но не выпало, и он знает это в момент наблюдения. Человек *забыл* Р, если в какой-то момент в прошлом он знал Р, но позднее это знание выпало из его памяти, и он не знает этого в момент наблюдения, причем он сам или говорящий знает, что он этого не знает¹¹.

Мы *убеждаем* человека в чем-то, когда хотим, чтобы он считал то же, что думаем мы сами. *А приписывает X-у B* (например, *этот поступок, дурные намерения*) = ‘А считает, что X сделал или имеет B’; *А относит B к X-у* (ср. *относит его дерзость к отсутствию выдержки*) = ‘А считает X причиной B’; *А возводит B к X-у* (ср. *возводит рукопись к XI веку*) = ‘А считает, что B восходит к X-у’; *X притворяется, что Y* = ‘не делая Y, не будучи в состоянии Y или не имея свойства Y, X подражает типичному поведению человека, который делает Y, находится в состоянии Y или имеет свойство Y, чтобы Z считал, что X – Y, потому что X считает, что это поможет ему достичь цели’; *А хвастается X-м* = ‘А говорит, обычно с преувеличениями, о том особенном X, который он или кто-то из его личной сферы имеет или сделал, считая, что собеседник будет лучше о нем думать’.

Если исключить ситуации риторического, экзаменационного и другие подобных типов «ненастоящих» вопросов, *А спрашивает B о P* в том случае, когда он не знает чего-то о P, хочет знать это и знает или считает, что B располагает нужной ему информацией. *А сомневается в P*, когда он не знает, P или не P, и считает, что скорее не P. *X ошибается, думая P* = ‘X думает, что P; говорящий считает или знает, что не P; говорящий считает, что X думает P, потому что не знал фактов или не понял их’.

¹¹ Традиционные лексикографические толкования слов *память*, *помнить* и *забыть* образуют порочный круг; ср. *Забывать* = ‘Переставать помнить, не сохранять в памяти’; *Помнить* = ‘Удерживать в памяти, не забывать’; *Память* = ‘Способность запоминать, сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления’; *Запоминать* = ‘Удерживать, сохранять в памяти’ (БАС). Ср. также толкования из нового, 20-томного издания Большого оксфордского словаря [Oxford 1988]: *Forget* = ‘to lose remembrance of; to cease to retain in one’s memory’; *Memory* = ‘the faculty by which things are remembered; the capacity for retaining, perpetuating, or reviving the thought of things past’; *Remember* = ‘to retain in, or recall to, the memory; to bear in mind, recollect’; *Mind* = ‘the state of being remembered; remembrance, recollection’ (*to have, bear, keep in mind, to bring, call to mind, to be, go, pass out of mind*); *Recollect* = ‘to call or bring back (something) to one’s mind’. В 60-е и 70-е годы названная группа слов стала предметом серьезных теоретических штудий. В работах П. Постала, Дж. Макколи, Дж. Лакова, А. Вежбицкой и других авторов были предприняты первые попытки вырваться за пределы этого порочного круга, сведя значения всех таких слов к смыслу ‘знать’ и ряду фазовых, каузативных и иных наращений (ср., например, *forget* = ‘to cease to know’ (J. McCawley), ‘to cease to know due to a change in the mental state of the subject’ (G. Lakoff); см. [Wierzbicka 1972: 228]. В наших определениях используется идея сведения смысла ‘помнить’ к смыслу ‘знать’, но делается новый, хотя и сугубо предварительный шаг на этом пути. Более подробно эти и другие глаголы памяти мы предполагаем обсудить в специальной работе.

В паре синонимов *советовать* – *рекомендовать* первый синоним в типичных употреблениях содержит указание на мнение субъекта о том, как адресату лучше всего поступить в рассматриваемой ситуации, а второй – на его знание, что надлежит делать. Ср. *Советую погулять <поспать> до обеда, Врачи рекомендовали ему сократить рабочий день до трех часов*. Поскольку рекомендация опирается на знание, *рекомендовать* в целом более категорично и решительно, чем *советовать*. В частности, этот глагол не встречается в контексте слов, обозначающих неуверенность, между тем как для *советовать* такой контекст вполне допустим. Ср. *неуверенно посоветовать* при неправомерности ^{??}*неуверенно порекомендовать*. Тем же семантическим различием мотивировано и различие в наборе грамматических форм двух глаголов (см. ниже раздел 3.1)¹².

Похожее различие представлено и в паре синонимов *советоваться* – *консультироваться* (*с кем-л. по поводу чего-л.*): первый глагол предполагает обращение к мнениям собеседника и его жизненному опыту в ситуации, когда субъект не может сам решить свои проблемы, а второй – к его профессиональному знанию.

Более тонкая оппозиция фактивности и путативности представлена в паре значений союзов *когда 1* (временного) и устар. *когда 2* (условного, ср. *Шутить не время. Дай ответ / Когда не хочешь пытки новой* (А. С. Пушкин, Полтава)). Временное значение *когда* относит высказывание к действительному миру, миру фактов: оно реализуется, когда говорящий знает, что описываемые события имели, имеют или будут иметь место. Условное значение *когда* относит высказывание к возможному, но еще не существующему миру: оно реализуется, когда говорящий считает, что обсуждаемые события могут произойти. По указанной причине предложения с условным *когда* требуют постановки сказуемого и в главном, и в придаточном предложении в форму не прошедшего времени. Сказуемое в форме прошедшего времени изъявительного наклонения (в собственных значениях последних) сразу переводит высказывание в мир фактов и возможно только при временном *когда*¹³.

¹² Уточненный пример из одноименной словарной статьи М. Я. Гловинской и автора. См. [Апресян, Гловинская 1997].

¹³ Лингвистам этот факт очень хорошо известен; см., например, [Грамматика 60: 324]. Тем удивительнее полемика, уже не один десяток лет идущая в литературоведении, по поводу того, как следует понимать начальные строки “Евгения Онегина” *Мой дядя самых честных правил, / Когда не в шутку занемог, / Он уважать себя заставил / И лучше выдумать не мог* (см. [Перцов 2000]). В частности, существует целая школа (к ней принадлежит и Н. В. Перцов), представители которой всерьез полагают, что союз *когда* во второй строке выражает условное значение. В подтверждение своей интерпретации они ссылаются на то, что в конце этой строки должна была стоять, по замыслу Пушкина, не запятая, а точка с запятой (по поводу которой существует отдельная литература). Почему-то никого не смущает, что элементарное грамматическое правило (см. выше) полностью исключает возможность каких-либо интерпретаций *когда*, кроме временной, вследствие того простого факта, что глагол *занемог* имеет форму ПРОШ.

2.2. Синтаксис, морфология, словообразование

Семантическая оппозиция ‘знание’ – ‘мнение’ ярче всего проявляется в сфере глагольного управления. Так, многие глаголы, в значение которых входит отрицательная оценка каких-то поступков или свойств человека, подчиняют два ряда предложно-именных групп, обозначающих предосудительный поступок или свойство адресата, – *за* + ВИН и *в* + ПР. Первый тип управления вводит в рассмотрение факт, т.е. знание того, что адресат сделал или имеет что-то плохое. Ср. *ругать кого-л. за беспорядок в комнате, укорять кого-л. за опоздание, осуждать кого-л. за неявку на собрание, наказывать кого-л. за непослушание* [беспорядок, опоздание, неявка на собрание, непослушание действительно имели место]. Второй тип управления, как правило, вводит в рассмотрение гипотетическое положение дел, т. е. мнение субъекта или его интерпретацию фактов. Ср. *подозревать кого-л. в убийстве, обвинять кого-л. в черствости* [неясно, совершил ли некий человек убийство, проявил ли кто-то черствость]. Иногда такое альтернативное управление свойственно одной и той же лексеме, с сохранением семантической оппозиции ‘знание’ – ‘мнение’ при разных управляемых формах; ср. *упрекать кого-л. за черствость* [черствость была реально проявлена] VS. *упрекать кого-л. в черствости* [не исключена предвзятость субъекта, который принял за черствость, например, простую сдержанность адресата]¹⁴.

В сфере морфологии та же оппозиция семантических компонентов ‘знание’ – ‘мнение’ представлена потенциальными значениями форм НЕСОВ и СОВ по крайней мере в некоторых употреблениях последних, в частности, в употреблениях, где речь идет о физических возможностях конкретного объекта. Ср. *Он поднимает 500 килограмм – Он поднимет 500 килограмм, Она пробегает стометровку за десять секунд – Она пробежит стометровку за десять секунд, Этот автомобиль развивает скорость до 200 километров в час – Этот автомобиль разовьет и бо'льшую скорость. X делает P* [например, поднимает 500 килограмм] = ‘X может сделать P; говорящий утверждает это, потому что знает, что X делал это раньше’; *X сделает P* [например, поднимет 500 килограмм] = ‘X может сделать P; говорящий утверждает это, потому что при восприятии X-а (непосредственном или опосредованном) у него сложилось такое мнение’.

Что касается словообразования, то стоит отметить один словообразовательный тип, правда, небольшой по объему, позволяющий стандартно выразить ссылку на чье-л. мнение. Это производные от притяжательных прилагательных *мой, твой, ваш*, прост. *ихний* в форме ДАТ с приставкой *по-*, имеющие значение вида ‘согласно мнению такого-то’.

¹⁴ Это свойство глагола *упрекать* отмечено в [Апресян, Гловинская 2000].

Ср. По-моему [= Я думаю, Мне кажется], на завтра назначено заседание ученого совета; По-твоему <по-вашему>, сделать уже ничего нельзя.

3. Несемантические рефлексы смыслов ‘знать’ и ‘считать’

Ниже мы рассмотрим морфологические, коммуникативно-просодические, синтаксические и сочетаемостные рефлексы исследуемых смыслов.

3.1. Морфологические рефлексы

1. Представление о единственности пропозиционального знания отражается в том, что лексема *знание 1*, в отличие, например, от *знания 2.3* (эрудиции, ср. *обширные знания, давать <получать> знания*), используется исключительно в форме ЕД. Между тем слово *мнение* имеет обе числовые формы, что непосредственно отражает возможность существования разных мнений об одном и том же предмете.

2. В области глагольных форм интересно проявляют себя идеи персонифицированности мнения и деперсонифицированности знания. В паре синонимов *советовать – рекомендовать*, как мы уже говорили, первый синоним в типичных употреблениях содержит указание на мнение субъекта о том, как адресату лучше всего поступить в рассматриваемой ситуации, а второй – на его знание, что надлежит делать (см. примеры выше). Этим семантическим различием мотивировано различие в наборе грамматических форм двух глаголов. Поскольку знание деперсонифицировано и легко отчуждается от его носителя, глагол *рекомендовать* свободно употребляется в форме СТРАД с устраненным субъектом; ср. *При малейшей неисправности в сети рекомендуется выключать электроприборы. У глагола советовать формы СТРАД нет вообще, потому что мнения принадлежат конкретному человеку и от автора, как правило, не отчуждаются*¹⁵.

¹⁵ В подтверждение того, что “персонифицированность”, т. е. наличие внутренней связи между субъектом и тем, что является его неотчуждаемой принадлежностью, препятствует пассивизации, можно привести любопытные системные факты из совершенно другой области. Мы имеем в виду глаголы типа *вынимать, опускать, открывать, поднимать, растягивать, сжимать* и т. п., которые сочетаются, в частности, с *potina anatomica* – важнейшим классом существительных неотчуждаемой принадлежности; ср. *Мужчина вынимает руки из карманов <опускает голову, открывает рот, поднимает руку, растягивает губы, сжимает зубы>*. В таких употреблениях представлен агенс, глагол физического действия и прямое дополнение глагола, т. е. идеальные условия, необходимые для пассивизации. Однако полная пассивная конструкция (с агенсом в творительном падеже) в форме НЕСОВ невозможна совсем (ср. неправильность конструкций типа **Голова опускается мужчиной, *Рот открывается мальчиком*), а полная пассивная конструкция с глаголом в форме СОВ явно затруднена. Между тем при деперсонифицированном дополнении пассивизация в форме НЕСОВ становится допустимой, а в форме СОВ – совершенно свободной. Ср. *Гроб опускается <был опущен> рабочими в могилу, Дверь открывается <была открыта> привратником* и т. п. Ср. также глаголы типа *морищить, скалить, тарачить, хмурить, цуричь* и т. п., которые употребляются преимущественно или исключительно с *potina anatomica* и которым пассивизация в форме НЕСОВ категорически противопоказана. Даже в таком языке, как английский, где пассив грамматикализован в гораздо большей степени и может быть образован не только от переходных, но и от непереходных глаголов, в том числе от глаголов состояния, он становится невозможен при персонифицированном дополнении; ср. *He knocked his fist (on the table)*, но не **His fist was knocked by him (on the table)*.

Аналогичным образом могут различаться и разные лексемы одного слова. Таковы, например, лексемы *доказывать 1* (ср. *Эйнштейн доказал, что при увеличении скорости физического тела до световой его масса становится бесконечной*) и *доказывать 2* (ср. *Она доказывала мне, что сейчас нельзя ехать на Кавказ <что мне еще рано думать о женитьбе>*). Первая из них вводит представление о новом знании, равно открытом всем людям, т. е. обозначает демонстрацию общей истины, не имеющей конкретного адресата; поэтому, кстати, в данном случае невозможно управление формой ДАТ, весьма характерное для *доказывать 2*. Действие, обозначаемое глаголом *доказывать 2*, направлено на изменение мнений конкретного адресата. Это различие между *доказывать 1* и *доказывать 2* тоже проявляется в возможности формы СТРАД в первом случае и ее невозможности во втором. Ср. *Эта теорема доказывается совсем просто, но не *Легко доказывается, что мне еще рано думать о женитьбе*¹⁶.

3.2. Коммуникативно-просодические рефлексy

1. Передавая информацию об истинном положении дел, фактивные слова даже вне рематизирующего контекста (не под отрицанием, не в конце предложения) могут нести на себе главное фразовое ударение и быть ремой высказывания; ср. *Я √знал, что он приезжает во вторник*. Путативные слова, вводящие суждение, которое может быть как истинным, так и ложным, никогда не несут главного фразового ударения вне рематизирующего контекста и обычно принадлежат теме высказывания. Ср. *Я считал, что он приезжает во √вторник*. Единственный тип фразового ударения, которое они могут нести в такой позиции, – это логическое, или контрастное ударение, с коммуникативной функцией контрастной ремы. Ср. *Вы ↑↑считаете, что за вами установлено негласное наблюдение, или вы это √√знаете?*

2. *Знать*, как было сказано тяготеет к положению в реме высказывания, а *считать*, *полагать*, *думать* и т. п. – к положению в его теме.

¹⁶ Пример из [Гловинская 2000].

Поэтому *знать* допускает постпозицию главного предложения по отношению к придаточному, т. е. вынос в прототипическое для ремы положение в конце предложения, а *считать* и его синонимы – нет. Ср. *Что договор уже подписан, я знал; Что власть большевиков кончится, мы --- знаем, хотя никто не может предсказать, когда --- это произойдет* (В. Ходасевич). Невозможно, однако, **Что договор уже подписан, я считал <думал, полагал>*¹⁷.

3.3. Синтаксические рефлексии

Мы начнем рассмотрение материала с управляющих свойств (способов выражения валентностей субъекта, содержания и т. п.), а затем перейдем к другим синтаксическим свойствам фактивов и путативов.

1. Валентность субъекта ментального состояния свободно выражается при глаголах *знать* и *считать*. Что касается существительных *знание* и *мнение*, то валентность субъекта, особенно в форме РОД, вполне свободно выражается лишь у второго из них; ср. *мнение автора, что Р (подтверждается и нашими данными)*, но не *?? знание автора, что Р (подтверждается и нашими данными)*. Ср. также *Вы хотите знать мое мнение естественника? Может быть, как-нибудь в другой раз?* (Б. Пастернак, Доктор Живаго), где *знание* было бы совершенно невозможно. Объясняется это тем, что *мнение* присуще отдельной личности, а *знание* деперсонифицировано. Данное свойство знания аналогичным образом проявляется и в сочетаемости слова *знание*; см. ниже пункт 5 в разделе 3.4.

2. Валентность содержания и при глаголах, и при существительных обоих классов может выражаться придаточным предложением, вводимым союзом *что*; ср. *Он знал <считал>, что катастрофа неизбежна; Знание, что его болезнь неизлечима, парализовало его волю; Мнение лучших кардиологов, что спасти его может только хирургическое вмешательство, заставило его решиться на операцию.*

При большинстве слов, имеющих значение мнения, валентность содержания может, кроме того, реализоваться придаточным предложением, вводимым союзом *будто*, который подчеркивает неистинность мнения. Ср. *Но неверно распространенное мнение, будто --- для Сологуба жизнь абсолютно мерзка, груба, грязна* (В. Ходасевич, Сологуб); *Многие считают <думают>, будто психоанализ является эффективным методом лечения душевных заболеваний*. Для слов со значением знания такое управление по семантическим причинам невозможно.

Другой интересный способ насыщения валентности содержания характерен для полуфактивных стативных глаголов восприятия *видеть 1.1* и

¹⁷ Наблюдение о невозможности инверсии главного и придаточного предложений при “модусе полагания” принадлежит Н. Д. Арутюновой, но объясняет она эти факты иначе; см. [Арутюнова 1988: 121, 124].

слышать 1.1 в отрицательных предложениях. Оба глагола в контексте отрицания управляют придаточным предложением, вводимым либо союзом *что*, либо союзом *чтобы*; ср. *Я не видел, что он целовал Лену, Я не слышал, что он кричал; Я не видел, чтобы он целовал Лену, Я не слышал, чтобы он кричал*. При этом управление вида *что* + Р вводит представление о факте, т. е. знание того, что описываемое событие действительно имело место. Поэтому *что*-предложения допускают усиление фактивности за счет введения безусловно фактивной частицы *и*: *Я и не видел, что он целовал Лену, Я и не слышал, что он кричал*. Управление вида *чтобы* + Р вводит представление о гипотетическом положении дел. Об этом свидетельствует, в частности, невозможность введения в соответствующие предложения безусловно фактивной частицы *и*. Ср. неправильность **Я и не видел, чтобы он целовал Лену, *Я и не слышал, чтобы он кричал*.

При существительном *знание* валентность содержания выражается, кроме того, конструкциями вида *знание того, что* и *знание* + РОД, невозможных для *мнения*; ср. *Знание того, что его болезнь неизлечима, парализовало его волю; знание адреса <телефона>, знание причин кризиса, знание всех последствий инфляции*.

Ближайшая к ней конструкция со словом *мнение* имеет вид *мнение о* + ПР. Она выражает содержание мнения при условии, что позиция ПР заполняется предикатным существительным; ср. *Да кажется, и всеобщее мнение о моей талантливости было преувеличено* (Н. Тэффи, Собака). Для слова *знание* эта конструкция нехарактерна; ср. сомнительность ?? *знание о причинах кризиса*.

И у глаголов знания, и у глаголов мнения единая семантическая валентность содержания может расщепляться на две синтаксические валентности – валентность темы и валентность собственно содержания. Однако формы этого расщепления по большей части различны. У глаголов знания тема реализуется предложно-именной группой *о* + ПР, а содержание – синтаксическими местоимениями типа *то, это, что, что-нибудь, что-либо, ничего* и т. п. в форме ВИН; ср. – *Что ты знаешь о его планах? – Только то, что он собирается на Канары*¹⁸. У путативных глаголов (за исключением *думать*) валентность темы реализуется формой ВИН, а валентность собственно содержания – формой ТВОР (при глаголах *считать, полагать, находить, признавать*) и некоторыми союзно-именными группами (при глаголах *рассматривать, смотреть* и некоторых других).

3. На только что рассмотренный материал можно взглянуть и с несколько другой точки зрения. Поскольку мнения часто являются оценочными суждениями, путативные слова управляют разного рода квалификативными

¹⁸ Точно такой же тип расщепления единой семантической валентности на две синтаксические представлен и в близком по смыслу классе глаголов *спрашивать, запрашивать, выспрашивать, выведывать* и ряда других; ср. *Он что-нибудь у вас об этом спрашивал?*

конструкциями, в которых отдельными формами выражаются тема (предмет) оценки и ее содержание: *считать* <полагать, находить, признавать> кого-что [тема] каким [содержание], *рассматривать что* [тема] как что [содержание], *смотреть на что* [тема] как на что [содержание], *мнение о нем* [тема] как о хорошем отце [содержание] и т. п. Ср. *Я считаю <нахожу> ее красивой <умной>*, *Мы рассматриваем это как должностное преступление*, *Никто не разделяет вашего мнения о нем как о талантливом ученом*. Ср. также *высокое <невысокое, низкое> мнение о ком-чем-л.*, *хорошее <плохое> мнение о ком-чем-л.*, *ставить высоко <невысоко, низко> кого-что-л.*, *хорошо <плохо> думать о ком-чем-л.*, *быть высокого <невысокого> мнения о ком-чем-л.* Словам со значением знания такие квалификативные конструкции противопоставлены. В конструкциях типа *Она знала его здоровым*, внешне похожих на конструкции типа *Она считала его здоровым*, на самом деле представлена и другая синтаксическая конструкция (копредикативная, с временным значением 'знала его, когда он был здоров'), и другое значение глагола *знать* (≈ 'быть знакомым').

4. У глагола *знать* и семантически родственных ему существительных есть валентность внешнего источника, которая реализуется предложно-именными группами вида *из + РОД*, *от + РОД*, *в + ПР* и т. п. Ср. *сведения <информация> из первых рук*; *Откуда ты это знаешь <тебе это известно>?*; *Я знаю <знал> это от друзей <из газет >*. Мнение никакого внешнего источника не предполагает, и поэтому путативные слова подобными группами не управляют; ср. неправильность **Откуда ты это считаешь <думаешь>?*

5. В свою очередь, слова со значением мнения предполагают причину, т. е. факты, рассуждения и умозаключения, на основе которых человек формирует свой образ мира. Поэтому путативы подчиняют обстоятельства причины. Ср. *Почему ты так думаешь?*; *Поэтому я считаю, что беспокоиться нечего*. У знания причины нет. Поэтому неправильно **Почему ты это знаешь?*

6. Специфика предикатов мнения проявляется еще в одной особенности их синтаксического поведения. Обозначая изменчивые ментальные состояния человека, они приобретают способность употребляться в сравнительных придаточных предложениях типа *За лето дети выросли больше, чем мы думали*; *Озоновый слой атмосферы истощается быстрее, чем считали раньше*. Предикаты знания в таких конструкциях невозможны; ср. неправильность **За лето дети выросли больше, чем мы знали*; **Озоновый слой атмосферы истощается быстрее, чем знали раньше*.

7. Весьма существенны различия в синтаксическом поведении глаголов знания и мнения в контексте отрицания. Глаголы мнения типа *считать* и *думать* прозрачны для отрицания в том смысле, что могут перемещаться от такого глагола к предикату придаточного предложения без существенного изменения значения высказывания; ср. *Я не*

считаю <не думаю>, что ваши разногласия (уже) преодолены ≈ Я считаю <думаю>, что ваши разногласия (еще) не преодолены. Между тем через глаголы знания отрицание не проходит; высказывания типа Я не знал, что ваши разногласия (уже) преодолены и Я знал, что ваши разногласия (еще) не преодолены коренным образом различаются по значению.

3.4. Сочетаемость рефлексов

Описанные различия между смыслами 'знать' и 'считать' особенно ярко отражаются в сочетаемости слов с соответствующими значениями.

1. Прежде всего, фактивы и путативы ведут себя по-разному в контексте общеоценочных наречий *хорошо, прекрасно, отлично, твердо* и т. п. Знание допускает положительную оценку; ср. *Он хорошо <прекрасно, точно, твердо> знал, что за ним установлена слежка*. Правда, такая положительная оценка весьма условна. *Хорошо знать, что Р* и просто *знать, что Р* семантически более или менее эквивалентны. Более того, минимально и различие между *хорошо знать, прекрасно знать* и *точно знать*. Во всяком случае, оно ощутимо меньше, чем, например, различие между *хорошо ответить на вопрос, прекрасно ответить на вопрос* и *точно ответить на вопрос*. Объясняется это тем, что знание не имеет качества и поэтому не может оцениваться как хорошее или плохое. Добавление оценки *хорошо* к *знать* дает эффект усиления или подчеркивания смысла 'истинность', и без того заложенного в *знать*, но не создает нового смысла.

Путативы, наоборот, не сочетаются с общеоценочными наречиями и прилагательными типа *хорошо, прекрасно, отлично, хороший, прекрасный* и т. п. в требуемом значении; ср. неправильность **Он хорошо <прекрасно> считал <думал>, что за ним установлена слежка*. Правильные словосочетания *хорошее <плохое> мнение о ком-чем* служат средством выражения оценки не самого мнения, а его предмета; ср. *Он постепенно -- усвоил манеры баловня, удачника и вообще укрепился в хорошем мнении на собственный счет* (Н. Кожевникова).

Тем же семантическим свойством *знать* и других фактивов объясняется и его несочетаемость (в прототипической конструкции с союзом *что*) со словами общеотрицательной оценки типа *плохо*; ср. неправильность **Он плохо знал, что за ним установлена слежка*. Единственный смысл, который можно было бы придать словосочетаниям типа *плохо знать*, – кванторный: если плохо знает, значит, чего-то не знает, знает не все и т. п. Но истинность нельзя квантифицировать или как-то иначе дозировать, ее не может быть немного, мало или чуть-чуть.

Лишь при управлении косвенным вопросом *знать* допускает и отрицательную оценку; ср. *Он плохо знает, кто его настоящие враги*. Это объясняется тем, что косвенный вопрос не может обозначать никакого факта. Поэтому фактивность *знать*, как и других подобных слов, в таком контексте несколько размывается.

2. Фактивы и путативы ведут себя по-разному и в контексте наречий и прилагательных со значением истинности – ложности типа *правильно, неправильно, ошибочно, правильный, неправильный* и т. п. Слова *знать, знание* и другие подобные предикаты не встречаются в контексте таких наречий и прилагательных; ср. невозможность **Он правильно <неправильно> знал, что за ним установлена слежка, *Его правильное знание, что за ним следят, ничем ему не помогло*. Неграмматичность таких словосочетаний коренится в том, что они либо внутренне плеонастичны (*правильно знал*), либо противоречивы (*неправильно знал*).

Путативы, наоборот, свободно употребляются в контексте таких слов. Ср. *правильно <неправильно, ошибочно> считать, что Р; правильное <неправильное, неверное, ошибочное, субъективное, предвзятое> мнение; Да я тебя и не заставляю совершать зло, говорит дьявол, я просто думаю, что ты о нем неправильного мнения* (Ф. Искандер, Кролики и удавы).

3. Другая большая группа различий в сочетаемости слов со значением знания и мнения связана с идеями выбора, изменения и становления и проявляется в способности существительного *мнение* и соответствующих глагольных предикатов сочетаться со словами, в значение которых так или иначе входят смыслы ‘другой’ и ‘совпадающий’. Ср. *другое <чужое, такое же> мнение, изменить свое мнение, расходиться во мнениях, соглашаться с чьим-л. мнением, Я тоже так думаю <считаю>, А я думаю <считаю> иначе* и т. п. Слова *знание* и *знать* в контексте таких слов, как правило, не встречаются.

4. Семантические особенности концепта мнения проявляются, кроме того, в сочетаемости путативных глаголов с модальными предикатами со значением возможности (*можно*), готовности (*склонен, готов*) и долженствования (*надо, заставлять, вынуждать*), а также с фазовыми глаголами со значением начала и продолжения. Ср. *Можно подумать, что вы впервые об этом слышите; Я склонен считать, что он не вполне откровенен с вами; Он, надо думать, не откажется от этого предложения; Это заставляет меня усомниться в его искренности; Его отказ от участия в этой работе вынуждает меня считать, что он не интересуется наукой; Я начинаю <продолжаю> думать, что он не так прост, как кажется*.

Глагол *знать* с перечисленными типами предикатов не сочетается, так как знание, в отличие от мнения, единственно и неизменно.

5. Различия между концептами знания и мнения отчетливо проявляются, кроме того, в сфере сочетаемости с лексико-функциональными глаголами класса OPER₁. Поскольку у *мнения* всегда есть конкретный носитель, для этого слова характерны словосочетания с глаголами класса OPER₁ (в том числе с суперпозициями типа INCEPOPER₁, CONTOPER₁ и т. п.), при которых субъект *мнения* выполняет синтаксическую функцию подлежащего, а само

мнение – функцию дополнения¹⁹: *быть такого-то мнения, держаться <придерживаться> мнения, разделять чье-л. мнение, оставаться при своем мнении, сойтись на мнении* и т. п. Ср. *Я такого мнения, Ермолай Алексеич: народ добрый, но мало понимает* (А. П. Чехов, Вишневый сад); *Оставшийся при особом мнении Паниковский принялся за дело с большим азартом* (И. Ильф, Е. Петров, Золотой теленок); *Наконец сошлись на мнении Иллариона, что обладателю брюк, подобных моим, следует поступить на экономический факультет* (Н. Думбадзе, Я. Бабушка, Илико и Илларион). Слово *знание* с такими глаголами не сочетается; см. также пункт 1 в разделе 3.3.

Итак, рефлексy семантических свойств фактивности и путативности действительно обнаруживаются во всех несемантических свойствах предикатов знания и мнения – морфологических, просодических, синтаксических и сочетаемостных.

Литература

Апресян 1993 – Ю.Д. Апресян. Синонимия ментальных предикатов: группа *считать* // Логический анализ языка. Ментальные действия. М., 1993. С. 7-22.

Апресян 1995 – Ю.Д. Апресян. Проблема фактивности: *знать* и его синонимы // ВЯ. 1995. № 4. С. 43-63.

Апресян 1995 – Ю.Д. Апресян. Принципы системной лексикографии и толковый словарь // Поэтика. История литературы. Лингвистика. Сборник к 70-летию Вячеслава Всеволодовича Иванова. М., 1999. С. 434-450.

Апресян, Гловинская 1997 – Ю.Д. Апресян, М.Я. Гловинская. Словарная статья **СОВЕТОВАТЬ** // Ю.Д. Апресян, О.Ю. Богуславская, И.Б. Левонтина, Е.В. Урысон, М.Я. Гловинская, Т.В. Крылова. Новый Объяснительный словарь синонимов русского языка. Первый выпуск. Под общ. рук. акад. Ю.Д. Апресяна. М., 1997. С. 393-397.

Апресян, Гловинская 2000. – Ю.Д. Апресян, М.Я. Гловинская. Словарная статья **УПРЕКАТЬ** // Ю.Д.Апресян, О.Ю.Богуславская, И.Б.Левонтина, Е.В.Урысон, М.Я.Гловинская, Т.В.Крылова. Новый Объяснительный словарь синонимов русского языка. Второй выпуск. Под общ. рук. акад. Ю.Д. Апресяна. М., 2000, С. 368-374.

Апресян, Жолковский, Мельчук 1984 – Ю.Д. Апресян, А.К. Жолковский, И.А. Мельчук. Словарная статья *мнение* // И.А. Мельчук и А.К. Жолковский. Толково-комбинаторный словарь современного русского языка. Опыты семантико-синтаксического описания русской лексики. Вена, 1984. С. 424-432.

Арутюнова 1988 – Н.Д. Арутюнова. Оценка, событие, факт. М., 1988.

Булыгина, Шмелев 1997 – Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1997.

¹⁹ Об этих лексических функциях см. [Мельчук 1974: 92 и сл.].

Гловинская 2000 – М.Я. Гловинская. Словарная статья **УБЕЖДАТЬ 1** // Ю.Д.Апресян, О.Ю.Богуславская, И.Б.Левонтина, Е.В.Урысон, М.Я.Гловинская, Т.В.Крылова. Новый Объяснительный словарь синонимов русского языка. Второй выпуск. Под общ. рук. акад. Ю. Д. Апресяна. М., 2000. С. 345-351.

Грамматика 60 – Грамматика русского языка. Том II. Синтаксис. Часть 2. М., 1960.

Дмитровская 1988 – М.А. Дмитровская. Знание и мнение: образ мира, образ человека // Логический анализ языка. Знание и мнение. М., 1988. С. 6-18.

Жолковский, Мельчук 1984 – А.К. Жолковский, И.А. Мельчук. Словарная статья *считать*² // И.А. Мельчук и А.К. Жолковский. Толково-комбинаторный словарь современного русского языка. Опыты семантико-синтаксического описания русской лексики. Вена, 1984. С. 867-870.

Зализняк 1992 – Анна А. Зализняк. Исследования по семантике предикатов внутреннего состояния. Мюнхен, 1992.

Иомдин 1999 – Б.Л. Иомдин. Семантика глаголов иррационального понимания // ВЯ. 1999. № 4. С. 71 – 90.

Левонтина 1997 – И.Б. Левонтина. Словарная статья **ИЗ-ЗА 4** // Ю.Д.Апресян, О.Ю.Богуславская, И.Б.Левонтина, Е.В.Урысон, М.Я.Гловинская, Т.В.Крылова. Новый Объяснительный словарь синонимов русского языка. Первый выпуск. Под общим руководством акад. Ю.Д. Апресяна. М., 1997. С. 144-152.

Мельчук 1974 – И.А. Мельчук. Опыт теории лингвистических моделей “Смысл ⇔ Текст”. Семантика, синтаксис. М., 1974.

Падучева 1988 – Е.В. Падучева. Выводима ли способность подчинять косвенный вопрос из семантики слова? // Логический анализ языка. Знание и мнение. М., 1988. С. 33-46.

Перцов 2000 – Н.В. Перцов. Загадка начала «Евгения Онегина» // ИАН. СЛЯ. 2000. № 3. С. 25-30.

Степанов 1997 – Ю.С. Степанов. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997.

Шатуновский 1996 – И.Б. Шатуновский. Семантика предложения и нереперентные слова. Значение, коммуникативная перспектива, прагматика. М., 1996.

Lakoff 1968 – G. Lakoff. Instrumental Adverbs and the Concept of Deep Structure // Foundations of Language. International Journal of Language and Philosophy. 1968. Vol. 4. № 1.

Oxford 1988 – The Oxford English Dictionary. Oxford, 1988.

Wierzbicka 1972 – Anna Wierzbicka. Semantic Primitives. Frankfurt, 1972.

Модальность, сравнительность и отрицание

1. Введение

Неоднократно отмечалось, что в английском и нидерландском языках сравнительное слово с значением ‘меньше’ вызывает интригующую неоднозначность [Seuren 1979, Rullmann 1994, 1995]. Так, предложение (1) может интерпретироваться двумя способами – (1a) и (1б).

(1) *The helicopter was flying less high than a plane can fly.*

‘вертолет летел ниже, чем может лететь самолет’

(1a) ‘вертолет летел ниже, чем МАКСИМАЛЬНАЯ высота, на которой может лететь самолет’

(1б) ‘вертолет летел ниже, чем МИНИМАЛЬНАЯ высота, на которой может лететь самолет’

Первая из этих интерпретаций была названа МАКСИМАЛЬНОЙ, а вторая МИНИМАЛЬНОЙ.

Эти две интерпретации можно передать и иначе:

(1a) = (2) *Самолет может лететь выше, чем летел вертолет.*

(1б) = (3) *Самолет не может лететь так низко, как летел вертолет.*

Легко представить себе ситуации, в которых реализуется каждая из этих интерпретаций. Первая интерпретация предложения (1) возникает, например, в контексте (4), а вторая – в контексте (5).

(4) ‘поскольку вертолет летел ниже, чем может лететь самолет, истребитель мог подняться выше вертолета и атаковать его сверху’.

(5) ‘истребитель пытался преследовать вертолет, но поскольку тот летел ниже, чем мог лететь самолет, истребитель врезался в дом’.

Аналогичная неоднозначность может быть продемонстрирована и нидерландскими примерами [Seuren 1979]. Из двух интерпретаций предложения (6) только вторая утверждает, что Ян нарушал правила:

* Богуславский Игорь Михайлович – доктор филологических наук, профессор, заведующий Лабораторией компьютерной лингвистики Института проблем передачи информации РАН.

(6) *Jan reed minder snel dan hij mocht*

‘Ян ехал менее быстро, чем мог’

(6а) ‘Ян мог ехать быстрее, чем он ехал’.

(6б) ‘Ян не мог ехать так медленно, как он ехал’.

Очевидно, что и русскому языку подобная неоднозначность не чужда:

(7) *Иван ехал медленнее <с меньшей скоростью>, чем было можно.*

(7а) ‘можно было ехать быстрее’

(7б) ‘нельзя было ехать так медленно’

Более того, авторы, писавшие об этом явлении ранее, подчеркивали, что одно из значений – минимальное – возможно только со сравнительными словами со значением ‘меньше’, но не ‘больше’. Однако по крайней мере в русском языке это не так. Это видно уже по примеру (7), в котором употреблена сравнительная степень наречия: *медленнее* = ‘более медленно’. Еще более наглядно интересующее нас противопоставление проявляется в минимальной паре (8) – (9):

(8) *Самолет летел выше, чем было можно.*

(9) *Самолет летел выше, чем мог бы.*

Предложение (8) естественнее всего понимать в максимальном значении: летчик превысил максимально разрешенную высоту. Предложение (9), очевидным образом, демонстрирует минимальное прочтение. Его естественно употребить, например, в ситуации, когда было желательно, чтобы самолет летел как можно ниже. Утверждается, что летчик имел возможность спуститься ниже той высоты, на которой он фактически летел.

Представим значение интересующих нас сравнительных оборотов так, чтобы эксплицитно разделить значение собственно сравнения и сравниваемых сущностей. Тогда значение предложения (1) будет выглядеть так:

(10) а. ‘вертолет летел на высоте H^1 ’

б. ‘самолет мог лететь на высоте H^2 ’

в. ‘ H^1 меньше, чем H^2 ’.

Имеющиеся описания конструкций типа (1) – (6) видят их специфику исключительно в сравнительности. Так, в работах [Rullmann 1994; 1995] утверждается, что сравнительное слово со значением ‘меньше’ может иметь максимальную и минимальную интерпретацию. Иначе говоря, неоднозначность локализуется в компоненте (10в). В этом отношении Х. Рულман следует за более ранним описанием П. Сёрена [Seuren 1979], хотя в остальном объяснения этих авторов существенно различаются. Мы хотели бы предложить другое описание. Мы постараемся показать, что рассматриваемая неоднозначность локализована не в сравнительном компоненте, а в модальном, то есть, не в (10в), а в (10б). Это будет сделано

в разделе 3. Однако до этого, в разделе 2, нам предстоит убедиться в том, что семантическая граница пролегает не между максимальным и минимальным прочтением, а между двумя другими типами значений – ПРЕДЕЛЬНЫМ (которое может быть как максимальным, так и минимальным) и НЕПРЕДЕЛЬНЫМ, или ИНТЕРВАЛЬНЫМ (которое не имеет отношения ни к какому пределу). Здесь же мы обсудим природу различия между этими значениями. В последующих разделах (4 — 6) мы продемонстрируем ряд особенностей поведения модальных предложений в обсуждаемых интерпретациях и покажем, как эти особенности вытекают из предлагаемого нами описания.

2. Модальный компонент

Начнем с предложений, содержащих алетическую модальность в изоляции, то есть вне контекста сравнения. Предложение *Я могу починить велосипед* описывает одно из возможных положений вещей и ничего не говорит о других возможностях, никак их не ограничивает. Существует большой класс предложений, где это не так. Это предложения, в которых эксплицитным образом задается значение некоторого параметра, такие, как (11) и (12).

(11) *Этот кран может поднять десять тонн.*

(12) *Этот самолет может лететь на высоте десять километров.*

Эти предложения можно проинтерпретировать двумя существенно разными способами в зависимости от интонации и коммуникативной функции.

2.1 Предельная интерпретация

Если предложения (11) и (12) произносятся с нейтральной интонацией

(13) *Этот \uparrow кран может поднять десять \downarrow тонн*

(14) *Этот \uparrow самолет может лететь на высоте десять \downarrow километров,*

то они скорее всего мыслятся как отвечающие на вопросы *Какова грузоподъемность крана?* и *Какой высоты может достичь самолет?* Ответы, содержащиеся в (13) и (14), указывают, очевидным образом, на МАКСИМАЛЬНОЕ из значений на шкале возможностей. Кран не может поднять больше десяти тонн, и самолет не может лететь на высоте, превышающей десять километров.

С другой стороны, далеко не всегда то значение параметра, которое упоминается в предложении, действительно ПРЕВОСХОДИТ остальные возможные значения. Иногда имеется в виду не максимальное, а минимальное значение параметра:

(15) *Микроскоп дает возможность различать структуры с расстоянием между элементами до 0,20 мкм.*

Чаще всего шкала возможных значений параметра ограничена с какой-то одной стороны. Однако нетрудно найти случаи, когда на шкале есть и максимум, и минимум. Так, самолет характеризуется не только своим потолком, то есть максимальной высотой полета, но и минимальной высотой, на которой он способен лететь. Каждый, кто имеет представление о высотах, на которых летают самолеты, поймет предложение (16), в отличие от (14), в минимальном смысле.

(16) *Этот самолет может лететь на высоте сто метров*

Самолет не может лететь на высоте ниже, чем сто метров, хотя, конечно, может лететь на большей высоте.

Определить, какое прочтение имеется в виду – максимальное или минимальное, можно только на основе внеязыковых знаний о возможных высотах самолетов. Иногда не помогает и это, и необходимо хорошо понимать конкретную ситуацию, в которой произносится предложение. Например, существуют автострады, где скорость ограничена не только сверху, но и снизу. В этом случае предложение типа *По этой полосе можно ехать с такой-то скоростью*, строго говоря, должно интерпретироваться по-разному в зависимости от того, о какой полосе автострады идет речь: ограничение на минимальную скорость вводится обычно только на крайнюю левую полосу, в то время как на остальных полосах действует ограничение только на максимальную скорость.

Различие между максимальным и минимальным прочтением не имеет языковой поддержки и относится целиком к области наших энциклопедических знаний. Поэтому с лингвистической точки зрения в подобных предложениях нет оснований различать максимальное и минимальное значение. Есть только одно значение, связанное с представлением о достижении предела, а какой это предел – верхний или нижний – дело внеязыковой реальности и энциклопедических знаний. В этом отношении в предложениях типа (14) или (16) нет языковой неоднозначности, а лишь прагматическая неопределенность.

Обобщенное максимально-минимальное, или ПРЕДЕЛЬНОЕ, значение лингвистически противопоставлено другой интерпретации, которая возникает в других коммуникативных условиях и маркируется другой интонацией.

2.2 Интервальная интерпретация

Если в предложениях (11) и (12) перенести фразовое ударение на модальный глагол и произвести сопутствующее изменение порядка слов, то существенно меняется как коммуникативная функция предложения, так и его значение.

(17) *Этот кран поднять десять тонн ↓ может.*

(18) *Этот самолет ↓ может лететь на высоте десять километров.*

Эти предложения можно представить себе как отвечающие на вопрос о том, может ли кран поднять такой значительный груз, как десять тонн, а самолет – лететь на такой большой высоте, как десять километров. На этот вопрос (17) и (18) дают положительный ответ. Грузоподъемности крана хватает на то, чтобы поднять десять тонн. Вполне возможно, что кран может поднять и больше, — вопрос о пределе его возможностей не ставится. Спрашивается лишь, входят ли десять тонн в интервал возможностей для данного крана. Поэтому мы будем называть такую интерпретацию ИНТЕРВАЛЬНОЙ, в отличие от ПРЕДЕЛЬНОЙ интерпретации, о которой мы говорили выше.

Итак, предложения, в которых есть модальность типа *мочь/можно*, параметрический глагол и количественная именная группа, могут иметь две интерпретации. При первой интерпретации количественная группа обозначает предельную точку на шкале возможностей (максимум или минимум). При второй она отсылает лишь к одной из возможностей, ничего не говоря о том, как она соотносится с другими возможностями. Эти две интерпретации скоррелированы с различными коммуникативными функциями. Предельная интерпретация возникает, когда количественная группа находится в реме, а все предложение отвечает на вопрос *Сколько P?* Интервальное прочтение предполагает, что в реме находится модальный глагол, а предложение скорее отвечает на вопрос *Имеет ли место P?*

2.3 Источник различия

Когда мы сталкиваемся с разными интерпретациями какого-то слова или выражения, сразу же встает вопрос об источнике этой неоднозначности. Говоря о предельном и интервальном прочтениях модального глагола, в первую очередь следует констатировать, что различие между ними безусловно лингвистически релевантно, поскольку непосредственно скоррелировано с интонацией и коммуникативной структурой. Можно было бы, конечно, постулировать для модального глагола два разных лексических значения, но это очевидным образом антиинтуитивно. Лексическое значение явно одно – значение простой возможности. Предельная интерпретация возникает как результат воздействия на это значение определенных коммуникативных механизмов. Наиболее важную роль здесь играет МАКСИМА КОЛИЧЕСТВА Грайса. Как известно, она требует от говорящего сообщить возможно больше релевантной информации, которая могла бы удовлетворить информационную потребность слушающего¹. Допустим, например, что мы встречаем кого-то в аэропорту и хотим уточнить время прибытия рейса. Если служащий справочного бюро на вопрос *Когда прилетает рейс номер такой-то?* отвечает нам *Сегодня*, то эта информация хоть и истинна, но прагматически совершенно неудовлетворительна.

¹ К этому следует добавить, что максима количества применяется только к речевой части предложения, которая и несет основную информационную нагрузку

Отвечающий нарушил максимум количества и предоставил спрашивающему существенно меньше информации, чем тот хотел получить.

Пусть коммуникативная задача, стоящая перед говорящим, состоит в том, чтобы охарактеризовать грузоподъемность крана, то есть указать максимальный вес, который кран может поднять. Наиболее прямолинейный способ сделать это – прямо так и сказать:

(19) *Грузоподъемность крана равна десяти тоннам.*

Однако максимум количества позволяет говорящему реализовать эту коммуникативную функцию несколько косвенным образом – посредством указания на одну из возможностей.

В самом деле, когда мы произносим с нейтральной интонацией предложение (13), мы утверждаем лишь то, что среди тех весов, которые кран способен поднять, находится и вес в десять тонн. Тем самым, строго говоря, на вопрос о грузоподъемности ответа не дается. Однако согласно максимуму количества та возможность, которую мы указали, должна быть наиболее информативной. В случае грузоподъемности наиболее информативным является максимальный вес. Это легко показать. Q считается более информативным, чем R , если из Q можно вывести R , а из R Q вывести нельзя. Если кран может поднять груз весом десять тонн, то он заведомо может поднять и более легкий груз, но необязательно – более тяжелый. Если автомобиль способен ехать со скоростью 200 километров в час, то он может ехать и медленнее, но неизвестно, может ли ехать быстрее. Следовательно, если величина *десять тонн* (в случае вопроса о грузоподъемности крана) или *двести километров в час* (в случае вопроса о предельной скорости автомобиля) интерпретируется как самая информативная, то это автоматически значит, что она максимальная.

Ясно, что в другой прагматической ситуации наиболее информативной величиной может оказаться не максимальная, а минимальная ср., например, предложение (16).

Предельная интерпретация возможна только тогда, когда величина задана явно и однозначно. В частности, предельной интерпретации не допускает открытый интервал. В следующих парах предложения (а), в отличие от (б), нарушают это требование и поэтому не осмысляются в значении максимума:

(20а) *Этот самолет может лететь с огромной скоростью <со скоростью, превосходящей скорость звука>.*

(20б) *Этот самолет может лететь со скоростью, превосходящей скорость звука на 200 км/час.*

(21а) *Петя может поднять больше, чем Коля.*

(21б) *Петя может поднять на 3 кг больше, чем Коля.*

Это требование вполне естественно: предложения, не называющие достаточно определенной величины, не могут использоваться в качестве прямого и полного ответа на вопрос Сколько?. Ср. ответные реплики в диалогах (22а, б):

(22а) — *С какой скоростью может лететь этот самолет?*

— *С огромной.*

(22б) — *Сколько Петя может поднять?*

— *Больше, чем Коля.*

Предельная (максимально-минимальная) интерпретация модальных предложений особенно естественна тогда, когда речь идет об АРТЕФАКТАХ, которые предназначены для выполнения определенных функций и по большей части характеризуются некоторыми параметрами, описывающими их способность выполнять эти функции (скорость, мощность, емкость, вместимость, дальнобойность, скорострельность и т.п.) Если рассматривать эти параметры в качестве характеристики вещи, то основным интерес представляют именно ПРЕДЕЛЬНЫЕ значения параметров, поскольку именно они определяют степень применимости артефакта в конкретной ситуации. Этот же механизм может применяться не только к артефактам, но и – расширительно – к людям, животным, природным объектам и явлениям, одним словом ко всему, что может иметь количественно-характеризуемые параметры.

(23) *Иван может поднять сто килограмм.*

(24) *Грамматические категории могут иметь несколько десятков значений.*

(25) *Сила землетрясения может составить 6 баллов по шкале Рихтера.*

Как мы видели, предельная интерпретация модального предиката имеет прагматическую природу и возникает в результате вмешательства максимы количества. Чтобы лучше почувствовать различие между языковым значением и прагматической интерпретацией, сравним предложения (19) и (13), воспроизводимые ниже.

(19) *Грузоподъемность крана равна десяти тоннам.*

(13) *Этот кран может поднять десять тонн.*

Если употребить эти предложения, имея в виду кран, заведомо способный поднять гораздо больше, то предложение (19) будет просто ложным, в то время как в случае (13) это будет скорее коммуникативная неудача, вызванная нарушением максимы количества.

Значение предела – не единственный семантический коррелят этой максимы. Как нам представляется, сходную природу имеет и другая семантическая добавка, известная под названием «исчерпывающего перечисления» [exhaustive listing; см. Kuno 1972, Sgall, Hajičová 1977, A. Bogusławski 1977: 176-178, Падучева 1985: 118]. Это значение единственности.

Когда мы спрашиваем: *Кто пришел сдавать зачет?*, мы рассчитываем получить в ответ ПОЛНЫЙ список пришедших. Если нам отвечают: *Пришли Петя и Коля*, мы вправе сделать вывод, что больше никто не пришел. Петя и Коля – ЕДИНСТВЕННЫЕ пришедшие на зачет. Если бы это было не так, отвечающему следовало бы добавить что-то вроде *в частности, помимо прочих* и т.п. Естественно предположить, что значение единственности в ответе – также следствие максимы количества. Если бы в ответ на вышеприведенный вопрос нам ответили: *Пришли Петя и Коля* в ситуации, когда пришел кто-то еще, то такой ответ самым прямым образом нарушал бы максимум количества.

Вернемся к предложениям с модальностью. Альтернативы, к которым отсылает модальный глагол, могут быть разных типов. В предложениях типа

(26) *Иван может забраться на крышу*

альтернативы независимы. Из того, что Иван может забраться на крышу, ничего не следует о том, что еще он может сделать. А бывают альтернативы не независимые. Из того, что я могу поднять 50 кг следует, что могу и 30. Поэтому в случае, когда альтернативы образуют шкалу, часто происходит прагматическое сужение множества релевантных альтернатив: те из них, которые в данной ситуации тривиальным образом выполняются, считаются нерелевантными. Этим и объясняется то, что вопрос типа *Какой груз может поднять этот кран?* понимается в предельном (максимальном) смысле. Если мы ожидаем на такой вопрос полного ответа, то он должен состоять из перечисления всех возможностей. Однако поскольку эти возможности образуют шкалу, то релевантной оказывается одна – наиболее информативная.

Таким образом, предельное осмысление предложений типа (13) *Этот кран может поднять десять тонн* складывается из четырех источников:

- коммуникативное намерение говорящего: дать полный ответ на вопрос *Какой вес может поднять этот кран?*
- лексическое значение модального глагола: ‘помимо прочего, кран может поднять десять тонн’.
- сужение множества релевантных возможностей: все веса, меньшие десяти тонн, являются нерелевантными как тривиально следующие из того, что десять тонн входят в число возможностей; релевантны только большие веса.
- максима количества: веса, превышающие десять тонн, не входят в число весов, которое может поднять кран; в противном случае была бы нарушена максима.

3. Сравнительная конструкция

Теперь мы можем вернуться к примерам, с которых мы начали эту статью, и ответить на вопрос о характере неоднозначности предложений типа (1).

Покажем, что эта неоднозначность вытекает из возможности двоякой интерпретации модального глагола, о которой шла речь в предыдущем разделе.

В самом деле, значение (1б) – очевидный пример предельной интерпретации: имеется предельная (минимальная) высота, доступная для самолета, и именно с ней сравнивается высота, на которой летел вертолет.

В интерпретации (1б) интерпретация, с которой мы имеем дело, интервальная. Высота, на которой летел вертолет, принадлежит к множеству высот, на которых может лететь самолет. Подчеркнем, что при этой интерпретации предложения (1) не идет никакой речи о максимуме высоты самолета, как это ошибочно предполагалось в начале статьи. Говорящий утверждает лишь, что для самолета доступна некоторая высота, превышающая высоту полета вертолета. Потолок полета самолета не только не участвует в этом осмыслении, но даже не предполагается его существование. Интерпретация предложения не изменилась бы, если бы самолет, как космический корабль, мог удаляться от земли на сколь угодно большое расстояние.

Два осмысления модального глагола легко различить, когда он стоит в главном утвердительном предложении. В этом случае коммуникативная структура предложения выявляется вполне отчетливо, и нужное осмысление маркируется интонацией. Дело осложняется, когда модальный глагол попадает в придаточное, как это происходит в сравнительных предложениях типа (1). В такой ситуации коммуникативные и интонационные различия нейтрализуются и семантическое противопоставление оказывается не маркированным.

В последующих разделах мы остановимся на некоторых особенностях поведения модальных глаголов, проявляющихся как в контексте сравнения, так и вне его, и покажем, как эти особенности вытекают из предложенного выше описания. Речь будет идти о трех особенностях: поведение под отрицанием, поведение при конверсии и сочетаемость с отрицательно-поляризованными единицами.

4. Интерпретации модального глагола и отрицание

Противопоставление предельного и интервального значения интересно сравнить в более широком контексте, не ограничивающемся модальностью. Говоря обобщенно, предложение (27)

(27) [= (13)] *Этот ↑кран может поднять десять ↓тонн*

приписывает некоторому параметру (грузоподъемности крана) определенное значение (десять тонн). Сопоставим этот способ приписывания значения параметру с двумя другими, более прототипическими способами.

4.1 Отрицание параметрических предикатов

В отличие от (27), в них характеризуемый параметр представлен прямо – либо в виде существительного (как в (28а) и (28б)), либо в виде глагола (как в (29)).

(28а) *Грузоподъемность крана равна десяти тоннам.*

(28б) *Вес груза равен десяти тоннам.*

(29) *Груз весит десять тонн.*

Сравним предложения (27) – (29) с точки зрения их поведения под отрицанием.

Чаще всего, чтобы подвергнуть отрицанию некоторое утвердительное предложение, следует присоединить частицу *не* к сказуемому. Именно так строится отрицание в случаях (28а) и (28б):

(30а) *Грузоподъемность крана не равна десяти тоннам.*

(30б) *Вес груза не равен десяти тоннам.*

Что касается предложения (29), синонимичного (28б), то с ним дело обстоит сложнее. Если и в нем присоединить отрицательную частицу к сказуемому, то результирующее предложение будет означать не совсем то, чего мы ждем от отрицания (29):

(31) *Груз не весит десяти тонн.*

Вместо ожидаемой синонимии с (30б) предложение (31) демонстрирует значение ‘груз весит меньше десяти тонн’. На этом основании иногда утверждается, что предложения типа (29) отрицаются идиоматичным образом, поскольку при отрицании равенства закономерно должно возникать значение ‘больше или меньше’, а не просто ‘меньше’. В действительности, картина более интересная [Богуславский 1985: 27 – 29].

Если мы ожидаем от предложения (31) значения ‘вес груза не равняется десяти тоннам’, это значит, что мы рассматриваем это предложение как отрицание предложения (29), а это как раз неверно. Общее правило построения общеотрицательных предложений в русском языке гласит, что отрицательная частица *не* должна присоединяться к рематической части исходного утвердительного предложения, независимо от того, какова синтаксическая функция этой рематической части [Падучева 1974]. Часто рема выражается сказуемым, и именно поэтому в (30а) и (30б) отрицательная частица присоединяется к нему.

Однако так обстоит дело далеко не всегда. В частности, это неверно для (29). Глагол *весить*, при котором стоит отрицательная частица в предложении (31), не входит в рему утвердительного предложения (29). Предложение (29) естественно использовать для ответа на вопрос “Сколько весит груз?”. Следовательно, ремой в нем является именная группа *десять тонн*.

Если в соответствии с общим правилом построения общеотрицательных предложений присоединить отрицательную частицу к этой группе, то мы получим предложение (32), которое и является полноправным отрицанием предложения (29).

(32) *Груз весит не десять тонн.*

Если (31) не является отрицанием предложения (29), то что это? Является ли оно общеотрицательным, то есть, существует ли такое утвердительное предложение, отрицанием которого оно является? Да, такое предложение существует.

Если в предложениях (29) и (32) глагол *весит* относится к теме, то в (31) это не так. Коммуникативная функция этого предложения состоит в том, чтобы ответить на вопрос, достигает ли вес груза десяти тонн, и оно отвечает на этот вопрос отрицательно. В этом случае глагольная группа, при которой стоит отрицание, относится к реме, что полностью соответствует общему правилу построения общеотрицательного предложения, о котором мы говорили выше. Таким образом, чтобы получить утвердительный коррелят предложения (31), необходимо удалить из него отрицательную частицу, СОХРАНАЯ В ТО ЖЕ ВРЕМЯ РЕМАТИЧНОСТЬ ГЛАГОЛЬНОЙ ГРУППЫ. Как мы видели выше, предложение (29) не может считаться таким коррелятом, поскольку имеет другое актуальное членение. В типовой коммуникативной структуре предложений с параметрическими глаголами типа *весит* (*десять тонн*), *стоит* (*сто рублей*), *вмещать* (*триста человек*), *содержать* (*три литра*), *равняться* (*двадцати*) и т.п. эти глаголы относятся к теме. Если требуется перевести глагол в позицию ремы, этот сдвиг необходимо маркировать – порядком слов и/или интонационно. Предложение (33), снабженное такой маркировкой, является полноценным утвердительным коррелятом предложения (31), как с формальной, так и с семантической точки зрения.

(33) *↑Десять тонн груз ↓весит.*

С формальной точки зрения (31) и (33) соотносятся как обычная утвердительно-отрицательная пара: в (31) отрицательная частица стоит перед словом, являющемся ремой в (33). Семантически, (31) является отрицанием значения, выраженного в (33): (31) \approx ‘вес груза меньше десяти тонн’; (33) \approx ‘вес груза достигает десяти тонн или (даже) больше’

Итак, предложения (29) и (33) имеют различные интонационные контуры (нейтральный vs. маркированный), различные коммуникативные структуры (*весит* относится к теме vs. реме), различное значение (‘равняется десяти тоннам’ vs. ‘равняется десяти тоннам или больше’) и различные отрицания ((32) vs. (31)). Особенно рельефно семантическое различие между (29) и (33) проявляется, если их перевести в вопросительную форму. В диалогах (34) и (35) оба вопроса имеют в виду один и тот же груз, и тем не менее на них дается прямо противоположный ответ.

(34) – *Этот груз весит десять тонн?* ‘верно ли, что вес этого груза равен десяти тоннам?’

— *Нет, больше.*

(35) – *Этот груз десять тонн весит?* ‘верно ли, что вес этого груза достигает десяти тонн?’

– *Да, даже больше.*

Теперь мы готовы вернуться к модальному предложению (27), с которого мы начали раздел 4, и подвергнуть его тесту на отрицание.

4.2 Отрицание модальных предикатов

Удивительным образом предложение (27)

(27) *Этот \uparrow кран может поднять десять \downarrow тонн.*

вообще не имеет отрицания. Напомним, что мы рассматриваем это предложение в его предельной интерпретации, в которой оно синонимично предложению (28а). Последнее имеет стандартное отрицание – (30а). Однако если мы введем отрицание в предложение (27), полученный результат будет иметь не то значение, которого мы ждем:

(36) *Этот кран не может поднять десять тонн.*

(37) *Неверно, что этот кран может поднять десять тонн.*

Ни при каких обстоятельствах предложения (36) и (37) не могут означать, что грузоподъемность крана отлична от десяти тонн, то есть, либо больше, либо меньше, чем десять тонн. Эти предложения означают лишь, что десять тонн не входят в интервал весов, которые кран способен поднять. Следовательно, предложения (36) и (37) являются отрицаниями ИНТЕРВАЛЬНОЙ интерпретации (17), а не ПРЕДЕЛЬНОЙ интерпретации (27). Иными словами, интервальная интерпретация может отрицаться, а предельная нет.

Обращает на себя внимание последовательный параллелизм между предложениями (27) и (29).

Прежде всего, как упоминалось выше, наряду с предложениями (28а) и (28б) все они описывают однотипные ситуации – приписывание параметру определенного значения.

Во-вторых, перенос ремы и фразового ударения на сказуемое (*может* в (27), *весит* в (29),) приводит к одному и тому же семантическому эффекту: в обоих случаях именная группа задает уже не точное значение параметра, а открытый интервал – десять тонн или больше.

(38) [= (17)] *Этот кран поднять десять тонн \downarrow может.*

(39) [= (33)] *\uparrow Десять тонн груз \downarrow весит.*

В-третьих, как в (27), так и в (29) постановка отрицательной частицы при сказуемом приводит к общеотрицательному предложению.

Однако это отрицательное предложение является отрицанием не самих (27) и (29), а их коммуникативных вариантов (38) и (39).

И тем не менее, несмотря на этот параллелизм, предложения (27) и (29) существенным образом различаются.

Первое различие касается того, как соотносится семантическая интерпретация предложения со словарными толкованиями входящих в них слов.

Безударные предложения (28а) и (28б) – это самый простой случай. В них имеется название параметра (*вес, грузоподъемность*), которому с помощью связочного глагола непосредственно приписывается определенное значение. Предложение (29) имеет похожую семантическую структуру. Глагол *весить* обозначает тот же самый параметр веса, но только не в именной форме, а в глагольной: *X весит P* значит то же самое, что и *вес X-а равен P*.

Интерпретация предложения (27) получается не столь прямо. Как мы видели выше, предельная интерпретация этого предложения возникает в результате взаимодействия словарного толкования, коммуникативной структуры предложения и максимы количества.

Что касается ударных вариантов (38) и (39), то здесь дело обстоит противоположным образом. Предложение (38), имеющее интервальную интерпретацию, непосредственно реализует словарное толкование глагола *мочь*: десять тонн – это одна из возможностей. Поскольку способность крана поднимать более легкие грузы тривиальным образом вытекает из этого обстоятельства, остальные возможности, о которых стоит говорить, лежат в области, превышающей десять тонн. В противоположность этому, в предложении (39) нужное понимание не может быть непосредственно извлечено из словарного толкования глагола *весить*. Для того чтобы интерпретировать сочетание *весит десять тонн* как ‘весить десять тонн или больше’, необходимо постулировать специальную модификацию словарного толкования, действующую в данных коммуникативных и интонационных условиях [Богуславский 1985: 28-29].

Второе различие между (27) и остальными предложениями выглядит более неожиданным и нуждается в объяснении. Предложение (27) НЕ ИМЕЕТ ОТРИЦАНИЯ, несмотря на то, что остальные рассмотренные предложения, включая и столь близкое к (27) по смыслу предложение (28а) *Грузоподъемность крана равна десяти тоннам*, легко отрицаются.

Разгадка этой кажущейся нелогичности кроется в том, каким образом предельная интерпретация «закодирована» в предложении (27). Вспомним, что эту интерпретацию можно разбить на три логических шага:

- буквальное значение глагола *мочь*, предоставляемое его словарным толкованием: ‘десять тонн входят в число весов, которые кран может поднять’;
- вывод, делаемый на основе максимы количества: ‘если бы кран мог поднять больше десяти тонн, говорящий сообщил бы об этой возможности’;

- следовательно: ‘максимальный вес, который кран может поднять, равен десяти тоннам’.

Результирующее значение, получаемое на третьем шагу и совпадающее со значением предложения (28а), не имеет никаких противопоказаний к тому, чтобы подвергнуться отрицанию. Ключевую роль здесь играет максима количества: она способна вступить в игру лишь тогда, когда некоторое значение параметра (в нашем случае – десять тонн) представлено как истинное. Тогда с помощью максимы это значение интерпретируется как максимальное. Однако этот механизм очевидным образом НЕ ПРИМЕНИМ К ОТРИЦАТЕЛЬНОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ. Если ни про какой конкретный вес не сообщается, что кран может его поднять, то для максимы количества просто нет поля деятельности, а значит и значение максимума не может возникнуть.

5. Конверсия сравнительных предложений

Как известно, если антонимы типа *высокий – низкий, широкий – узкий, толстый – тонкий* и т.п. поставить в сравнительную степень, то они допускают конверсное синонимическое преобразование [Апресян 1995: 331]. Типичный пример подобного соотношения – предложения (40а) и (40б):

(40а) *Вертолет летел ниже, чем (летел) самолет.*

(40б) *Самолет летел выше, чем (летел) вертолет.*

Оказывается, что предельная и интервальная интерпретации модального глагола по-разному реагируют на это преобразование.

При интервальном понимании конверсное преобразование на базе антонимов не приводит к смысловому сдвигу. Так, предложения (а) и (б) в парах (41) – (43) описывают одну и ту же ситуацию.

(41а) *Иван работает больше, чем мог бы.*

(41б) *Иван мог бы работать меньше, чем работает.*

(42а) [= (9)] *Самолет летел выше, чем мог бы.*

(42б) *Самолет мог бы лететь ниже, чем летел.*

(43а) *Он ехал быстрее, чем мог бы.*

(43б) *Он мог бы ехать медленнее, чем он ехал.*

Иначе обстоит дело с предельной интерпретацией: предложения (44а) и (44б) существенно различаются.

(44а) *Иван работает больше, чем ему можно.*

(44б) *Ивану можно работать меньше, чем он работает.*

Первое предложение говорит о том, что нарушается запрет, а второе – о том, что не используется разрешение. Еще несколько аналогичных примеров:

(45a) [= (8)] *Ты летел выше, чем было можно.*

(45б) *Можно было лететь ниже, чем ты летел.*

(46a) *Он ехал быстрее, чем разрешается ехать в городе.*

(46б) *В городе разрешается ехать медленнее, чем он ехал.*

(47a) *На гастролях он зарабатывает за месяц больше, чем мог бы заработать дома за год.*

(47б) *Дома он мог бы заработать за год меньше, чем зарабатывает за месяц на гастролях.*

Следует обратить внимание и на то, что для того чтобы восстановить синонимию предложений (б) с (а) достаточно ввести в них слово *только*. Правда, получившиеся предложения будут довольно корявы стилистически, но их смысл безусловно прозрачен, а этого для наших целей вполне достаточно:

(48) *В городе разрешается ехать только медленнее, чем он ехал.*

(49) *Можно было лететь только ниже, чем ты летел.*

(50) *Ивану можно работать только меньше, чем он работает.*

Почему при предельной интерпретации модального предиката конверсное преобразование перестает быть синонимичным? Почему синонимия восстанавливается при введении в предложение слова *только*?

Прежде всего, взглядевшись в значение предложений (44) — (47), легко заметить, что если в предложениях (а) интерпретация предельная, то в предложениях (б) — интервальная. Так, в (46a) скорость, с которой ехал водитель, превышала **максимально** разрешенную скорость, а в (46б) утверждается, что среди разрешенных скоростей имеется такая, которая меньше скорости, с которой водитель реально ехал. Почему же предложения (б) не могут иметь предельной интерпретации?

Ответ на этот вопрос по существу уже был дан выше, когда мы говорили в разделе 2.3 о природе предельной интерпретации. Там мы отмечали, что для того чтобы предельная интерпретация была возможна, величина должна быть задана в явном и однозначном виде. В противном случае величина не может выступать в качестве предельной точки шкалы. В частности, если значение величины выражается с помощью открытого интервала, предельная интерпретация не возникает. Напомним приводившиеся выше примеры:

(20a) *Этот самолет может лететь с огромной скоростью <со скоростью, превосходящей скорость звука>.*

(20б) *Этот самолет может лететь со скоростью, превосходящей скорость звука на 200 км/час.*

(21a) *Петя может поднять больше, чем Коля.*

(21б) *Петя может поднять на 3 кг больше, чем Коля.*

Предложения (20a) и (21a), в отличие от (20б) и (21б), не имеют предельной интерпретации, поскольку, в силу неопределенности называемой величины, не могут естественным образом отвечать на вопрос “Сколько?”. По этой же причине не имеют предельной интерпретации и предложения (б) в группе (44) – (47).

Теперь мы можем пояснить, почему введение слова *только* снимает смысловое различие между предложениями (а) и (б) в этой группе примеров. В самом деле, предложение (46а), имеющее предельную интерпретацию, говорит о том, что в городе можно ехать с некоторой скоростью *V* и нельзя ехать со скоростью, большей, чем *V*. Интервальное прочтение (46б) утверждает лишь, что можно ехать со скоростью *V*. Чтобы различие между этими двумя значениями исчезло, необходимо ко второму из них добавить значение ‘нельзя ехать с большей скоростью’. Именно это значение и добавляет *только* предложение (48): *разрешается ехать только медленнее* = ‘разрешается ехать медленнее и не разрешается ехать быстрее’.

6. Контекст отрицательно поляризованных единиц

В работе [Rullmann 1995] замечается, что интересующие нас интерпретации сравнительных предложений типа (1) по-разному реагируют на так называемые отрицательно поляризованные единицы (ОПЕ). Так, если предложение (1) допускает обе интерпретации, то введение в сравнительный оборот слов типа *any* или *ever* – типичных ОПЕ – одно из этих пониманий полностью исключает. Предложение (51) может значить лишь то, что ни один самолет не может опуститься так низко, как летел вертолет.

(1) *The helicopter was flying less high than a plane can fly.*

‘вертолет летел ниже, чем может лететь самолет’

(51) *The helicopter was flying less high than any plane can ever fly.*

‘вертолет летел ниже, чем когда-либо может лететь какой бы то ни было самолет’

Это на первый взгляд малозначащее наблюдение в действительности очень существенно, поскольку затрагивает одну из ключевых тем современной формальной семантики. Дальнейшее изложение в этом разделе будет построено по следующему плану. Сначала мы напомним существо понятия отрицательной поляризации и остановимся на том, как задать класс контекстов, в которых ОПЕ допустимы (разд. 6.1). Затем мы разберем вопрос о том, входит ли сравнительная конструкция в число таких контекстов и покажем неудовлетворительность существующего описания соотношения предложений типа (1) и (51) (разд. 6.2). После этого, в разделе 6.3, мы остановимся на роли квантификации именной группы при характеристике описываемых явлений. В последнем разделе (6.4) мы предложим свое объяснение отмеченных фактов и в заключение рассмотрим один парадоксальный пример.

6.1 Отрицательная поляризация и контексты, допускающие ОПЕ

Давно замечено, что употребление некоторых лексических единиц, таких, как английские слова *any, ever, yet, bother to, give a red cent, at all, can help (doing something)* и многие другие, ограничено контекстами, содержащими отрицание и некоторые другие элементы (см., например, [Klima 1964, McCawley 1988: 562]).

(52a) He didn't talk to anybody.

(52б) *He talked to anybody.

(53a) Nobody saw anything.

(53б) *Everybody saw anything.

Поскольку отрицание является ключевым фактором в распределении таких единиц, они получили название отрицательно поляризованных (negative polarity items, NPI). Со временем ОПЕ были обнаружены во многих языках: сотни в английском и немецком, довольно много в нидерландском, испанском, баскском, французском и многих других языках, в том числе типологически далеких.

В русском языке они тоже есть, но, по-видимому, их не слишком много. Это идиомы типа *взять в толк, пальцем (не) шевельнуть, палец о палец (не) ударить, звезды с неба (не) хватать, стоить (дать) ломаный грош*, слова типа *смыслить (в чем), улыбаться (эта перспектива мне не улыбается), малейший (шанс на успех)* и нек. др. Русские ОПЕ не привлекли такого пристального внимания исследователей, как, например, английские, по-видимому, потому, что занимают более периферийную позицию в лексической системе языка, чем слова типа *any* или *ever*. Из работ, посвященных русским ОПЕ, отметим [Апресян 1978 и диссертацию Григорьева 1999], в которой подробно изучаются наречия типа *вовсе (не), отнюдь (не)* и др.

Во многих языках наряду с ОПЕ имеются и положительно поляризованные единицы, такие, как английские *some, already, would rather, still* и др.:

(54a) *He didn't talk to somebody.

(54б) He talked to somebody.

(55a) *I haven't already seen it.

(55б) I have already seen it.

Один из основных вопросов, которые возникают в связи с ОПЕ, состоит в том, в каких именно условиях они допустимы. Дело в том, что употребление ОПЕ далеко не ограничивается контекстами, содержащими отрицание. Они употребляются и во многих других контекстах, таких, как вопрос, условный оборот, сравнительный оборот, контекст предлога *before* и некоторые другие:

(56a) *Did anybody see anything?*

(56б) *If you see anything, let me know.*

(56в) *I had to ask him for hours before he agreed to do anything.*

(56г) *Susan is taller than any of her friends.*

В русском языке ОПЕ также употребляются в широком классе контекстов со снятой утвердительностью [Апресян 1978]. Это контекст собственно отрицания (*Он никак не мог взять в толк, что от него требуется*), контекст вопроса (*Ты когда-нибудь возьмешь в толк, что от тебя требуется?*), сомнения (*Сомневаюсь, что он когда-нибудь возьмет в толк, что от него требуется*), модально-эмфатический контекст (*Он, наконец, взял в толк, что от него требуется*), а также некоторые другие (*С меня семь потов сошло, прежде чем он взял в толк...*, *Он скорее заплатит сто рублей уборщице, чем шевельнет пальцем, чтобы навести порядок в квартире*).

Имеется два основных подхода к решению этого вопроса, которые можно условно назвать синтаксическим и семантическим.

Синтаксический подход состоит в том, что в любом предложении с ОПЕ следует обнаружить оператор отрицания в той или иной позиции глубинной структуры [Клима 1964], позже – [Linebarger 1980, Progovac 1994]. Оно не обязательно должно реализоваться на поверхностном уровне с помощью отрицательного слова. В рамках этого подхода задача состоит в том, чтобы показать, что все контексты, в которых выступают ОПЕ, содержат отрицание. Пока эту задачу решить не удалось.

Семантический подход требует найти ключ к употреблению ОПЕ в значении тех или иных единиц. У этого подхода в свою очередь есть две разновидности. Первая из них представлена в уже упоминавшейся работе [Апресян 1978]. Автор видит специфику ряда русских ОПЕ в особой структуре их толкования, в котором усматривается модальная рамка, в той или иной степени противоречащая ассерции. Это противоречие автоматически снимается в отрицательных и других неутвердительных контекстах. Например, идиома *пальцем шевельнуть* имеет приблизительно такое значение: '[ассерция:] сделать очень мало; [модальная рамка:] говорящий считает, что субъект, который может что-то сделать, не сделает ничего, потому что не захочет'. Предложение **Он шевельнул пальцем* неправильно потому, что в нем не снято противоречие между ассерцией ('сделал') и модальной рамкой ('не сделает'). В контексте снятой утвердительности ассертивный смысл теряет модальность утверждения, и противоречие исчезает.

Второй вариант семантического подхода к поискам единого механизма, управляющего употреблением ОПЕ, был разработан в рамках формальной семантики и связан с именами Ж. Фоконье и У. Лэджьюсоу [Fauconnier 1975, 1979, Ladusaw 1979, 1980].

Именно этот подход стал общепринятым в формальной семантике. Не вдаваясь в строгие определения и выкладки, попытаемся изложить основную идею неформально².

Согласно концепции Фоконье – Лэдьюсоу корень явления ОПЕ надо искать не столько в значении самих ОПЕ, сколько в семантических свойствах операторов, в контексте которых они выступают. Точнее говоря, решающее значение имеет тип логического вывода, который возможен в сфере действия данного оператора.

Различается два типа операторов – «монотонные вверх» (*monotone increasing, upward monotonic*) и «монотонные вниз» (*monotone decreasing, downward monotonic*). Операторы, монотонные вверх, допускают в своей сфере действия вывод «от подмножества к объемлющему множеству». Например, из (57а) можно вывести (57б), но не наоборот:

(57а) Я съел (некоторое) яблоко.

(57б) Я съел (некоторый) фрукт.

Аналогичное соотношение наблюдается в парах (58) – (60):

(58а) Я съел много яблок.

(58б) Я съел много фруктов.

(59а) Я часто ем яблоки.

(59б) Я часто ем фрукты.

(60а) Самое меньшее 5 человек ели яблоки.

(60б) Самое меньшее 5 человек ели фрукты.

На основании этого операторы *некоторый, много, часто, самое меньшее* считаются монотонными вверх.

Логический вывод, возможный в сфере действия операторов, монотонных вниз, имеет обратное направление – «от множества к подмножеству». Так, если среди фруктов имеются яблоки, то из (61а) можно вывести (61б), но не наоборот:

(61а) Я съел все фрукты.

(61б) Я съел все яблоки.

Аналогичное соотношение наблюдается в парах (62) – (64):

(62а) Я съел мало фруктов.

(62б) Я съел мало яблок³.

(63а) Я редко ем фрукты.

(63б) Я редко ем яблоки.

² Современное формальное изложение этой концепции можно найти, например, в [van der Wouden 1994, Handbook 1996, Cherchia&McConnel-Ginet 2000].

³ Выводы (62а) – (62б) и (63а) – (63б) справедливы, если согласиться, что ‘ни одного’ – это частный случай ‘мало’, а ‘никогда’ – частный случай ‘редко’. В логике и формальной семантике нередко признаются справедливыми следствия, сомнительные для языковой интуиции.

(64a) *Самое большее 5 человек ели фрукты.*

(64б) *Самое большее 5 человек ели яблоки.*

Поэтому операторы *все, мало, редко, самое большее* можно считать монотонными вниз. Также монотонным вниз является и отрицание: из (65а) следует (65б), но не наоборот.

(65a) *Джон не является мужчиной.*

(65б) *Джон не является отцом.*

Теперь мы можем сформулировать гипотезу Фоконье – Лэдьюсоу: ОПЕ могут выступать только в сфере действия операторов, монотонных вниз. В самом деле, в парах (66) – (69) предложения (а) правильны, а предложения (б) нет (ОПЕ выделены полужирным шрифтом):

(66a) *Every student who had **ever** been to **any** of these places will go there again.*

(66б) **Some students who had **ever** been to **any** of these places will go there again.*

(67a) *Few students have **ever** been to Moscow.*

(67б) **Many students have **ever** been to Moscow.*

(68a) *He rarely **ever** eats **anything** for breakfast **anymore**.*

(68б) **He often **ever** eats **anything** for breakfast **anymore**.*

(69a) *At most three students who had **ever** read **anything** on pragmatics attended **any** of his lectures.*

(69б) **At least three students who had **ever** read **anything** on pragmatics attended **any** of his lectures.*

6.2 Отрицательная поляризация и сравнительные обороты

Хорошо известно, что сравнительный оборот входит в число контекстов, в которых могут выступать ОПЕ; см., например, (56г) выше, а также пример (70) из [Hoeksema 1983: 425].

(70) *Fido is more dangerous than **any** dog has **ever** been.*

Как отмечалось выше, в [Rullmann 1995] было обнаружено, что одна из интерпретаций предложения (1) (в терминологии Рульмана, минимальная, а в нашей – предельная) допускает введение в сравнительный оборот ОПЕ, а вторая (в его терминологии, максимальная, а в нашей — интервальная) этому сопротивляется. В соответствии с теорией Фоконье – Лэдьюсоу Рульман приписал это различие тому, что в первом случае сравнительный элемент является монотонным вниз, а во втором – монотонным вверх. Различие в монотонности действительно имеет место, но способ, которым Рульман это доказывает, ошибочен. Проследим за его аргументацией.

Требуется показать, что максимальная интерпретация предложения (1) монотонна вверх, то есть, допускает логический вывод «от подмножества к объемлющему множеству». Для этого Рульман предлагает убедиться в справедливости вывода типа (71a) → (71б):

(71a) The helicopter was flying below the maximal altitude at which a propeller plane can fly.

‘вертолет летел ниже максимальной высоты, на которой может лететь винтовой самолет’

(71б) The helicopter was flying below the maximal altitude at which a plane can fly.

‘вертолет летел ниже максимальной высоты, на которой может лететь (произвольный) самолет’

Этот вывод, очевидным образом, некорректен. Обосновывая этот переход, Рульман рассуждает следующим образом: «Поскольку винтовые самолеты – подкласс самолетов вообще, то максимальная высота, на которой может лететь произвольный самолет, гарантированно больше или равна максимальной высоте винтового самолета» [Rullmann 1995]. Здесь он, очевидно, пользуется тем, что винтовые самолеты летают ниже всех прочих видов самолетов, а этим пользоваться нельзя. Достаточно взять другой подкласс (высотные самолеты), чтобы некорректность этого рассуждения стала еще более очевидной.

Аналогичная ошибка в аттестации сравнительной конструкции типа «*more Adj than*» делается в работе [Houksema 1983: 420-421].

6.3 Отрицательная поляризация и характер квантификации

Корень этих ошибок, на наш взгляд, кроется в том, что упускается из виду имплицитный квантор, характеризующий именную группу в сравнительном обороте, а именно он во многих случаях играет решающую роль в определении характера монотонности контекста.

В самом деле, без учета характера квантификации невозможно решить этот вопрос даже в самых простых случаях. Приведем один наглядный пример. Допустим, известно, что нам разрешили посадить дерево. Мы хотели бы посадить березу. Можно ли считать, что мы имеем на это разрешение? Иначе говоря, допустим ли в данной ситуации логический вывод «от множества к подмножеству» («от деревьев к березам»)?

Неизвестно. Все зависит от того, каким (имплицитным) квантором связано дерево в разрешении, которое мы получили. Если имелось в виду ‘любое дерево’, то руки у нас развязаны, и мы спокойно можем сажать березу. Если же речь шла о ‘некотором дереве’, то есть, если просто существует некоторое дерево, которое нам разрешили посадить, то подобный вывод был бы неоправдан.

Вывод, который в этой ситуации допустим, гораздо слабее, например, такой: нам разрешили посадить некоторое растение.

Иначе говоря, универсальная квантификация позволяет переходить от класса к подклассу, а экзистенциальная – от подкласса к классу. И это абсолютно естественно. Если каким-то свойством обладают ВСЕ элементы класса (например, все деревья), то им обладают и элементы любого его подкласса (например, все березы). Если каким-то свойством обладает НЕКОТОРЫЙ элемент класса (например, некоторое дерево), то можно гарантировать, что имеется хотя бы один элемент более широкого класса (например, класса растений), который обладает этим свойством (например, то же самое дерево). Именно поэтому слова со значением ‘все, любой’ создают контекст, монотонный вниз (см. выше примеры (61a) – (61б)), а слова со значением ‘некоторый, какой-нибудь’ – контекст, монотонный вверх (см. примеры (57a) – (57б)).

Вернемся к сравнительным конструкциям. Сказанное справедливо и для них. Они также допускают одну из двух интерпретаций в зависимости от того, каким квантором связана именная группа в сравнительном обороте. Рассмотрим предложение (72), которое можно употребить как в ситуации (72a), так и в ситуации (72б).

(72) *Картофель стал стоить дороже, чем фрукты.*

(72a) ‘картофель стал стоить дороже, чем ЛЮБЫЕ фрукты’

(72б) ‘картофель стал стоить дороже, чем НЕКОТОРЫЕ фрукты’

Если *фрукты* понимаются с квантором общности (‘любые фрукты’), то допустим переход к подклассу. Тогда из (72) можно сделать вывод, что картофель стал стоить дороже, чем апельсины, дороже, чем бананы, дороже, чем ананасы. Значит, перед нами контекст, монотонный вниз, и в английском языке можно употребить *any* и *ever*:

(72) *Potatoes became more expensive than any fruit had ever been.*

С другой стороны, предложение (72) можно произнести и в ситуации, когда мы увидели апельсины, которые стоят дешевле картофеля. В этом случае *фрукты* в (72) интерпретируются в значении ‘некоторые фрукты’. Тогда распространять наше наблюдение о ценах на все виды фруктов нельзя. В этом случае мы имеем дело с контекстом, монотонным вверх, и употребление слов типа *any* или *ever* невозможно.

Отсюда вытекает, что введение ОПЕ типа *any* или *ever* в сравнительный оборот допустимо тогда, когда в нем есть квантор общности, и невозможно, если квантор экзистенциальный.

6.4 Отрицательная поляризация и предельность / интервальность

Теперь для объяснения фактов, с которых мы начали раздел 6, осталось сделать последний шаг – показать, каким образом поведение предложения (1) относительно ОПЕ вытекает из предложенного нами описания предельного и интервального значений.

Иначе говоря, надо убедиться, что предельная интерпретация монотонна вниз, а интервальная – монотонна вверх. Это нетрудно сделать, учитывая, что предельное значение толкуется через квантор общности ('данная величина больше/меньше, чем любая другая из интервала возможностей'), а интервальное значение – через квантор существования ('данная величина совпадает с некоторой величиной из интервала возможностей')⁴.

Воспроизведем для удобства читателей предложение (1) и две его интерпретации:

(1) *The helicopter was flying less high than a plane can fly.*

'вертолет летел ниже, чем может лететь самолет'

(1a) [предельная интерпретация] 'высота, на которой летел вертолет, ниже ЛЮБОЙ высоты, на которой может лететь самолет'

(1б) [интервальная интерпретация] 'высота, на которой летел вертолет, ниже НЕКОТОРОЙ высоты, на которой может лететь самолет'

Интерпретации (1a) и (1б) в точности параллельны интерпретациям (72a) и (72б) предложения (72), и установить характер их монотонности можно точно так же. Тем самым, мы получили общее объяснение того, почему предельная интерпретация допускает введение ОПЕ в сравнительный оборот, а интервальная нет.

Рассмотрим в заключение несколько парадоксальный пример:

(74a) *John was running slower than anybody else could.*

(74б) *John was running slower than everybody else could.*

Первое предложение означает, что никто из остальных не мог бежать так медленно, как Джон (например, в конкурсе на звание самого медленного бегуна). Второе предложение сообщает, что все остальные могли бежать быстрее, чем Джон (и поэтому все сумели его обогнать).

Выше мы видели, что предельная и интервальная интерпретации связаны с наличием разных кванторов в сравнительном обороте и это определяет различие в поведении ОПЕ. Здесь же перед нами пример, где ОБА предложения содержат квантор общности и тем не менее только одно из них допускает ОПЕ *anybody*. И тем не менее противоречия здесь нет. Разгадку этого кажущегося противоречия надо искать глубже. Дело в том, что в этих предложениях речь идет о двух квантифицируемых множествах – множестве людей и множестве возможных скоростей бега для каждого человека.

⁴ Отсюда следует, что в рамках концепции Х. Рупельмана в принципе невозможно объяснить наблюдаемые факты, связанные с поведением ОПЕ. Эта концепция исходит из симметрии обсуждаемых интерпретаций: максимум vs. минимум. В обоих случаях в основе – квантор общности, в то время, как различие в направлении монотонности прямо связано с различием в кванторах.

Для определения предельности / интервальности интерпретации имеет значение лишь второе из этих множеств, поскольку в обоих предложениях сопоставляются именно скорости.

Множество людей в обоих случаях связано квантором общности: нечто утверждается для всех спортсменов. Множество скоростей квантифицируется, однако, по-разному. В самом деле, предложение (74а) означает, что для КАЖДОГО спортсмена и ЛЮБОЙ доступной для него скорости верно, что Джон бежал медленнее. Предложение (74б) значит, что для КАЖДОГО спортсмена СУЩЕСТВУЕТ такая доступная ему скорость, которая превосходит скорость бега Джона. Отсюда следует, что предложение (74а) имеет предельное понимание и поэтому допускает ОПЕ, в то время, как в предложении (74б) реализована интервальная интерпретация, которой ОПЕ противопоказаны.

Литература

Апресян 1978 – Ю.Д. Апресян. Языковая аномалия и логическое противоречие // *Техт. Język. Poetyka.* / M.R. Maýenowa (red.). Wrocław, 1978. S. 129-151.

Апресян 1995 – Ю.Д. Апресян. Избранные труды. Том 1. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. 2-е изд., М. 1995.

Богуславский 1985 – И.М. Богуславский. Исследования по синтаксической семантике: сферы действия логических слов. М., 1985

Григорьева 1999 – С.А. Григорьева. Механизмы установления семантической сферы действия лексем. Автореф. дисс... канд. Филоло наук / ИРЯ РАН. М., 1999

Падучева 1974 – Е.В. Падучева. О семантике синтаксиса. М., 1974

Падучева 1985 – Е.В. Падучева. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985

Bogusławski 1977 – A. Bogusławski. Problems of the Thematic–Rhematic Structure of Sentences. Warszawa, 1977

Cherchia, McConnel-Ginet 2000 – G. Cherchia, S McConnel-Ginet. Meaning and Grammar. An Introduction to Semantics. 2nd ed. Cambridge (Mass.); London, 2000.

Fauconnier 1975 – G. Fauconnier. Polarity and the scale principle // Papers from the eleventh regional meeting of the Chicago Linguistic Society, Chicago, 1975. P. 188-199.

Fauconnier 1978 – G. Fauconnier. Implication reversal in a natural language // *Formal Ssemantics and Pragmatics for Natural Language* / Ed. by F. Guenther and S.J. Schmidt. Dordrecht, 1978.

Handbook 1996 – *The Handbook of Contemporary Semantic Theory* / Ed. by Sh. Lappin. Oxford, 1996.

Houksema 1983 – J. Houksema. Negative polarity and the comparative // *Natural Language and Linguistic Theory.* 1983. №1. P. 403-434.

- Klima 1964 – E.S. Klima. Negation in English // *The Structure of Language* / Ed. by Jerry A. Fodor & Jerold J. Katz. Englewood Cliffs, 1964. P. 246-323.
- Kuno 1972 – S. Kuno. Functional sentence perspective: A case study from Japanese and English // *Linguistic Inquiry*. 1972. Vol. 3, №3. P. 269-320.
- Ladusaw 1979 – W.A. Ladusaw. Polarity sensitivity as inherent scope relations: Dissertation / University of Texas, published in 1980 by the Indiana University Linguistics Club, Bloomington
- Ladusaw 1980 – W.A. Ladusaw. On the notion affective in the analysis of negative polarity items // *Journal of Linguistic Research*. №1. P. 1-23.
- Linebarger 1980 – M Linebarger. The grammar of negative polarity: M.I.T. doctoral dissertation, published in 1981 by the Indiana University Linguistics Club, Bloomington
- McCawley 1988 – J.D. McCawley. *The Syntactic Phenomena of English*. Chicago, 1988.
- Progovac 1994 – L. Progovac. *Negative and Positive Polarity: A Binding Approach*. Cambridge. 1994.
- Rullmann 1994 – H. Rullmann. De ambiguïteit van comparativen met MINDER // *TABU: Bulletin voor taalwetenschap*. Vol. 24. P. 79-101.
- Rullmann 1995 – H. Rullmann. The Ambiguity of Comparatives with Less // *ESCOL'94: Proceedings of the Eleventh Eastern States Conference on Linguistics* / Janet M. Fuller, Ho Han, and David Parkinson, eds. DMLL Publications, Cornell, 1995 P. 258 – 269.
- Seuren 1979 – P.A.M. Seuren. Meer over minder dan hoeft // *De nieuwe taalgids* 1979 № 72. P. 236 – 239.
- Sgall, Hajičová 1977 – P. Sgall, E. Hajičová. Focus on focus. I. // *Prague Bulletin Mathematical Linguistics*. 1977 Vol. 28. P. 5-54.
- van der Wouden 1994 – T. van der Wouden. *Negative contexts: Groningen Dissertations in Linguistics* / University of Groningen. Groningen, 1994.

Каузативный глагол и декаузатив в русском языке

1. Декаузативация

Декаузативы – это распространенный тип производного непереходного употребления переходных каузативных глаголов. Декаузативация во многих языках не имеет формального выражения, т.е. представляет собой семантическую деривацию (*meaning extension*). Такова, например, ситуация в английском, где многие транзитивные глаголы имеют непереходное употребление, которое интерпретируется как декаузативное; так, (1б), (2б) получено, соответственно, из (1а), (2а) декаузативацией:

(1) а. John *broke* the window ‘Джон *разбил* окно’;

б. The window *broke* ‘окно *разбилось*’;

(2) а. John *opened* the door ‘Джон *открыл* дверь’;

б. The door *opened* ‘дверь *открылась*’.

У декаузатива, как и у пассива, объект исходного употребления становится субъектом – переходит в позицию подлежащего. Но судьба бывшего субъекта у пассива и декаузатива разная: глагол, переведенный в пассивную форму, по-прежнему понимается как агентивный, т.е. среди участников обозначаемой им ситуации есть целеполагающий каузатор – Агенс; а декаузативы *broke*, *opened* в (1б), (2б) обозначают ситуацию, в которой нет целеполагающего Агенса. Так что таксономическая категория глагола в декаузативном употреблении – это не действие, а происшествие (термин «происшествие» – перевод англ. *happening* из [Wierzbicka 1980], предложенный в [Булыгина 1982]; см. также [Падучева 1996: 103]).

Семантическое отношение между простым и возвратным глаголом в русских примерах (3), (4) тоже может быть представлено как декаузативация:

(3) а. Ваня *разбил* окно;

б. Окно *разбилось*;

(4) а. Ваня *открыл* дверь;

б. Дверь *открылась*.

В английском языке декаузатив – это семантический дериват исходного каузативного глагола. В русском же, поскольку декаузатив оформляется частицей *-ся* (с алломорфом *-сь*),

* Падучева Елена Викторовна – доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник ВИНТИ РАН.

его можно считать либо производным словом (и тогда декаузативация – это обычная лексическая производность), либо, как в пассивной конструкции, грамматической формой исходного глагола.

Семантику декаузативации естественно представить с помощью деривационной модели, порождающей производное значение. Неважно, выражается ли эта деривация словообразовательным формантом / грамматической флексией (как в русском), или ничем не выражается (как в английском): в любом случае можно ставить вопрос о модели преобразования лексического значения – о модели деривации.

В дальнейшем изложении мы ограничимся декаузативами от глаголов совершенного вида (СВ), как в примерах (3), (4). Во-первых, в русском языке для возвратного глагола СВ исключена пассивная интерпретация, что существенно сокращает неоднозначность залогового значения возвратной формы. Во-вторых, форма СВ гораздо более однозначна в видовом плане, что избавляет от проблем, на первом этапе излишних. Наконец, в-третьих, основу декаузативов составляют глаголы изменения состояния, типа *разбить*, *рассыпать*, для которых семантически исходный вид, разумеется, совершенный. Таким образом, речь идет о семантике отношения между совершенным видом каузативного глагола и его декаузатива.

Каузативный глагол понимается, в соответствии с [Lyons 1989: 490], как глагол, описывающий ситуацию, в которой один участник, скажем, X, изменяет состояние, и это изменение вызвано другим участником, назовем его Y; у транзитивных глаголов участник Y выражен Субъектом, а участник X – Объектом.

Странным образом, русские декаузативы практически игнорируются в традиционных описаниях русского языка¹. Они не упоминаются в [Исаченко 1960] и в [Янко-Триницкая 1962]; их нет в перечне семантических типов возвратных глаголов, приведенном в [Грамматика 80: 617]; для них нет места в подробной классификации возвратных глаголов в [Веренк 1985]. В [Виноградов 1948: 632] выделяется класс возвратных глаголов, обозначающих «внешние физические изменения и изменения в состоянии и положении субъекта»; однако в этот класс, наряду с декаузативами, включены *прогуливаться*, *кататься* и другие глаголы, не относящиеся к делу. В последнее время декаузативы стали предметом пристального внимания в типологическом плане (см., в частности, [Haspelmath 1987; 1993] и [Levin, Rappaport 1995] с подробной библиографией), и это позволяет по-новому взглянуть на русский материал.

Термин «декаузатив» нельзя считать общепринятым.

¹ Объяснение состоит, по-видимому, в том, что еще в XIX веке декаузативы воспринимались как пассивы, см. [Булаховский 1954: 315]. Кроме того, здесь, возможно, сыграло роль необъяснимое пристрастие русских грамматистов к несовершенному виду, где специфика декаузатива гораздо хуже видна

В [Гаврилова 1990] по отношению к примерам типа *дом разрушился*, т.е. таким же, как (3), (4), используется термин «квазипассив», который взят из [Мельчук, Холодович 1970], но представляется неудачным, поскольку сближает декаузатив с пассивом, в то время как одна из главных задач – декаузатив от пассива отличить. В [Levin, Rappoport 1995], одном из самых проницательных исследований на эту тему, используется термин *causative alternation* – каузативное чередование, как если бы речь шла о симметричном отношении между каузативным глаголом и его декаузативом. Авторы приходят к выводу, что в английском языке есть две разные деривационные модели, и судя по примерам, это декаузативация и каузативация; можно думать, что «каузативная альтернатива» – это и есть декаузативация, а каузативация не имеет в этой работе отдельного названия.

В типологической литературе имеет хождение термин «антикаузатив», внутренняя форма которого просто вводит в заблуждение (см. об этом [Мельчук 1998: 392]), поскольку декаузативация, как мы увидим, не вовсе исключает из семантики глагола каузативный компонент, а только уводит его на задний план. В разделе 4 мы обосновываем применение термина «декаузатив» к одному лишь классу возвратных глаголов, образованных от каузативов, – к глаголам изменения состояния².

2. К формальному представлению значения слова

Итак, задача – выявить деривационную модель, которая связывает лексическое значение каузативного глагола со значением его производного декаузатива. Мы хотим показать, что есть общее семантическое соотношение, связывающее достаточно большое числа пар, состоящих из каузативного и декаузативного глагола; и что возможно формальное правило, которое *строит* значение декаузатива из исходного каузативного значения.

Формализация семантических дериваций требует формального представления значения слова. Трансформационные синтаксические теории 60–70-х годов если и не привели к построению трансформационных грамматик (по крайней мере, русского языка), то во всяком случае оставили след в лингвистике в виде четкого понятия синтаксической структуры предложения: лингвистика получила в свое распоряжение дерево зависимостей и дерево составляющих. Сейчас тоже речь идет о трансформациях, но о трансформациях лексических структур, а не синтаксических; и о трансформациях не синонимических, а изменяющих смысл исходной лексемы – определенным, одним и тем же образом.

Я исхожу из толкований глагольных лексем, которые используются в рамках системы «Лексикограф» (см. [Кустова, Падучева 1994, Кустова, Падучева, Рахилина и др. 1993]).

² Согласно другой терминологии (см., например, [Israeli 1996]), декаузатив – это любой возвратный глагол, производный от каузатива; тогда в примерах (1) – (4) м е д и а л ь н ы й декаузатив.

Толкования в системе «Лексикограф» ориентированы, прежде всего, на выявление *сходств* между разными значениями слова; к числу полезных сходств относятся и возможности лексической деривации, общие для того или иного класса слов, т.е. *деривационный потенциал* данного класса.

Толкования имеют определенный *формат*. Форматирование толкования позволяет сопоставить значению своего рода структурную формулу; формулы могут преобразовываться одни в другие простыми операциями, типа замещения и перемещения своих частей. Так что по отношению к формулам можно говорить о единых моделях их преобразования.

Идея представления лексического значения в таком виде, при котором над ними можно производить формальные операции, сейчас получила широкое распространение, ср., например, квазилогические формулы в [Jackendoff 1990]. Характерное название имеет статья [Levin, Rappoport 1998] «Building verb meanings».

Явление регулярной многозначности было открыто Ю.Д. Апресяном на заре современной лексической семантики (см. [Апресян 1974]), и с тех пор всеобъемлющий характер многозначности слова становится все более и более очевидным. Выявление формальных моделей преобразования лексического значения дают надежду справиться с многозначностью, представив ее как результат многоступенчатых семантических дериваций одного значения из другого.

Имеется два общих механизма семантической деривации [Падучева 1999б] – категориальный сдвиг, своего рода метафора (ср. *решить задачу* и *решить судьбу*), и сдвиг фокуса внимания, как при метонимии (ср. *загрузить телегу сеном* и *загрузить сено в телегу*). Оба механизма прослеживаются и в семантике декаузативов.

Наличие у слова того или иного семантического деривата существенно зависит от его исходного значения, так что у близких по смыслу слов разных языков, в принципе, следует ожидать сходных семантических дериватов. Поэтому неудивительно, что декаузативы представляют интерес для типологии.

3. Деривационная модель семантики декаузатива:

декаузативация и деагентивация

Итак, обратимся к русским декаузативам и попытаемся ответить на три вопроса.

Вопрос 1. Как охарактеризовать класс каузативных глаголов, которые допускают декаузативацию. Например, как объяснить, почему декаузативное употребление возможно в примерах (3), (4) и невозможно в (5) или, тем более, в (6):

- (5) а. Иван *запер* дверь;
б. °Дверь *заперлась*³.
(5) а. Он *принес* чашку;
б. *Чашка *принеслась*.

Вопрос 2. Какова деривационная модель, т.е. общее правило, которое позволяло бы строить значение декаузатива из значения исходного каузативного глагола. Правило должно описывать разницу между исходным каузативным и производным декаузативным значением глагола, например, между (а) и (б) в примерах (3), (4).

Вопрос 3. В чем различие по смыслу между декаузативом и пассивом:

- (6) а. После этого подача газа *прекратилась* [декаузатив];
б. После этого подача газа *была прекращена* [пассив].

Последнее особенно важно для русского языка, где один и тот же формант *-ся* выражает и декаузатив, как в (3), (4), и пассив несовершенного вида. Например, какое значение имеет возвратный глагол в (8):

- (8) Осторожно, двери *закрываются*.

Исходным для декаузатива является каузативный глагол, хотя бы в одном из своих употреблений не агентивный. Поэтому путь, ведущий от агентивного каузативного глагола к декаузативу, включает два отдельных перехода, из которых собственно декаузативацией является только второй, а первый переводит агентивное употребление каузативного глагола в неагентивное. Так, (9б) получается из (9а) следующими двумя отдельными переходами⁴:

- (9а) Ваня *открыл* дверь ⇒
(9а') Порыв ветра *открыл* дверь [деагентивация];
(9а') Порыв ветра *открыл* дверь ⇒
(9б) Дверь *открылась* от порыва ветра [декаузативация].

Иными словами, если каузативный глагол в своем исходном употреблении обозначает действие (как *открыть*), то декаузативации предшествует семантический сдвиг «действие ⇒ происшествие» (деагентивация), который переводит значение действия в значение происшествия. И если агентивный глагол не допускает деагентивации, к нему будет неприменима и декаузативация.

Такое описание дает целый ряд преимуществ, из которых мы пока отметим только одно:

³ Знак ° здесь и далее означает невозможность понимания формы в интересующем нас значении спонтанного события. При этом, скажем, конативное понимание 'дверь удалось запереть' не исключено.

⁴ Здесь и ниже стрелка ⇒ обозначает семантическую деривацию.

оно представляет декаузативацию как чисто диатетический сдвиг⁵, не меняющий лексического значения слова; изменение лексического значения глагола происходит при деагентивации.

3.1. Деагентивация

Можно различить несколько категорий неагентивных каузаторов: Каузатором может быть событие; природная сила; лицо, для которого возникновение нового состояния не было осуществлением его намерения. Мы рассмотрим две модели деагентивации:

1) в позиции субъекта лицо-Агенс заменяется на событие-Каузатор (в результате, глагол переходит из категории действий в категорию происшествий);

2) Субъект-лицо оказывается пассивным участником происходящего с ним события, не Агенсом (в результате, глагол переходит из категории действий в категорию происшествий с действующим субъектом, т.е., если можно так сказать, ненамеренных действий).

Вначале событийный случай.

Примеры глаголов действия, способных иметь семантический дериват в классе глаголов происшествия, – *разбудить, напомнить, изменить, увеличить*:

(10) а. **Приятель** *напомнил* мне про собрание;

б. **Бой часов** *напомнил* мне, что пора уходить.

(11) а. **Редактор** в последний момент *изменил* заглавие статьи;

б. **Прошедший год** [= события прошедшего года] многое *изменил* в моей жизни.

(12) а. **Иван** (Y) *разбудил* меня (X) грубым пинком ⇒

б. Меня (X) *разбудил* **звонок в дверь** (Y).

Модель деагентивации мы продемонстрируем на примере глагола *разбудить*:

(12а*) Y *разбудил* X-а [действие] =

I. Актанты:

<u>Ранг</u>	<u>Роль</u>	<u>Таксономический класс</u>
Y – Субъект	Агенс	ЛИЦО
X – Объект	Пациенс	ЖИВОЕ
(Z) – Периферия	Способ	ДЕЙСТВИЕ

⁵ Диатетическим сдвигом мы называем мену диатезы. Диатеза – это набор участников ситуации с их семантическими ролями (такими как Агенс, Пациенс, Инструмент) и коммуникативными рангами: согласно работе [Падучева 1998б], субъект и объект имеют наивысший ранг – Центр; обстоятельства имеют ранг Периферия; участники, которым не соответствует никакой синтаксической позиции при глаголе, имеют низший ранг – За кадром. Понятие диатезы введено в [Мельук, Холодович 1970].

II. *Таксономическая категория*: действие

III. *Толкование*:

Фон Экспозиция: X спал <пресуппозиция>

Центр Каузатор: Y действовал с целью <пресуппозиция>

(Способ: применяя Z)

это вызвало <ассерция>

Новое состояние: X не спит <импликатив>

Инференции —

(126) Y разбудил X-а [происшествие] =

I. *Актанты*:

Y – Субъект Каузатор СОБЫТИЕ

X – Объект Пациенс ЖИВОЕ

II. *Таксономическая категория*: происшествие

III. *Толкование*:

Фон Экспозиция: X спал <пресуппозиция>

Центр Каузатор: произошло/имело место Y <пресуппозиция>

Способ: — это вызвало <ассерция>

Новое состояние: X не спит <импликатив>

Инференции —

В семантической формуле лексемы три зоны: I. *Актанты*; II. *Таксономическая категория*; III. *Толкование*. Ltfutyndfwbz Деагентивация затрагивает все три зоны. А именно, меняется:

1) в зоне *Актанты* – таксономический класс Субъекта (было ЛИЦО, стало СОБЫТИЕ) и его семантическая роль (был Агенс, стал Каузатор); в самом деле, основу семантического изменения составляет категориальный сдвиг – нечто вроде метафорического переноса;

2) в зоне *Таксономическая категория*: было действие, стало – происшествие;

3) в *Толковании* изменение касается компонента Каузатор: у действия каузативный компонент имеет вид ‘Y действовал с целью’, у происшествия – ‘произошло событие Y’; соответственно, у происшествия отпадает возможность спецификации Способа деятельности, ср. в (12a) – *разбудил грубым пинком*: в ситуации типа действие возможен участник Способ, а в ситуации типа происшествие, где нет деятельности, нет и Способа.

3.2. Декаузативация

Преобразование, составляющее собственно декаузативацию, мы рассмотрим на примере глагола *истощить* (который заведомо допускает событийный субъект и, следовательно, входит в сферу применимости декаузативации):

(13) а. Постоянные войны (Y) *истощили* казну (X) ⇒

б. От постоянных войн (Y) казна (X) *истощилась*.

Соотношение между (13а) и (13б) описывается следующим преобразованием семантических формул:

(13а) Y *истощил* X-а [происшествие; каузатив] =

Фон Экспозиция: X имел ресурсы <пресуппозиция>

Центр Каузатор: произошло/имело место Y <пресуппозиция>

Способ:—

это вызвало <ассерция>

Новое состояние: X не имеет ресурсов <имплицатив>

Инференции —

(13б*) X *истощилась* (от Y) [происшествие; декаузатив] =

Фон Экспозиция: X имел ресурсы <пресуппозиция>

(Каузатор: произошло/имело место Y

это вызвало)

Центр Новое состояние: X не имеет ресурсов <ассерция>

Инференции Каузатор не специфицирован или не существует <по умолчанию>

Эти формулы описывают изменение коммуникативных рангов участников, т.е. переход Каузатора из Центра, позиции Субъекта, на Периферию.

Общей в формулах *истощить* и *истощиться* является конфигурация

<Экспозиция: X имел ресурсы;

Новое состояние: X не имеет ресурсов>,

которая характеризует участника X как Пациенса, поскольку X изменил состояние. Исходное *истощить* и декаузатив *истощиться* различаются коммуникативным статусом каузативного и пациентного компонента. У исходного каузативного глагола *истощить* каузативный компонент имеет статус ассерции, т.е. самый главный; а пациентный компонент – статус имплицатива: если отрицается ассерция, отрицается и ее имплицатив. А у декаузатива *истощиться* статус ассерции имеет пациентный компонент; каузативный же компонент имеет самый низкий статус – фон. Более того, этот компонент является для семантики декаузатива факультативным: в нашей формуле он заключен в скобки.

Факультативный каузативный компонент в формуле декаузатива позволяет показать, как подключается к словарному смыслу декаузатива Фоновый (т.е. периферийный) каузатор, в (13б) – *от длительных войн*⁶.

⁶ Фоновый каузатор чаще всего выражается предлогом *от*, см. о значении *от* в его отличии от других причинных предлогов в [Иорданская, Мельчук 1996]. Ср. *Тучи рассеялись (от ветра; от появления солнца); Небо расчистилось (так как тучи рассеялись)*.

Если в предложении Фонового каузатора при глаголе нет, возникает инференция 'Каузатор не специфицирован или не существует'. Что это значит, мы увидим в разделе 4.

Формулы (13а*) и (13б*) представляют декаузативацию как диатетический сдвиг: понижается в статусе компонент, включающий участника Y; соответственно, понижается коммуникативный ранг Y-а: Фоновый каузатор – это сирконстант.

Деагентивация может осуществляться иначе, чем в примере (12), – по модели, которая переводит целенаправленное действие Агенса в происшествие с действующим субъектом. В этом случае таксономический класс Субъекта не меняется, меняется только его роль в сценарии ситуации.

Эту модель деагентивации мы рассмотрим на примере

(14) а. Ваня (Y) разбил окно (X) <чтобы войти в дом> ⇒

б. Ваня разбил окно <пытаясь открыть форточку>.

Семантическая формула для глагола *разбить*, понимаемого как (14б), когда Ваня не Агенса, а всего лишь субъект причиненного ущерба, имеет следующий вид:

(14б*) *Y разбил X* [происшествие с действующим субъектом; каузатив] =

Фон

Экспозиция: X был целый <пресуппозиция>

Центр

Каузатор: с Y-ом произошло нечто

это вызвало

Новое состояние: X перестал быть целым <ассерция>

Инференции

Y нанес ущерб кому-то

Y несет ответственность за нанесенный ущерб⁷.

Изменение по сравнению с формулой (12а*), описывающей действие, состоит в том, что каузатором изменения состояния X-а служит не направленная к этой цели деятельность Y-а, а некое происшедшее с ним событие. Пример производного декаузатива:

(15) Окно разбилось, когда я пытался открыть форточку.

Толкование декаузатива:

(15*) *X разбился (из-за Y-а)* [происшествие; декаузатив] =

Фон

Экспозиция: X был целый <пресуппозиция>

(Y делал нечто, будучи в контакте с X-ом, быть может, опосредованном

с Y-ом произошло/имело место нечто

это вызвало)

⁷ В [Lakoff 1977] «ответственность» упоминается в числе признаков прототипического Агенса; на самом деле, это верно для любого субъекта-лица.

Центр

Новое состояние: X перестал быть целым <ассерция>

Инференции

Каузатор нерелевантен <по умолчанию>

Формула (15*) отличается от формулы (13б*) лишь тем, что в (15*) Y обозначает только само лицо, а то событие, которое с ним произошло и было причиной перехода X-а в новое состояние, остается неизвестным, см. компонент 'с Y-ом произошло / имело место нечто'. Но независимо от того, имеет ли исходный каузативный глагол субъектом событие (как в (13) *Войны истоцили казну – Казна истоцилась*) или лицо (как в (3) *Ваня разбил окно – Окно разбилось*), в обоих случаях для каузатива реальным каузатором перехода в новое состояние является событие, а не деятельность Агенса, направленная на достижение цели.

К числу глаголов действия, имеющих семантический дериват в категории «происшествие с действующим субъектом», относятся: *свалить, разрушить, порвать, разорвать, расколоть, оторвать, пробить, проколоть, погнуть, согнуть, рассыпать, запутать, расплескать, выплеснуть, перегреть, оббить, отбить, сломать, разломать, отломать, отломить, зацепить* и многие другие (но, скажем, не *перевязать, выбрать, приготовить*).

Итак, на вопрос 1 можно дать следующий ответ: декаузативы образуются только от таких каузативных глаголов, которые допускают неагентивный субъект.

Этот запрет на декаузативацию был отмечен в [Haspelmath 1987]: декаузативы не образуются от тех глаголов действия, в семантику которых входят «agent oriented meaning components», например, компоненты, фиксирующие способ или характер деятельности (*смахнуть, подмести, разогнать*), в частности, наличие и даже тип орудия или инструмента (*разрезать, разрубить*, ср. [Levin, Rappaport 1995: 103]). Различие между *порвать*, с декаузативом *порваться*, и *разрезать*, без декаузатива, очевидно: чтобы резать, нужен инструмент, а значит и использующий его Агенси.

Прототипический каузативный глагол – *разбить*; он обозначает ситуацию, в которой Субъект каузирует изменение состояния Объекта, и *разбиться* – типичный декаузатив. У таких каузативных глаголов, как *вымыть, построить, разрезать, выкопать, выкрасить*, нет декаузативов потому, что они однозначно агентивны.

Один и тот же глагол может иметь агентивное и неагентивное употребление, и у неагентивного декаузатив есть, а у агентивного нет. Так, в (16б) (пример из [Levin, Rappaport 1995: 85] ситуация предполагает участие Агенса, а в (16а) – нет:

(16) а. The wind cleared the sky – The sky cleared;

б. The waiter cleared the table – *The table cleared.

Глагол *запереть*, в отличие от *закрыть*, предполагает инструмент, и потому возвратный глагол в примере (5б) *Дверь заперлась* (в значении 'дверь не удалось запереть')

не декаузатив. Чтобы *принести* предмет, надо так или иначе держать его в руках, и это объясняет пример (6). Семантика глагола *захлопнуть* (дверь) отражает наличие звука, сопровождающего закрывание, что не относится к проявлениям агентивности; в семантике *распахнуть*, скорее, есть указание на характер Нового состояния Объекта, чем на Способ деятельности. Поэтому *захлопнуться* и *распахнуться* – полноценные декаузативы.

Декаузативация открывает при глаголе новую синтаксическую позицию. Так, при агентивном каузативном глаголе невозможно обстоятельство вида “от+Генитив”, обозначающее Фонового каузатора:

(17) а. Страна *разорилась от постоянных войн*;

б. *Король *разорил* страну *от постоянных войн*.

И наоборот, для декаузатива исключены сочетания, предопределенные агентивностью, например, Твор. падеж инструментального действия, как *грубым пинком* в (12); Твор. падеж при декаузативе в примере (12), из [Янко-Триницкая 1962: 143], противоречит норме:

(18) *Страна *разорилась постоянными войнами*.

(19) *Покупка машины *ускорила*сь *размолвкой* с Ильей Матвеевичем (Кочетов).

Твор. падеж при *наполниться, населиться, наводниться, покрыться, закрыться* не выражает Каузатора, поэтому возможно *Комната наполнилась народом*.

Ответом на вопрос 2 служат формулы (12а*) и (12б*), которые представляют декаузативацию как диатетический сдвиг: семантика декаузативации сводится к тому, что участник Каузатор меняет коммуникативный ранг, переходя из субъектной позиции, Центра, на Периферию.

Обратимся теперь к вопросу 3 и примеру (7):

(7) а. После этого подача газа *прекратилась* [декаузатив];

б. После этого подача газа *была прекращена* [пассив].

Ни (7а) ни (7б) не упоминают Агенса. Однако отсутствие Агенса в поверхностной структуре интерпретируется в (7а) и в (7б) по-разному: в (7б) Агенса подразумевается – подача газа была прекращена *кем-то*; а в (7а) нет. В самом деле, говорящий выбирает в качестве концепта ситуации декаузатив ровно потому, что хочет представить ее как не имеющую Агенса. Так, в контексте примера

(20) Дверь *открылась*, и вошел Ваня

Ваня, скорее всего, был тем самым человеком, который открыл дверь. Однако говорящий выбрал концепт с декаузативом – скорее всего, потому что хочет остановить внимание на том моменте, когда Наблюдатель, находящийся в комнате, не видит действия, а только его результат. Фраза *Зажегся свет*, скорее всего, описывает взгляд человека с улицы.

В примере (21) только (21б) представляет событие разбивания чашки как имеющее Агенса – в (21а) Джон является Агеном в ситуации, описываемой глаголом *бросил*, но не *разбилась*; в самом деле, в (21а) Джон мог бросить чашку на пол для того, чтобы проверить утверждение о том, что она не бьется, и в этом случае его намерение было проверить, а не разбить, как нужно для того, чтобы он был подразумеваемым Агеном глагола *разбилась*:

(21) а. Джон бросил чашку на пол, и она *разбилась*.

б. Джон *разбил* чашку

В английском примере (22) (предложенном Барбарой Парти в ходе дискуссии о семантике декаузатива) Агенса присутствует в *контексте* декаузатива *opened* ‘открылась’, но не в *концепте*, сопоставляемом ситуации самим декаузативом:

(22) After all of our pushing and shoving on it, when the door finally *opened*, it turned out there was nothing at all inside.

4. Есть ли в семантике декаузативов «антикаузативный» компонент?

В работе [Haspelmath 1993] и в ряде других декаузативы называются «антикаузативами»: декаузатив в предложениях типа (1) – (4) толкуется как ‘разбилось само собой’, ‘открылась сама собой’; тем самым в его семантику включается «антикаузативный» компонент – «отсутствие внешней причины»: утверждается, что декаузатив представляет новое состояние (открытое окно, разбитая чашка, опустошенная казна и т.д.) как наступившее «само по себе», без всякой внешней причины.

Мы уже видели, что такая трактовка не проходит для тех контекстов, где в поверхностной структуре предложения присутствует Фоновый каузатор: в (12) причина наступления нового состояния есть, она выражена Фоновым каузатором. Посмотрим теперь на те контексты, где Фоновый каузатор отсутствует, как в (1) – (4).

В [Comrie 1985] и в [Плунгян 2000: 209] декаузативация представлена как «понижающая актантная деривация», поскольку структуры типа (13в) рассматриваются как соотнесенные непосредственно с (13а):

(13) а. **Постоянные войны** *истожили* казну;

б. **От постоянных войн** казна *истожилась*.

в. Казна *истожилась*.

Представляется, однако, более естественным соотносить (13в) с (13б). Это соотношение может быть представлено, используя термин из [Плунгян 2000], как интерпретирующая актантная деривация.

Известными примерами такой деривации являются Удаление неспецифицированного Объекта, как в (23), и Удаление неспецифицированного Субъекта, как в (24):

(23) Больной поел **супу** – Больной поел <чего-то съедобного>;

(24) **Воланд** прочел ваш роман – Ваш роман прочли.

Для декаузативов можно предложить деривацию Удаление неспецифицированного Адьюнкта (сирконстанта): переход от (13б) к (13в) состоит в том, что Каузатор уходит в За кадр, если причина изменения состояния либо не специфицирована (т.е. неизвестна, нерелевантна, несущественна, тривиальна и т.д.), либо отсутствует. Какая именно из перечисленных возможностей имеет место, не всегда можно сказать; например, фразу (25) можно сказать в контексте, когда было нечто, что пробудило интерес, и когда не было:

(25) У него *пробудился* интерес к музыке.

Гораздо чаще Говорящий опускает причину потому, что она несущественна, а не потому, что она не существует. Ср. пример из [Levin, Rapoport 1995: 105]:

(26) День *удлинился*.

Разумеется, у этого явления есть причина – Земля прошла некоторый определенный путь по своей орбите. Однако никакой нормальный человек не будет иметь ее в виду.

Некоторые типы каузаторов язык вообще склонен игнорировать: *брюки истрепались, пальто изнасилось, мука кончилась, башмаки стоптались, белье заносилось*.

Итак, «антикаузативный» компонент, возникающий в семантике декаузатива при отсутствии Фонового каузатора, – это не столько отсутствие внешней причины, сколько ее неспецифицированность.

Другое свойство «антикаузативного» компонента – что он неустойчивый (термин неустойчивый компонент – из [Зализняк 1987]). Его коммуникативный статус – необязательное следствие, или инференция (от англ. *inference*, необязательное следствие). «Антикаузативный» компонент блокируется не только в контексте Фонового каузатора, как в (13б), но и в любом другом каузативном контексте:

(27) Ты нарочно сделал так, что чашка *разбилась*;

Чашка *разбилась*, потому что ты поставил ее на самый край стола;

Он бросил чашку на пол, чтобы она *разбилась*.

Даже обстоятельство времени *после этого* намекает на какую-то причину и блокирует инференцию ‘прекратилась сама собой’:

(7а) **После этого** подача газа *прекратилась*.

Возникновению «антикаузативной» инференции может препятствовать не только синтаксический, но и более широкий – текстовый – каузативный контекст.

Так, в (28) осознается причинная связь между печальной судьбой золотого яичка и взмахом мышинового хвостика, так что «антикаузативной» инференции не возникает:

(28) Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и *разбилось* (Русская сказка);

Прилетели братья, ударились об землю и *сделались* добрыми молодцами (Русская сказка);

Привычная жизнь *нарушилась*: в нее ворвались новые порядки.

Иными словами, «антикаузативная» инференция блокируется в любом противоречащем ей контексте и входит в семантику декаузатива только при условии, что никакие причины изменения состояния не упомянуты в самом высказывании или его контексте.

В [Levin, Rappaport 1995: 108] участие бывшего субъекта исходного каузативного глагола в семантике декаузатива предлагается описывать с помощью квантора: «Будем считать, что непереходная форма каузативного глагола возникает в результате того, что участник Внешняя причина связывается квантором существования». Однако отсутствующий фоновый каузатор означает, что говорящий оставляет вопрос о каузаторе открытым; между тем квантификация по каузаторам предполагает, что каузатор существует.

На первый взгляд, допущение о том, что участник Причина может отсутствовать, противоречит естественной Аксиоме каузальности:

Всякое изменение имеет какую-то причину.

Существенно, однако, что Фоновый каузатор обозначает *внешнюю* причину⁸. А внешняя причина не обязательна. И декаузативы дают говорящему возможность описывать события, не только не указывая его причин, но и не подразумевая их наличие; во всяком случае, опуская тривиальные причины. Можно сказать *Дом разрушился*, не уточняя, произошло ли это, скажем, от землетрясения или в силу естественного хода событий, от времени.

Итак, ни спонтанность ни стихийность наступления нового состояния не являются, вопреки общему мнению, условием существования декаузатива. Обязательна только потенциальная неагентивность каузативного глагола – именно это делает возможным его употребление в значении чистого изменения состояния, когда причина изменения не человек и потому может оставаться За кадром.

⁸ Термины «внутренняя» и «внешняя» причина используются многими авторами – возможно, не в точности в одном и том же значении; ср. [Benveniste 1971: 148; Wierzbicka 1980: 171; Levin, Rappaport 1995: 92; Иорданская, Мельчук 1996: 165].

Признание инференциального статуса у «антикаузативного» компонента дает решение важной проблемы, поставленной в [Wierzbicka 1980: 172]. Дело в том, что если бы семантика декаузатива действительно включала компонент «отсутствие внешней причины», т.е. если бы, например, *X увеличился* всегда означало ‘X увеличился сам по себе’, то декаузатив не мог бы составлять часть значения соответствующего каузативного глагола: мы получили бы для *Y увеличил X* противоречивое толкование ‘Y вызвал то, что X увеличился сам по себе’.

Это противоречие требует к себе внимания, поскольку семантическая формула у декаузативов такая же, как у медиальных (по другой терминологии – инхоативных) глаголов, типа *умереть, сгнить, растаять, высохнуть*; и невозможность представить *растопить* как ‘каузировать растаять’, *высушить* как ‘каузировать высохнуть’ была бы, конечно, существенным возражением против любых толкований, предлагаемых для декаузатива. Признание за «антикаузативным» компонентом декаузативов и медиальных глаголов инференциального статуса снимает возникшую трудность.

Медиальный глагол – это морфологически непроемный декаузатив: медиальный глагол и декаузатив характеризуются одной и той же конфигурацией семантических компонентов в семантической формуле. И многие русские каузативные глаголы являются, исторически или даже синхронно, каузативами медиальных, ср. *бдеть – будить, висеть – повесить, гнить – гноить, задохнуться – задушить, кипеть – кипятить, коптеть – коптить, лежать – (по)ложить, липнуть (ср. прильнуть) – лепить, мокнуть – мочить, ослабнуть – ослабить, плыть – плавить, погибнуть – погубить, погрязнуть – погрузить, пылать – палить, расти – растить, рухнуть – рушить, сидеть – (по)садить, *смясти (ср. смятение) – смутить, сохнуть – сушить, спать – усыпить, стоять – (по)ставить, стыть – студить, (у)тонуть – (у)топить, умереть – уморить и др.*

Наличие в языке медиальных глаголов безусловно должно быть принято во внимание в связи с проблематикой декаузативов. В паре «каузатив – декаузатив» каузативный глагол однозначно воспринимается как семантически исходный для парного возвратного только при условии, что его агентивное значение первично по отношению к событийному. Если это не так, то направление семантической производности между прямым и возвратным глаголом перестает быть интуитивно ясным; так, в парах глаголов *растворить – раствориться, обвалить – обвалиться, обрушить – обрушиться, взорвать – взорваться*, у которых каузативом могут быть природные силы, декаузатив представляется семантически исходным. Или взять глагол *катиться*, обозначающий движение, которое может происходить под действием силы тяжести; его значение вполне можно принять за исходное,

а *катить* считать производным от него каузативом⁹. Итак, актантная структура декаузативов характеризуется: 1) несовместимостью с Агенсом; и 2) допустимой неспецифицированностью Каузатора – внешней причины изменения состояния.

5. Тематические классы декаузативов

Декаузативы образуются именно от каузативных переходных глаголов; от некаузативных транзитивов декаузативы в норме не образуются:

Он *оправдал* наши ожидания;

Облака на востоке *предвещали* бурю;

Поездка *превозмогла* всякие ожидания;

Поиски *заняли* целый день.

Интересный пример – глагол *увидеть*: он переходный, но не каузативный. Происходит изменение состояния, но это состояние самого Субъекта, а не Объекта. Неудивительно, что *увидеть* не имеет декаузатива. Глагол *обнаружить*, в отличие от *увидеть*, каузативный (обнаружение объекта меняет его состояние – скорее всего, он скрывал свое местоположение или существование); и у него есть декаузатив.

Большая часть декаузативов происходит от глаголов *изменения состояния* (change of state verbs). Это может быть деформация (*отломиться*), изменение местоположения (*сместиться*) и положения в пространстве (*согнуться*), эмоционального состояния (*возбудиться, успокоиться*), состояния физического и физиологического (ср. *нагреться* и *согреться*), и др.:

(29) возбудить, возродить, воссоздать, восстановить, вскружить (*вскружиться от похвал*), вытеснить, добавить, заглазить, заглушить, задержать, закалить, закрыть, заморозить, затормозить, изменить, исковеркать, искрошить, раскрошить, испачкать, испортить, иссушить, истощить, исцелить, лишить, нагреть, надломить, надорвать, накалить, наполнить, обезобразить, облегчить, обнажить, обновить, обуржуазить, оживить, окрасить, опустошить, осветить, освободить (*конец веревки*), остановить, остудить, осуществить, отдалить, открыть, охладить, очиститься (напр., о небе), перевернуть, передать (напр., *волнение передалось*), переменить, переохладить, перепутать, подкрепить, подогреть, подорвать, подточить (напр., о силах), покоробить, покорежить, преобразить, прибавить, пробудить, продырявить, развернуть, разглядить, раздавить, раздвоить, раздробить, размножить, разморозить, разрушить, расслоить, растворить, растянуть, расшатать, расширить (*смех расширил ноздри – ноздри расширились от смеха*), скомкать, сконденсировать,

⁹ Идея возможной семантической исходности возвратного глагола была высказана в [Мельчук 1967].

сконцентрировать, скопить, сломать, сместить, смешать, смягчить, собрать, согнуть, согреть (*меня согрела мысль – я согрелся от мысли*), соединить, сократить, состарить, спутать (*нити спутались*), сузить, убавить, увлажнить, удвоить, укрепить, умножить, уничтожить, ускорить, успокоить, усугубить, утвердить ...¹⁰

Например:

(30) Северный ветер *испортил* погоду – погода *испортилась*;

Он *изменил* свое отношение – Его отношение *изменилось*;

Его приезд *прибавил* хлопот – С его приездом хлопот *прибавилось*.

Не будет, однако, иметь декаузатива такой каузативный глагол, который обозначает изменение состояния третьего участника, а не Объекта:

(31) это *напомнило* что-то (кому-то);

вдохнуло бодрость (в кого-то);

чтение газет *отняло* (у меня) много времени.

Многие глаголы изменения состояния отадективные, например, *увлажниться* (*его глаза увлажнились от воспоминания из воспоминание увлажнило его глаза*); весьма продуктивны декаузативы от градативов, т.е. глаголов, мотивированных сравнительной степенью прилагательного:

(32) *замедлить, облегчить, ослабить, повысить, увеличить, укоротить, улучшить, уменьшить, усилить* ...

Декаузативы от глаголов из (29) выражают изменение состояния Объекта; поэтому Субъект может сойти со сцены безболезненно для семантической формулы. Если же новое состояние, выражаемое каузативным глаголом, представляет собой отношение между Субъектом и Объектом, то Субъекта нельзя устранить из ситуации без непоправимого ущерба для смысла, см. ниже пример (48). Язык располагает, однако, способом обойти это ограничение. Так, у глагола *найти* Субъект выражает Эксперимента: это тот Y, который сначала не имел X в зоне своего внимания, а потом начал иметь. Так что описание нового состояния включает не только X-а, но и Y-а. Декаузатив от *найти*, однако, существует: когда Объект занимает позицию Субъекта, Субъект-Эксперимент переходит в Наблюдатели (см. об Экспериментах и Наблюдателях в [Падучева 2000]): *нашелся* ⊃ 'оказался в поле зрения Наблюдателя'. Аналогично для глаголов:

скрыться, потеряться (*Потерялись очки*); затеряться, задеваться, утаиться; показаться, выискаться, разыскаться, выявиться, выделиться, обнажиться, обнаружиться; запечатлеться, изобразиться (*На его лице изобразилось волнение*);

¹⁰ Здесь, как и в других списках, глагол может рассматриваться в одном из своих значений.

отобразиться; проясниться (*От его рассказа ситуация не прояснилась*); подтвердиться (*признание Оли Мещерской совершенно подтвердилось* (Бунин) – *Рассказ офицера подтвердил признание Оли Мещерской*).

Декаузативы обычно есть у фазовых глаголов (что неудивительно, поскольку мена фазы – это изменение состояния): *начаться, кончиться, возобновиться* (о занятиях, боли, кровотечении и проч.), *продолжиться, прерваться, пресечься, поднять* (тревогу), *перебить* (аппетит). Более того, для большинства фазовых глаголов декаузативное употребление первично.

6. Факторы, препятствующие декаузативной интерпретации возвратного глагола.

Препятствовать декаузативному пониманию возвратного глагола может не только Субъект каузативного глагола, но и Объект. Если у исходного каузатива Пациент одушевленный, производный от него возвратный глагол обычно не декаузатив: одушевленный Субъект избегает чисто пациентного осмысления, которого требует декаузатив. Тот же глагол с неодушевленным Объектом может допускать декаузативную интерпретацию:

(33) *освободиться* (как в *Я освободился, идем!*) – рефлексивное значение;

место освободилось – декаузатив.

(34) *погрузиться*: об одушевленном объекте – движение, рефлексивное значение;

о предмете (*Конец веревки погрузился в воду*) – декаузатив;

(35) *поцарапаться*: о человеке – рефлексив;

картина поцарапалась при перевозке – декаузатив (но *оцарапаться* только рефлексив).

(36) *задержаться*: о человеке – рефлексив;

выход книги задержался – декаузатив.

(37) *запутаться*: о человеке – рефлексив;

нитка запуталась – декаузатив.

Формы на *-ся* от глаголов с однозначно одушевленным Объектом – *избавиться, загородиться, оградиться, защититься, научиться, вымотаться, замотаться, сбиться* (несмотря на допустимое *Это меня и сбilo*), *покориться, угробиться* – однозначные рефлексивы.

Одушевленный объект у *побудить*; поэтому **побудиться*; то же для *вынудить, заставить*.

Есть каузативные глаголы, которые не имеют производного декаузатива, несмотря на событийный субъект; например, у *вызвать* отсутствует форма **вызваться* (что неудивительно – у «главного» каузативного глагола Каузатор тяготеет к позиции в Центре):

(38) приход лейтенанта *вызвал* замешательство – **замешательство вызвалось* от прихода лейтенанта ⇒ *было вызвано* приходом лейтенанта.

Естественным тормозом для декаузативации в классе глаголов изменения состояния является наличие в языке готового слова с тем смыслом, который должен был бы иметь предполагаемый декаузатив (так же как в хрестоматийном примере *баран* ⇒ *баранина*, но *корова* ⇒ **коровина*; *надо* – *говядина*). Так,

разбудить ⇒ **разбудиться*, поскольку есть *проснуться*¹¹.

В частности, если каузативный глагол является производным от лексически исходного глагола с медиальным (т.е. по сути декаузативным) значением, декаузатив часто отсутствует:

(39) *вскипятить* – **вскипятиться*, поскольку есть *вскипеть*;

вырастить – **выраститься*, поскольку есть *вырасти*¹²;

заглушить – **заглушиться*, поскольку есть *заглохнуть*;

оглушить – **оглушиться*, поскольку есть *оглохнуть*;

ослепить – **ослепиться*, поскольку есть *ослепнуть*;

погасить – **погаситься*, поскольку есть *погаснуть*;

размочить – **размочиться*, поскольку есть *размокнуть*;

сжечь – **сжечься*, поскольку есть *сгореть*;

убить – *°убиться*, поскольку есть *умереть*;

уронить – **урониться*, поскольку есть *упасть*;

утопить – *°утопиться*, поскольку есть *утонуть* (то же для *потопить*).

Семантической декаузативной парой к *высушить* будет *высохнуть*, а *высушиться* понимается как рефлексив. Впрочем, есть *ослабиться* от *ослабить*, несмотря на наличие *ослабнуть* и *ослабеть*; *остудиться* от *остудить*, несмотря на *остыть*; *истощиться* от *истощить*, несмотря на *иссякнуть* с почти тем же значением.

Интересный семантический фактор декаузативации рассмотрен в [Kulikov 1998]. В примере (40) глагол в группе (б) обозначает нормальное положение вещей или создание объекта, а в группе (а) – аномалию или разрушение; и от глагола группы (а) декаузатив образуется, а от глагола группы (б) – нет.

¹¹ Англ. *wake* и *awake* допускают декаузативное употребление, поскольку отдельного глагола со значением 'проснуться' нет

¹² В англ. языке глаголы *boil*, *burn*, *grow* допускают декаузативное употребление.

Автор считает, что способствует декаузативации семантика «возрастания энтропии». В самом деле,

- (40) а. *нарушить* – *нарушиться*; б. *соблюсти* – **соблюстись*;
а. *развязать* – *развязаться*; б. *привязать* – °*привязаться*;
а. *разрушить* – *разрушиться*; б. *построить* – °*построиться*;
а. *сломать* – *сломаться*; б. *починить* – °*починиться*

Аналогично в примерах:

- (41) *испортиться* - °*исправиться*;
отвязать – °*привязаться*;
отклеиться – °*приклеиться*;
повредиться – **обезвредиться*;
расклеиться – **заклеиться*;
расклепаться – **приклепаться*;
распаяться – **припаяться*;
распеленаться – **запеленаться*;
расседлаться – **оседлаться*;
растегнуться – °*застегнуться*.

Формы *согнуться*, *погнуться* воспринимаются как декаузативы, если нормальное положение / состояние предмета прямое. Напротив, *разогнуться* понимается в значении декаузатива в контексте объекта, для которого нормальное положение – согнутое, так что быть разогнутым для него ненормально или даже плохо. Получается, что изменения, которые происходят сами собой, без целеполагающего Агенса, обычно к худшему: компонент «ущерб» – потенциальный спутник всякой неконтролируемой каузации.

Разумеется, есть глаголы, нейтральные по отношению к признаку ущерба, см. (42), и антонимические пары, в которых оба члена декаузативируются, см. (43):

- (42) его положение *укрепилось*, кожа *смягчилась*, дверь *открылась*, пара сотен *накопилась* (неагентивное употребление: *Мне и рубля не накопили строчки*, (Маяковский));
(43) *разладиться* – *уладиться*; *разрядиться* – *зарядиться*.

Так что отрицательная коннотация декаузатива – не более чем тенденция.

7. Не-декаузативные производные каузативного глагола

I. Формы на *-ся* от глаголов *движения* в качестве первой из возможных принимают не декаузативную, а рефлексивную интерпретацию – Субъект сам рассматривается как каузатор своего движения:

(44) забиться (в угол), направиться, переправиться, погрузиться, задержаться (*телефонный звонок задержал меня – я задержался из-за звонка*), приблизиться, снизиться, повернуться, передвинуться, построиться, оттолкнуться, разместиться.

Почти все объекты, даже неодушевленные, могут двигаться как бы сами по себе (*пуля пролетела над головой*). Поэтому в классе глаголов движения преобладает собственно возвратная и, следовательно, акциональная интерпретация возвратных глаголов (*поднялся* = ‘поднял самого себя’, а не ‘поднялся сам собой’):

(45) наклониться (*дерево наклонилось к воде*), двинуться (*льдина двинулась*), взгромоздиться (*Глыбы льда взгромоздились друг на друга*), спуститься (*Лодка спустилась вниз по реке*), остановиться (*Коряга остановилась от встречного потока*).

Глаголы *приблизиться, снизиться, понизиться* могут быть декаузативами, если не обозначают движение; *углубиться* (о противоречиях) – декаузатив; *углубиться в лес* – глагол движения, рефлексив; *сместиться* декаузатив, поскольку *сместить* – это произвольное движение; *остановиться* декаузатив в (46б), со значением ‘прекратиться’, но не в (46а); *вернуться* в (47) декаузатив, поскольку не обозначает движения:

(46) а. Лиса *остановилась*

б. Приток новых машин *остановился*

(47) Его приезд *вернул* мне надежду – С его приездом *вернулась* надежда.

В классе глаголов движения имеется тенденция к употреблению каузатива в непереходном значении: *двинуть* вместо *двинуться*, *рвануть* вместо *рвануться*, *мчать* вместо *мчаться*, *гнать* вместо *гнаться* и проч.; см. в [Апресян 1974: 208] о регулярной многозначности типа ‘движение’ – ‘каузация движения’ на примерах *выруливать, отчалить, припустить, тормозить*.

II. В классе *психологических* глаголов, типа *испугать, заинтересовать, расстроить, взволновать, встревожить, увлечь, отвлечь* (но не *завлечь!*), *соблазнить* (о возможности), *пленить*, прибавление *-ся* дает не декаузативацию, а классический диатетический сдвиг; дело в том, что здесь Каузатор состояния является одновременно его Содержанием и не может быть отсутствовать, как при декаузативации (ср. об *интересовать, радовать* в [Апресян 1998]):

(48) Я *испугался* столь позднему визиту ≈ Меня *испугал* столь поздний визит.

Я *огорчился* его провалу ≈ Меня *огорчил* его провал.

У некоторых эмоций (*ошарашить, заморозить, загипнотизировать, зачаровать, заколдовать, околдовать*) Эксперимент-субъект может быть только в пассивной диатезе:

(49) Это известие *ошеломило* меня – *Я *ошеломился* этим известием;

– Я *был ошеломлен* этим известием.

Глагол *успокоиться* обозначается не наступление, а прекращение состояния и относится к классу глаголов изменения состояния; так что *успокоиться* – обычный декаузатив.

III. Форма на *-ся* от некоторых глаголов действия может иметь пассивно-потенциальное значение (термин предложен В.А. Плунгином): *юбка отстиралась* = ‘юбку удалось отстирать’. Другие примеры:

(50) бревно *распилилось*; руки *отмылись*; часы *починились*; марка *приклеилась*; свитер еле-еле *натянулся*; все *поместились* в столовой; я еле *втиснулся*; цель *достиглась* легко; статья *написалась*; роман *прочелся*; молока *нацедилось* всего два литра, машина *завелась*.

Возвратные глаголы в пассивно-потенциальном значении четко отличаются от декаузативов: декаузатив, как было показано, исключает Агенса; между тем пассивно-потенциальное значение, напротив, подчеркивает необходимость приложения усилий для достижения желаемого результата и предполагает Агенса – или по крайней мере субъекта, заинтересованного в его наступлении:

Искал во всех углах – все напрасно: она не отыскалась.

Парный несомн. вид тех же глаголов обозначает действие, узуально применяемое к объекту, или даже его свойство – ‘Х таков, что его можно легко / с трудом подвергнуть данному действию’¹³: *Книга легко читается, Пятна от чая отстирываются с трудом.*

Замечание. В [Апресян 1980: 64] была выделена группа глаголов типа *поймать, решить, догнать*, обладающих тем свойством, что «деятельность» (выражаемая парным глаголом НСВ) имеет в семантике этих глаголов статус презумпции: *не решил* ⊃ ‘решал’. Для других глаголов это неверно: *не вынес мусор* не предполагает ‘выносил’. В [Падучева 1996: 111-114] это свойство объяснено входящим в семантику глаголов типа *поймать* компонентом ‘удалось’, характеризующим конативы. Конативы, как правило, допускают пассивно-потенциальное употребление. Например, допускает пассивно-потенциальное понимание глагол *распознать*, конатив (*легко распознается*), но не *заметить*. Конативный компонент в семантике глагола может быть контекстно обусловленным: можно сказать *гвоздь не забился*, хотя словарное значение *забить* не включает компонента ‘удалось’.

¹³ Пассивно-потенциальное употребление глаголов в английском языке (как в *This book reads easily*) описано в [Spencer 1998].

Конативный компонент можно усмотреть в семантике глаголов *увидеться*, *узнаться* в примере (51) (из [Арутюнова 1999: 812]):

(51) Когда же ослабилось внешнее давление – расширился мой и наш кругозор и постепенно <...> *увиделся* и *узнался* тот «весь мир» (Солженицын).

Пассивно-потенциальное значение агентивного глагола, часто бывает форсированное; так, в (52) *сам собой* употреблено в переносном значении ‘*как бы сам собой*’, т.е. с минимальной затратой усилий. В (53а) для конативного понимания не хватает контекста; в (53б) оно уже возможно:

План составил сам собой; Статья написалась сама собой = ‘как бы сама собой’;

(53) а. *Ворота заперлись в 12 часов;

б. Ворота заперлись только в 12 часов.

В примерах (54), (55) (взятых из [Арутюнова 1999: 812], где они приводятся в иной связи) возвратность подчеркивает независимость возникшего результата от сознательной воли Агенса, но не может полностью исключить его из ситуации:

(54) То есть он [Ноздрев] хотел было сказать «сорок», но «двести» *сказалось* как-то само собой (Гоголь);

(55) <...> понял, что еще недавно это вот так ненароком не *выговорилось* бы (М. Харитонов)

До середины XIX века совершенный вид возвратного глагола еще мог пониматься как форма страдательного залога; например, так трактует Л.А. Булаховский [1954: 315] выделенные курсивом формы в следующем отрывке:

(56) Домик Дарьи Ивановны как будто снова *оделся* цветом: крыша *покрылась* железным листом, стены *законопатились*, снаружи *обились* новым тесом, внутри *обклеились* обоями. (Вельтман, 1846-1847)

В современном языке такие употребления воспринимаются как устаревшие (что игнорируется в [Янко-Триницкая 1962: 132]). Декаузативному пониманию глаголов *законопатиться*, *обиться*, *обклеиться* мешает их очевидная агентивность, а для модального компонента (56) не дает оснований.

8. Комментарии к отдельным глаголам

1. Почему есть декаузатив у агентивных глаголов *сварить*, *зажарить*, *испечь*:

Картошка *сварилась*; Пирог *испекся*.

В ситуации, описываемой этими глаголами, каузатором, помимо деятельности человека, является источник высокой температуры – огонь. На последнем этапе он может оставаться главным каузатором; видимо, это и дает декаузатив. У глагола *проветрить* аналогичный природный каузатор – ветер¹⁴.

2. Природные силы способны отчасти имитировать действия человека, так что Субъект «природная сила» иногда позволяет сохранить в семантике глагола компонент Способ действия. Поэтому, скажем, возможность употребления глагола с неагентивным субъектом *ветер* еще не свидетельствует о допустимой декаузативации; в самом деле,

Ветер *разогнал* тучи, но *Тучи *разогнались*;

Ветер *сорвал* с него шапку, но *Шапка с него *сорвалась*;

Ветер *принес* запахи жилья, но * *Принеслись* запахи жилья.

Впрочем, существенно может быть также то, что все три глагола обозначают действие, см. раздел 7.1.

3. Глагол, в своем исходном значении фиксирующий Способ действия, орудие или вид движения, может иметь производный декаузатив за счет выветривания значения:

пуговица *оторвалась* = ‘открепилась’;

Исходное значение глагола *затянуть* фиксирует способ действия, что служит противопоказанием для декаузатива. Однако декаузатив *затянуться* возможен – благодаря выветриванию: *жизнь моя затянулась* (Бродский); *Молотьба затянулась*, = ‘длится дольше нормы’. В *занавеска задернулась* компонент Способ действия в семантике *задернуть* тоже выветрился: *задернуть* – это стандартная «лексическая функция» от *занавеска*. То же для *сжать-сжаться*.

4. Если верно, что границы применимости декаузативации задаются семантически, то слова, которые служат переводами друг друга в разных языках, должны вести себя одинаково. Между тем это не всегда так. Например, непонятно, почему декаузатив есть у русск. *истощить уничтожить, стереть, разорить*, но отсутствует у англ. *exhaust, delete, erase, ruin*. Русский глагол *удалить* не имеет декаузатива по семантическим причинам – он включает оценку объекта как лишнего, плохого, а оценка требует субъекта сознания; между тем англ. *remove* тоже не имеет декаузативного употребления ([Levin, Rappaport 1995: 103]), хотя и лишен этой субъективности.

¹⁴ Этот пример предложен К.Мельниковой.

9. Заключение

Итак, мы представили соотношение между каузативным глаголом и его декаузативом (*Ваня открыл дверь – Дверь открылась*) в виде трех семантически охарактеризованных переходов (семантических дериваций): 1) деагентивация; 2) декаузативация; 3) Удаление неспецифицированного адъюнкта. Каждое из этих трех явлений имеет свою отдельную и достаточно широкую сферу распространения в других участках языковой системы.

1) Деагентивация (*Ваня открыл дверь – Порыв ветра открыл дверь*) – это категориальный сдвиг, изменение таксономического класса участника. Она дает изменение лексического значения слова, ср. разные значения слова *встретить* в контекстах *встретить знакомого на улице* и *встретить незнакомое слово в тексте*. Деагентивация выделяет в каузативном глаголе, таком как, скажем, *разбудить*, две отдельных лексических единицы – одна с агентивным, другая – с событийным субъектом (тип многозначности хотя и регулярный, но не абсолютно продуктивный).

Изменение класса Субъекта сопровождается рядом характерных следствий, касающихся языкового поведения лексемы. Например, при событийном субъекте из числа потенциальных участников ситуации исключается Инструментальное действие, пример (12); исключается возможность употребления несов. вида в актуально-длительном значении; невозможны наречия – такие как *нечаянно, нарочно*, а также *грубо, осторожно*; и проч.

Деагентивация как тип семантической деривации (т.е. явление из области лексической семантики) позволяет выявить семантическую природу класса глаголов изменения состояния. В [Levin 1993] глаголы изменения состояния были определены, прежде всего, через свою способность иметь декаузатив. Такое определение не дает возможности обращаться к этому классу для определения сферы применимости декаузативации: получается порочный круг. Мы определяем глаголы изменения состояния непосредственно через структуру их семантической формулы: каузативный глагол может быть отнесен к глаголам изменения состояния при условии, что в его семантике отсутствует спецификация способа действия. Например, глаголы изменения состояния, такие как *сместить, наполнить*, отличаются от акциональных глаголов, таких как *принести, порезать*, тем, что семантика последних включает указание на способ действия (субъекта), в то время как у глаголов изменения состояния заданы только начальное и конечное состояние. Очевидно, что описание лексического класса глаголов изменения состояния должно быть отделено от семантики декаузативов.

Вообще, деагентивация, несмотря на ее большую продуктивность, все-таки остается лексическим процессом и в конечном счете может быть задана только словарем; например, возможно выветривание агентивно ориентированных компонентов, расширяющее границы декаузативации.

2) Собственно декаузативация предстает после этого как чисто диатетический сдвиг, не меняющий лексического значения глагола. Семантическая суть декаузативации в том, что Каузатор (= воздействующий фактор, причина) превращается из актанта в сирконстант. Фоновый Каузатор декаузатива по своей семантической роли тождествен Каузатору-Субъекту, а в коммуникативном плане не отличается от других непараметрических сирконстантов: участник в коммуникативном статусе сирконстанта входит в концепт ситуации только при условии, что он отражен в поверхностной структуре предложения.

Диатетическая интерпретация отношения между декаузативом и исходным каузативным глаголом объясняет, почему у Субъекта декаузатива та же роль и тот же таксономический класс, что у Объекта исходного глагола; например, *разбиться* может только то, что можно *разбить*.

3) Наконец, последний (и необязательный) этап декаузативации, удаление периферийного Каузатора (*Окно открылось от порыва ветра – Окно открылось*), позволяет избавиться от широко распространенного ошибочного представления о том, что декаузативы описывают спонтанные изменения, которые происходят сами по себе и осознать тот факт, что отсутствие периферийного каузатора при декаузативе гораздо чаще обозначает несущественность внешней причины, чем ее отсутствие. Декаузативы исключают из ситуации только Агенса, но не внешнюю причину изменения.**

Литература

Апресян 1974 – Ю.Д. Апресян. – Лексическая семантика. М.: Наука, 1974.

Апресян 1980 – Ю.Д. Апресян. Типы информации для поверхностно-семантического компонента модели «Смысл ⇔ Текст». Wien, 1980.

Апресян 1998 – Ю.Д. Апресян. Каузативы или конверсивы? // Типология. Грамматика. Семантика. К 65-летию В.С. Храковского. СПб., 1998 С 273-281.

Арутюнова 1999 – Н.Д. Арутюнова. Язык и мир человека. М., 1999.

Булаховский 1954 – Л.А. Булаховский. Русский литературный язык первой половины XIX века. 2-е изд. М., 1954.

Булыгина 1982 – Т.В. Булыгина. К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов. М., 1982. С. 7-85.

Вежбицкая 1999 – А. Вежбицкая. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999.

Веренк 1985 – Ж. Веренк. Диатеза и конструкции с глаголами на -ся. // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XV. М., 1985.

** Автор благодарен Вяч. Вс. Иванову, Л.Куликову, К.Мельниковой и Р.И. Розиной за замечания и поправки к тексту статьи и соображения по обсуждаемой проблематике.

- Виноградов 1947 – В.В. Виноградов. Русский язык. М.; Л., 1947.
- Гаврилова 1990 – В.И. Гаврилова. Квазипассивная конструкция в системе залоговых противопоставлений русского глагола. // Вопросы кибернетики. Язык логики и логика языка. М., 1990.
- Грамматика 80 – Русская грамматика. Т. I-II. М., 1980.
- Зализняк 1987 – Анна А. Зализняк. О типах взаимодействия семантических признаков. // Экспериментальные методы в психолингвистике. М., 1987.
- Иорданская, Мельчук 1996 – Л.Н. Иорданская, И.А. Мельчук. К семантике русских причинных предлогов // Московский лингвистический журнал. Т. 2, М., 1996. С. 162-211
- Исаченко 1960 – А.В. Исаченко. Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким. Ч. 2. Братислава, 1960.
- Кустова, Падучева, Рахилина и др. 1993 – Г.И. Кустова, Е.В. Падучева, Е.В. Рахилина, Р.И. Розина, М.В. Филипенко, Н.М. Якубова, Т.Е. Янко. Словарь как лексическая база данных: об экспертной системе «Лексикограф» // Научно-техническая информация. Сер. 2, 1993, №11. С. 18-20.
- Кустова, Падучева 1994 – Г.И. Кустова, Е.В. Падучева. Словарь как лексическая база данных // ВЯ, 1994. №4. С. 96-106.
- Мельчук 1967 – И.А. Мельчук. К понятию словообразования // ИАН СЛЯ. Т. 26, Вып.4. С. 352-362.
- Мельчук 1998 – И.А. Мельчук. Курс общей морфологии. Т. II. М.; Вена, 1998.
- Мельчук, Холодович 1970 – И.А. Мельчук, А.А. Холодович. К теории грамматического залога // Народы Азии и Африки, 1970, № 4. С. 111-124.
- Падучева 1996 – Е.В. Падучева. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996.
- Падучева 1997 – Е.В. Падучева. Семантические роли и проблема сохранения инварианта при лексической деривации // Научно-техническая информация, Сер.2, 1997, № 1. С. 18-30.
- Падучева 1999а – Е.В. Падучева. Принцип композиционности в неформальной семантике // ВЯ. 1999а. № 5. С. 3-23.
- Падучева 1999б – Е.В. Падучева. Метонимические и метафорические переносы в парадигме значений глагола *назначить* // Теория и типология языка. От описания к объяснению. К 60-летию А.Е. Кибрика. М., 1999. С. 488-502.
- Падучева 2000 – Е.В. Падучева. Наблюдатель как экспериент за кадром // Слово в тексте и словаре: Сб. ст. к 70-летию Ю.Д. Апресяна / Ред. Л.Л. Йомдин, Л.П. Крысин. М., 2000. С. 185-201.

- Плунгян 2000 – В.А. Плунгян. Общая морфология. М., 2000.
- Янко-Триницкая 1967 – Н.А. Янко-Триницкая. Возвратные глаголы в русском языке. М., 1962.
- Benveniste 1971 – E. Benveniste. Problems in General Linguistics. Miami. Fla: Univ. of Miami Press, 1971
- Comrie 1985 – B. Comrie. Tense. Cambridge et al.: Cambridge Univ. Press, 1985.
- Goddard 1998 – C. Goddard. Semantic Analysis: A Practical Introduction. Oxford Univ. Press, 1998.
- Haspelmath 1993 – M. Haspelmath. Transitivity Alternations of the Anticausative Type. Köln: Institut für Sprachwissenschaft. Arbeitspapier 5, 1987.
- Haspelmath 1993 – M. Haspelmath. More on typology of inchoative/causative verb alternations // B.Comrie, M.Polinski (eds.) Causatives and Transitivity. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 1993. P. 87-120
- Israeli 1996 – A. Israeli. Semantics and Pragmatics of the Reflexive Verbs in Russian. München: Otto Sagner, 1996.
- Jackendoff 1993 – R. Jackendoff. Semantic Structures. Cambridge etc., 1993.
- Kulikov 1993 – L. Kulikov. Passive, anticausative and classification of verbs: the case of vedic // Typology of Verbal Categories. L. Kulikov, H.Vater (eds.), Tübingen, 1998. P. 139-153.
- Lakoff 1977 – G. Lakoff. Linguistic Gestalts. Papers from the 13th Regional Meeting Chicago Linguistic Society. Chicago, 1977.
- Levin 1993 – B. Levin. English Verb Classes and Alternations. Chicago, 1993
- Levin Rappaport 1995 – B. Levin, Hovav M. Rappaport Unaccusativity: At the Syntax-lexical Semantics Interface. Cambridge, MA: MIT Press, 1995.
- Levin Rappaport 1998 – B. Levin, Hovav M. Rappaport Building verb meaning // Projection of Arguments: Lexical and Compositional Factors. 1998, CSLI Publications, P. 97-134.
- Lyons 1978 – J. Lyons. Semantics. L. etc.: Cambridge Univ. Press, 1978.
- Spencer 1998 – A. Spencer. Middles and genericity // Essex Research Reports in Linguistics. Univ. of Essex. Dept. of Language and Linguistic, 1998.
- Wierzbicka 1980 – A. Wierzbicka. Lingua mentalis. Sydney etc.: Acad. Press, 1980.

Фонологическое содержание долгих мягких шипящих [ш':], [ж':] в русском литературном языке

1. Существуют разные точки зрения на то, какие фонемы воплощают в русском литературном языке звуки [ш':], [ж':] в таких словах, как [ш':]и, [ш':]у́ка, [ш':]а́стье, ра[ш':]ё́т, во[ш':]и́к, шипя[ш':]и́й и др., ви[ж':]а́ть, во[ж':]и, дро[ж':]и, до[ж':]у́, е[ж':]у, со[ж':]ё́нный и др. [см.: Флайер 1995].

Широко распространено мнение, что эти звуки представляют особые фонемы, обозначаемые как /ш':/, /ж':/ (/ш̄'/, /ж̄'/), или /ш'/, /ж'/, или /щ /, /ж/. Звуки [ш':], [ж':] при такой трактовке фонологически нечленимы: «В одном только случае в русском литературном языке долгота согласного обычна и не на стыке морфем и поэтому является признаком отдельной фонемы – это долгота мягких шипящих: *ш̄'у́ка, ш̄'ьв'ёл', ш̄'ас'т'иь, ж̄эж̄ у, жу́ж̄'и́т, во́ж̄'и, дро́ж̄'и* и др.» [Аванесов, Сидоров 1945: 61]; см. также: [Аванесов 1974: 171-172]; «это монофонемные явления, так как нет отдельно ни мягкого *ш*, ни мягкого *ж*» [Реформатский 1970: 118]. Такой точки зрения придерживаются обычно и другие представители Московской фонологической школы и некоторые представители Петербургской (Ленинградской) фонологической школы см.: [Щерба, Матусевич 1960: 49-50; Щерба 1983: 43; Матусевич 1976: 142-144; Гвоздев 1958: 15-16].

Высказывались и разные фонологические оценки [ш':] и [ж':]. Т.В. Булыгина интерпретирует [ш':] как реализацию одной фонемы, а [ж':] – двух [Булыгина 1971: 89-91]. Бифонемность [ж':] в *жжет* убедительно показал В.А. Виноградов [Виноградов 1976: 290-291]. Е.Л. Бархударова считает, что [ш':] представляет две фонемы, а [ж':] – одну [Бархударова 1999: 82]. Л.В. Бондарко, признавая «допустимость толкования долгого мягкого согласного [ш':] как монофонемного звука», отказывается от фонологической оценки [ж':], считая, что он «не имеет какой-либо фонологической нагрузки», так как «современное состояние характеризуется явной тенденцией произносить в таких случаях твердый, а не мягкий согласный» [Бондарко 1998: 35]. Тем не менее, есть достаточно много литературно говорящих людей, которые в некоторых словах постоянно произносят [ж':], и фонологическая интерпретация его необходима.

*Касаткин Леонид Леонидович – доктор филологических наук, профессор, заведующий Отделом диалектологии и лингвистической географии Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.

Спорным является вопрос и о том, составляют ли фонемы, представленные краткими твердыми шипящими звуками, и фонемы, представленные долгими мягкими шипящими звуками, пары и каковы дифференциальные признаки этих фонем. Р.И. Аванесов и В.Н. Сидоров считали, что «долгие шипящие не противопоставлены кратким, потому что в русском литературном языке долгие шипящие всегда мягки, а недолгие “краткие” всегда тверды и, таким образом, они отличаются друг от друга в двух отношениях – мягкостью-твердостью и долготой или отсутствием ее» [Аванесов, Сидоров 1945: 61-62]. А.А. Реформатский указывал: фонемы «<ш/щ> и <ж/ж> не образуют корреляции по твердости и мягкости» [Реформатский 1976: 1653], они «иррелевантны» по этому признаку [Реформатский 1970: 496]. Это решение поддержала и Т.В. Булыгина [Булыгина 1971: 88].

М.В. Панов же считает <ш'> и <ж'> мягкими фонемами, составляющими пары по твердости/мягкости с фонемами <ш>, <ж>: «Что касается долготы [ш':] и [ж':], то она всегда появляется вместе с признаками “мягкий щелевой шипящий” и поэтому нерелевантна; она – сопроводитель, а не самостоятельная сущность. Фонологически мы ее не учитываем» [Панов 1979: 135].

В качестве обоснования этой точки зрения приводились следующие соображения. Звуки [ш] и [ш':], [ж] и [ж':] различаются двумя признаками: [ш] и [ж] твердые и краткие, [ш':] и [ж':] мягкие и долгие. Для противопоставления фонем, воплощенных в звуках [ш] – [ш':], [ж] – [ж':] достаточно одного дифференциального признака. Решение того, какой признак – краткость/долгота или твердость/мягкость – является дифференциальным, а какой интегральным, зависит от веса этих признаков в системе. Корреляция по твердости/мягкости имеет большой вес в русском языке: она включает большое число фонем, парных по этим признакам. Противопоставление же по краткости/долготе в русском языке у других фонем отсутствует. Поэтому твердость/мягкость – дифференциальный признак фонем /ш/ – /ш'/, /ж/ – /ж'/, а краткость [ш], [ж] и долгота [ш':], [ж':] интегральный признак этих звуков. Такое решение принималось на тех же основаниях, что и решение о противопоставлении фонем /ц/ – /ч'/ см.: [Касаткин 1996: 130].

2. Иная фонологическая интерпретация звуков [ш':], [ж':] заключается в том, что они рассматриваются как бифонемные сочетания (см.: [Халле 1959: 51-52, 65-66, 71-72; Зиндер 1963; 1989; Исаченко 1971; Флайер 1995]).

2.1. Один из аргументов следующий. Сравнение длительности [ш':] и бифонемных сочетаний [сц], [с:], [ш:] показало, что «длительность долгого [ш':] и сочетания «sc» колеблется в общем в одинаковых пределах; однако в большинстве случаев длительность сочетания несколько выше длительности [ш':], вместе с тем у некоторых дикторов встречается и обратная картина», а [s:], [š:] «имеют зачастую длительность не только не бóльшую, но даже меньшую, чем [ш':]. Из этого следует, что длительность [ш':] <...>

заставляет считать этот согласный сочетанием двух фонем» [Зиндер 1963: 141]. Н.С. Трубецкой теоретически обосновал подобное решение следующим образом: «Группу звуков следует считать реализацией одной фонемы, если ее длительность не превышает длительности других фонем данного языка» [Трубецкой 2000: 63].

Этот аргумент можно отвести. Воплощающие особые фонемы разные согласные звуки (как и гласные) обладают разной собственной длительностью. Так, в одной и той же позиции мягкие согласные обычно имеют большую длительность, чем соответствующие твердые, аффрикаты более длительны, чем взрывные и т.д. Поэтому можно допустить и существование таких фонем, которые воплощаются в звуках с повышенной по сравнению с другими согласными длительностью.

М. Флайер считает, что «самое весомое опровержение монофонемного взгляда вытекает из данных по вариативности. Поскольку для некоторых носителей языка приемлемы дублиеты вроде [š'č'úkə] – [š's'úkə], «монофонемники» должны признать существование возможной, но странной произвольной подстановки двух фонем (/šč/) вместо одной (/š'/)» [Флайер 1995: 58]. То же самое можно отнести и к вариативности типа *вó[ж'ж']и* – *вó[жж]и*, так как [жж] все лингвисты считают реализацией двух фонем: «Палатализованный долгий [ž':] возможен только внутри морфем, но ввиду того, что он может заменяться непалатализованным и, следовательно, функционально равен ему, его следует признать бифонемным» [Зиндер 1989: 5].

Однако в орфоэпических вариантах противопоставление разных фонем вполне обычно: *молó/ш/ный* – *молó/ч'/ный*, *к/р'/úнка* – *к/р/ынка*, *н/о/ль* – *н/у/ль*, *борóла/с'/* – *борóла/с/*, *нóс/а/т* – *нóс/у/т* и др.; возможно также противопоставление одной и двух фонем: *сы/пл'/ет* – *сы/п'/ет*, *щú/пл'/ет* – *щú/п'/ет*, *трé/пл'/ется* – *трé/п'/ется*; старопетербургской норме соответствует произношение долгого [н:] в соответствии со старомосковским и более употребительным в настоящее время [н] в таких прилагательных, как *ю[н:]ый* – *ю[н]ый*, *румя[н:]ый* – *румя[н]ый*, *песчá[н:]ый* – *песчá[н]ый*, где [н:] соответствует двум фонемам /нн/, а [н] одной /н/.

2.2. Гораздо более основателен другой аргумент, высказанный Е.Л. Бархударовой по поводу [ш':]. Некоторые лингвисты, рассматривающие [ш':] как воплощение одной фонемы, указывают, что [ш':] может в отдельных случаях представлять и сочетания фонем: /шч'/ – *веснушчатый* (где /ш/ и /ч'/ выступают на стыке морфем, ср. *весну/ш/ка* и *узор/ч'/атый*), /жч'/ – *перебежчик* (ср. *перебе/ж/ать* и *лёт/ч'/ик*), /сч'/ – *песчинка* (ср. *пе/сок/*, *пе/ск/а*, *пе/соч'/ек* и *горь/к/о* – *гор/ч'/инка*), /с'ч'/ – *разносчик* (ср. *разно/с'/ить*), /зч'/ – *навязчивый* (ср. *навя/з/ывать* и *вспль/ч'/ивый*), /з'ч'/ – *возчик* (ср. *во/з'/ить*) ср.: [Панов 1967: 228;

Барнинова 1966: 33; Бархударова 1999: 82]¹ Эти сочетания фонем идентифицируются на основании чередований со звуками в сигнификативно сильных позициях. В сигнификативно слабой позиции, когда последней фонемой сочетания является /ч'/, они нейтрализуются в звуке [ш':].

Таким образом, указанные сочетания фонем с последней /ч'/, нейтрализованные в звуке [ш':], определяются при наличии проверки этих фонем в тех же морфемах вне этих сочетаний, т.е. в сигнификативно сильных позициях. «В словоформах же типа *чаща, щука, счастье, морщина* и других, в которых звук [ш':] нельзя привести к сильной позиции, пришлось бы признать нейтрализацию фонемы <ш':> со всеми указанными сочетаниями. <...> Значит фонема <ш':> постоянно оказывалась бы в слабой позиции. Вряд ли такое решение можно считать приемлемым. Скорее звук [ш':] следует рассматривать как реализацию различных фонемных сочетаний» [Бархударова 1999: 82-83]. Действительно, наличие особой фонемы в языке определяется только по сигнификативно сильной позиции.

В интервокальной заударной позиции не после ударного гласного обычно произносится один и тот же краткий согласный в соответствии с одной и двумя одинаковыми согласными фонемами: *суженый* (сущ.) – *сўже[н]ый* – *сўже/н/ый* и *суженный* (прич.) – *сўже[н]ый* – *суже/нн/ый*. Это сигнификативно слабая позиция для одной и двух одинаковых согласных фонем. Но в интервокальной позиции после ударного гласного долгий согласный всегда воплощает две одинаковые согласные фонемы, а одна согласная

¹ Кроме этих сочетаний двух фонем приводятся и трёхфонемные сочетания /стч/, /здч/, нейтрализующиеся в звуке [ш':] в таких словах, как *жёстче* (ср. *жёстко*), *осна́стчик* (ср. *оснасти́ть*), *боро́здатый* (ср. *борозда́*), *объёздчик* (ср. *ёздитъ*) и т.п. [Реформатский 1970: 117; Касаткин 1996: 135; Бархударова 1999: 82]. Однако это решение должно быть пересмотрено. Во-первых, с точки зрения Московской фонологической школы, к которой принадлежат указанные лингвисты, следовало бы говорить, что в этих словах на первом месте сочетания согласных стоит гиперфонема – /с|с'|з|з'/ в старшей системе и /с|з/ или /с'|з'/ в младшей системе. Во-вторых, чередование [т], [т'], [д], [д'] с нулем звука в позиции между переднеязычными согласными, особенно в младшей норме, перестало быть обязательным, позиционно обусловленным (а только в случае фонетической позиционной обусловленности можно с уверенностью говорить о реализации фонемы нулем звука): *кос[т']* – *кóс[-]ный* и *кóс[т]ный*, *челюс[т']* – *челюс[-]ной* и *челюс[т]ной*, *гигáн[т]* – *гигáн[-]ский* и *гигáн[ц]ский*, *звезд[д']á* – *звёз[-]ный* и *звёз[д]ный*. В других случаях, например после [р], в сочетании *стн* наличие [т], [т'] стало более предпочтительным, чем их отсутствие: *грубошёрс[т]ный*, *пéрс[т']ня*. В третьих случаях наличие или отсутствие [т], [т'] связано с определенными словами: *счас[-]ливый*, *завис[-]ливый*, но *кос[т]ливый*, *пос[т]латъ* и др. Фонологическая закономерность должна формулироваться не для каждой из этих и других групп конкретных сочетаний зубных взрывных согласных с окружающими переднеязычными, а для всех вместе, так как «законы звуковой сочетаемости относятся к классу звуков, а не к отдельному звуку» [Панов 1967: 79]. Поэтому чередование [т], [т'], [д], [д'] с нулем звука в таких сочетаниях (в том числе и между зубными щелевыми и [ч']) следует расценивать как чередование фонем /т/, /т'/, /д/, /д'/ с нулем фонемы (см.: [Касаткин 1998: 134-135]. Следовательно [ш':] в таких словах, как *жёстче*, *боро́здатый* и т.п. является представителем двух фонологических единиц, а не трех.

фонема всегда реализуется кратким согласным звуком: *тонна* – тó[н:]а – то/нн/а и *тона* – тó[н]а – то/н/а, *колли* – кó[л':]и – ко/л'л'/и и *Коли* – Кó[л']и – Ко/л'/и, *виллы* – вí[л:]ы – ви/лл/ы и *вилы* – вí[л]ы – ви/л/ы. Поэтому и для долгого [ш':] в этой позиции должно быть одно и то же фонологическое решение: если в таких словах, как *вóзчик*, *разнóсчик*, *брóсче*, *прóще*, долгий [ш':] воплощает сочетание фонем, то в таких словах, как *вéщи*, *мóщи*, *пíща*, *сúщий*, *ящик* и т.п., [ш':] тоже воплощает сочетание фонем, а не одну фонему.

Таким образом, решение о выделении фонемы /ш'/ содержит существенные внутренние противоречия и от этого решения следует отказаться.

Лингвисты, предлагавшие считать [ш':] всегда воплощением двух фонем, определяли эти фонемы как /шч/ или /сч/. На основании вышесказанного следует в тех морфемах, где отсутствуют чередования [ш':] с сочетаниями других согласных звуков (*цель*, *щит*, *пощада*, *ящик*, *счастье*, *расчёт*, *шипящий* и т.п.), а также в тех случаях, когда на месте такого [ш':] в определенных позициях – на конце слова и рядом с согласным – в результате сокращения долготы обычно произносится краткий [ш'] (*плащ*, *вещь*, *могучий*, *подсчитать*, *дщерь* и т.п.) видеть сочетание гиперфонемы /с|с'|з|з'|ш|ж/, соответствующей всем щелевым переднеязычным фонемам (кроме боковых /л/, /л'/) с фонемой /ч'/.

О том, что последней фонемой в этом сочетании является /ч'/, свидетельствуют все случаи проверки фонемного содержания [ш':] различными указанными выше чередованиями. Об этом же говорит также следующее. На стыке приставки и корня, предлога и следующего слова, реже на стыке двух самостоятельных слов (*расчесать*, *бесчерепные*, *с чем*, *без чего*, *голос часового* и т.п.) наряду с [ш':], или, точнее, [ш'ш'], может (реже или чаще) произноситься [ш'ч']. При этом на протяжении последнего столетия идет постепенное расширение произношения [ш'ш'] за счет [ш'ч']. Во всех этих случаях данным звуковым сегментам соответствуют две фонемы, вторая из них /ч'/.

Произношение [ш'ч'] ранее часто отмечалось и внутри корня и суффикса и на стыках корня и суффикса и двух суффиксов. Теперь замена [ш'ч'] на [ш'ш'] в этих положениях почти завершена, [ш'ч'] встречается лишь как устарелый вариант произношения².

Таким образом, фонема /ч'/ в позиции после [ш'] обычно реализуется звуком [ш'] внутри корня и суффикса и на стыках корня и суффикса и двух суффиксов, а на стыке приставки и корня, предлога и следующего слова, на стыке двух самостоятельных слов в этой позиции наблюдается вариативность в реализации /ч'/: она может воплощаться в звуках [ч'] и [ш'].

² Такое произношение допустимо наряду с [ш'ш'], в частности, в формах сравнительной степени некоторых слов: *брóсче* (от *броский*), *вёсче* (от *веский*), *мёрзче* (от *мерзкий*), *трясче* (от *тряский*), в слове *борóзчатый* [см.: ОС].

2.3.1. Звук [ж':], или, точнее, сочетание [ж'ж'], тоже можно рассматривать как бифонемное со второй фонемой /ж/. В некоторых морфемах чередования указывают на первую фонему /з/ – *пó[ж'ж']е позже* (ср. *опóз/дать, пó[зн]о* и *твёрдо - твер/ж/е*; [д] в *опоздать* чередуется с [ж'] в *позже*, перед которым [з] заменяется [ж']), /ж/ – *за[ж'ж']ёт* *зажжёт* (ср. *за/ж/гу* и *лгу – л/ж/ёт*, [г] в *зажгу* чередуется с [ж'] в *зажжёт*), гиперфонему / $\frac{с}{3}$ / – *ви[ж'ж']ать визжать* (ср. *ви/ $\frac{с}{3}$ /г* и *бег – бе/ж/ать*, [г] в *визга* чередуется с [ж'] в *визжать*, перед которым [з] заменяется [ж']), / $\frac{с}{3}$ / – *é[ж'ж']у ежжу* (ср. *е/ $\frac{с}{3}$ /дить*). В ряде случаев подобные чередования отсутствуют – *вó[ж'ж']и возжжи, дрó[ж'ж']и дрожжжи, жуж[ж'ж']ать жуужжать* и др. В этих случаях первый [ж'] воплощает гиперфонему /с|с'|з|з'|ж/.

В современном русском литературном языке [ж'ж'] может произноситься только в некоторых корнях. Это произношение постепенно заменяется произношением твердых [жж], господствующим в младшей норме. Наряду с *вó[ж'ж']и, ви[ж'ж']ать, дрó[ж'ж']и, é[ж'ж']у, за[ж'ж']ёт* и т.п. существует и произношение *вó[жж]и, ви[жж]ать, дрó[жж]и, é[жж]у, за[жж]ёт* и т.п. На стыке же морфем на месте сочетаний /зж/, /сж/, /жж/, /шж/ возможно произношение только твердых звуков, обычно [жж]: *разжевать, сжечь, межжаберный, без жира, с жадностью, мышь же убежала* и т.п.

2.3.2. Различие в реализации одних и тех же сочетаний фонем объясняется следующим. В древнерусском языке все шипящие были мягкими, а затем щелевые (в некоторых говорах и [ч']) постепенно отвердевали. Этот процесс шел неодинаково в разных позициях: перед гласными непереднего ряда шипящие отвердевали раньше, чем перед гласными переднего ряда. Дольше сохранялась мягкость шипящих рядом с мягкими согласными.

Об этом свидетельствуют данные современных русских говоров. В некоторых редких севернорусских говорах мягкость [ш'], [ж'] отмечается во всех позициях: [ш']*итьё*, [ж']*или*, [ш']*естой*, [ж']*енá*, [ш']*ол*, [ж']*оны*, [ш']*ар*, [ж']*арко*, [ш']*ум*, хо[ж']*у*, д \acute{u} [ш']*но*, мó[ж']*но*, бáтю[ш']*ки*, пó[ж']*ня*, м \acute{y} [ш'], рó[ш'] (*рожь*). Гораздо чаще мягкие [ш'], [ж'] отмечаются только в некоторых позициях. Чаще всего встречается произношение [ш'], [ж'] перед [и] и мягкими согласными, реже и перед [е], еще реже и перед гласными непереднего ряда [см.: ДАРЯ, вып. I, карта 63; Русская диалектология 1989: 66-67]. В некоторых донских говорах [ш'], [ж'] возможны только перед /j/: [ш']*ью*, рó[ж']*ью* и т.п.

В начале XX в., по свидетельству А.А.Шахматова, «звуки \check{s} , \check{z} , с отвердели при всяком положении в слове <...>. Мягкие \check{s} и \check{z} встречаются в единичных случаях в индивидуальном произношении: *ub'êžĩššá*. Некоторые лица произносят \check{s} и \check{z} последовательно перед мягкими язычными: *pas'm'êšn'ik, pr'êžn'eĩ, z'd'êšn'ii*» [Шахматов 1941: 111]. Подтверждая это свидетельство А.А.Шахматова, А.В. Исаченко указывает, что у большинства говорящих смягчение этих шипящих наблюдается и в позиции перед [j] в таких словах, как *шьёт, мужья* и т.п. [Исаченко 1947: 128]. Р.И.Аванесов также писал о том, что в сочетаниях [жд'], [жн'], [жл'], [шн'], [шл'] «в индивидуальном произношении встречается смягчение шипящего»: *прé[ж'д']е, ро[ж'д']ение, худó[ж'н']ик, прé[ж'н']ий, вé[ж'л']ивый, ли[ш'н']ий*,

ка́[ш'л']ять, но считал, что такое произношение «следует признать неправильным с точки зрения норм современного русского языка» [Аванесов 1984: 162].

Но и в настоящее время мною неоднократно отмечались примеры произношения мягких [ш'], [ж'] перед мягкими согласными и звуками на месте /j/ у литературно говорящих людей, в том числе у некоторых корреспондентов радио и телевидения и их собеседников: *Бары[ш'н']иков, Ве[ш'н']яко́в, вné[ш'н']яя, вчeра́[ш'н']ий, дома́[ш'н']ее, за́втра[ш'н']ий, зде́[ш'н']ий, Ку́[ш'н']ер, ли́[ш'н']ий, ныне[ш'н']ей весно́й, пересме́[ш'н']ика, помо́[ш'н']ики, сегóдня[ш'н']ий, телеба́[ш'н']я, ка́[ш'л']яют, размы[ш'л']éние, размы[ш'л']яла, уду́[ш'л']ивого, в Будапé[ш'т']е, до[ш'т']; бли́[ж'н']ий, прé[ж'н']им, по-прé[ж'н']ему, худо́[ж'н']ик, сло[ж'н']éе, vé[ж'л']иво, во[ж'д']я побе[ж'д']ённ³ый, прé[ж'д']е, происхо[ж'д']éние, расхо[ж'д']éние, [ж'д']ёт, му[ж'j]я, ру[ж'j]ём, бо́[ж'и]и, медвё[ж'ц]я, побере́[ж'ц]е и др. Звук [ш'] в литературном языке до сих пор сохраняет мягкость перед [ч'] и заменяющим его [ш'].*

Гораздо реже (что связано с немногочисленностью таких сочетаний в самом языке) встречаются примеры произношения мягкого шипящего после мягкого согласного и [ц]: *бо́[л'ш']е, бо[л'ш']ié, да́[л'ш']е, ме[н'ш']е, ра́[н'ш']е, лу[ч'ш']е, лу́[ч'ш']ие, улú[ч'ш']илось, старé[цш']его.*

На месте сочетания [ж'д'] в результате прогрессивной ассимиляции возникло произношение [ж'ж'], запрещенное нормами литературного языка: *прé[ж'ж']е, прину[ж'ж']éние, происхо[ж'ж']éние, ро[ж'ж']éние, ро[ж'ж']ённ³ый, Ро[ж'ж']ество́, повре[ж'ж']ённ³ый* и др. Допустимым литературным орфоэпическим вариантом является [ж'ж'] в формах слова *дождь* и однокоренных с ним³

Мягкость [ж'] дольше всего сохранялась в сочетании с другим [ж'], то есть в сочетании [ж'ж']. Но и в этом сочетании она давно стала утрачиваться, захватив сначала позицию на стыке слов и на стыке приставки и корня и позднее проникнув внутрь корня. Произношение [ж'ж'] в современном русском литературном языке – остатки былой мягкости звонкого шипящего, которая вытесняется произношением [жж] уже и в корнях.

Таким образом, фонема /ж/ в современном русском литературном языке обычно представлена твердым звуком, ее доминанта [ж]. После шипящего внутри корня /ж/ может реализоваться в старшей норме звуком [ж'], перед которым другой шипящий позиционно мягкий, в младшей норме звуком [ж], а на стыке приставки и корня только [ж].

2.3.3. Разная реализация одной и той же фонемы в этих положениях объясняется тем, что в русском языке фонетические процессы по-разному протекают на стыке приставки и корня, предлога и следующего слова и внутри корня. Некоторые процессы начинаются

³ Л.Р.Зиндер считал допустимым вариант [ж':] и в формах слова *вождь* [Зиндер 1989: 5], с чем невозможно согласиться.

внутри морфем, позднее они происходят на стыке приставки и корня, предлога и следующего слова. Такова прогрессивная ассимиляция [ш'ч'] > [ш'ш'] Некоторые же процессы на стыке приставки и корня начинаются и заканчиваются раньше, чем внутри корня. Таково изменение [ж'ж'] > [жж].

Подобным образом идет в современном русском языке и процесс отвердения первого согласного в сочетании мягких согласных. В частности, сочетания мягких шумных зубных и сочетания мягких шумных зубных со следующим [н'] в корне не в начале слова сохраняются без колебаний: *ко[с'т']*, *ве[з'д']э*, *муэ[д'з']и́н*, *в ка[с'с']е*, *Бе[т'т']и*, *Э[д'д']и*, *у[с'н']и*, *жи[з'н']*, *еже[д'н']эвно* и т.п., а в конце приставки допустимо произношение твердого согласного перед мягким, начинающим корень: новое произношение *ра[ст']есать*, *ра[зд']елить*, *по[дз']емный*, *бе[сс']ердечный*, *бе[зз']емельный*, *о[тт']януть*, *по[дд']еть*, *[сн']изу*, *и[зн']еженный*, *о[тн']естí*, *по[дн']ебесный* и т.п. наряду с постепенно устаревающим произношением *ра[с'т']есать*, *ра[з'д']елить*, *по[д'з']емный*, *бе[с'с']ердечный*, *бе[з'з']емельный*, *о[т'т']януть*, *по[д'д']еть*, *[с'н']изу*, *и[з'н']еженный*, *о[т'н']естí*, *по[д'н']ебесный* и т.п.

Звук [ч'] – доминанта фонемы /ч'/ – сопротивляется ассимилирующему воздействию предшествующего [ш'] в начале слова и в начале корня дольше, чем в других частях слова. Твердый звук [ж] – доминанта фонемы /ж/ – преодолевает воздействие предшествующего мягкого [ж'] в начале корня раньше, чем в его середине. Твердый согласный, воплощающий твердую фонему, начинает заменять прежний мягкий согласный, преодолевая ассимилирующее воздействие следующего мягкого согласного, раньше в конце приставки – начальной части слова, чем в других частях слова.

Объясняется это тем, что фонемный состав начала слова или корня лучше, чем в середине слова, осознается говорящими, которые стремятся реализовать фонемы, стоящие в начале слова или корня их доминантами. Начало слова – наиболее важная часть для его восприятия⁴.

3. Приведенное решение фонологической сущности [ш'ш'] и [ж'ж'] помогает понять, почему в современном русском литературном языке мягкость [ш'ш'] сохраняется, а у [ж'ж'] утрачивается: у [ш'ш'] второй звук [ш'] – представитель мягкой фонемы /ч'/, его мягкость фонологически существенна, а у [ж'ж'] второй звук – представитель /ж/, внепарной по твердости/мягкости, мягкость [ж'] фонологически несущественный признак.

⁴ Характерно, в частности, что при графических сокращениях может элиминироваться любая часть слова кроме первой буквы. В.З. Санников установил принципы русских графических сокращений и первым из них он называет следующий: «не может быть опущена начальная часть словоформы. Словоформа “фабрика” не может быть сокращена вследствие этого как “брика”, “рика”». Этот принцип «выдерживается и в других языках. Он, очевидно, связан с тем, что в письменной речи наибольшую информационную нагрузку несут первые буквы слова» [Санников 1964: 70-71].

Литература

- Аванесов 1974 – Аванесов Р.И. Русская литературная и диалектная фонетика. М., 1974.
- Аванесов 1984 – Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. 6-е изд. М., 1984.
- Аванесов, Сидоров 1945 – Аванесов Р.И., Сидоров В.Н. Очерк грамматики русского литературного языка. Ч. I. Фонетика и морфология. М., 1945.
- Баринова 1966 – Баринова Г.А. О произношении [ж'] и [ш'] // Развитие фонетики современного русского языка. М., 1966. С 25-54.
- Бархударова 1999 – Бархударова Е.Л. Русский консонантизм: Типологический и структурный анализ. М., 1999.
- Бондарко 1998 – Бондарко Л.В. Фонетика современного русского языка. СПб., 1998.
- Булыгина 1971 – Булыгина Т.В. О русских долгих шипящих // Фонетика. Фонология. Грамматика. К семидесятилетию А.А. Реформатского. М., 1971. С. 84-91
- Виноградов 1976 – Виноградов В.А. Фонологический аспект описания языков // Принципы описания языков мира. М., 1976. С. 282-312.
- Гвоздев 1958 – Гвоздев А.Н. Современный русский литературный язык. Ч. I. Фонетика и морфология. М., 1958.
- ДАРЯ – Диалектологический атлас русского языка. В 3-х вып. / Под ред. Р.И.Аванесова, С.В.Бромлей. Вып. I. Фонетика. М., 1986.
- Зиндер 1963 – Зиндер Л.Р. Фонематическая сущность долгого палатализованного [š':] в русском языке // Филологические науки, 1963, №2. С. 137-142.
- Зиндер 1989 – Зиндер Л.Р. Долгий звонкий шипящий мягкий согласный в русском литературном языке // Экспериментально-фонетический анализ речи: проблемы и методы. Вып. 2. / Отв. ред. Л.В.Бондарко. Л., 1989. С. 3-5.
- Исаченко 1947 – Isačenko A.V. Fonetika spisovnej ruštiny. Bratislava, 1947.
- Исаченко 1971 – Исаченко А.В. Морфофонологическая интерпретация долгих шипящих [š':], [ž':] в русском языке // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. Т. 14. 1971.
- Касаткин 1996 – Касаткин Л.Л. Фонетика // Современный русский литературный язык / Под ред. П.А.Леканта. 3-е изд. М., 1996. С. 82-139
- Касаткин 1998 – Касаткин Л.Л. О морфематическом принципе русской орфографии // Лики языка: К 45-летию научной деятельности Е.А.Земской. М., 1998.
- Матусевич 1976 – Матусевич М.И. Современный русский язык. Фонетика. М., 1976.

ОС – Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы / С.Н.Борунова, В.Л.Воронцова, Н.А.Еськова; Под ред. Р.И.Аванесова. 5-е изд. М., 1989.

Панов 1967 – Панов М.В. Русская фонетика. М., 1967.

Панов 1979 – Панов М.В. Современный русский язык. Фонетика. М., 1979.

Реформатский 1967 – Реформатский А.А. <ж> // To Honor Roman Jakobson: Essays on the Occasion of his Seventieth Birthday. The Hague – Paris, 1967.

Реформатский 1970 – Реформатский А.А. Из истории отечественной фонологии: Очерк. Хрестоматия. М., 1970.

Русская диалектология 1989 – Русская диалектология / Под ред. Л.Л.Касаткина. М., 1989.

Санников 1964 – Санников В.З. О русских графических сокращениях // О современной русской орфографии / Отв. ред. В.В. Виноградов. М., 1964.

Трубецкой 2000 – Трубецкой Н.С. Основы фонологии. Пер. с нем. А.А. Холодовича. 2-е изд. М., 2000.

Флайер 1995 – Флайер М. Долгие дизные шипящие согласные в русском языке // Проблемы фонетики. II / Отв. ред. Л.Л. Касаткин. М., 1995. С. 43-74

Халле 1959 – Halle M. The Sound Pattern of Russian: A Linguistic and Acoustical Investigation. The Hague, 1959.

Шахматов 1941 – Шахматов А.А. Очерк современного русского литературного языка. 4-е изд. М., 1941.

Щерба 1983 – Щерба Л.В. Теория русского письма. Л., 1983.

Щерба, Матусевич 1960 – Щерба Л.В., Матусевич М.И. Фонетика // Грамматика русского языка. Т. I. Фонетика и морфология. М., 1960. С. 45-98.

**Современный русский интеллигент:
попытка речевого портрета¹**

1. Предварительные замечания

Понятие речевого портрета *группы* носителей языка не ново в лингвистике. Подобие социально-речевых портретов можно найти в диалектологии, в особенности когда речь идет об описании не данного диалекта в целом (в этом случае границы социума более или менее размыты), а, например, говора группы деревень или одной деревни. Однако в диалектологических описаниях бывают хорошо представлены собственно языковые характеристики носителей говора и, как точно заметила Т.М. Николаева, «незатронутой остается модель коммуникативной селекции» [Николаева 1991: 69]. Между тем, выбор языковых средств в зависимости от целей коммуникации – важнейший показатель групповых предпочтений и неприятий.

В середине и особенно во второй половине XX века методы диалектологического описания активно переносятся с сельских диалектов на городскую речь; в этой связи нельзя не вспомнить пионерские работы Б.А. Ларина [Ларин 1928а, 1928б], в известном смысле содержавшие программу изучения языка города. В США первые социолингвистические обследования, проводившиеся в городах, осуществлялись в тесном сотрудничестве с диалектологами (таковы, например, работы У. Лабова, Р. Мак-Дэвид, Дж. Гамперца, Л. Левина и К. Крокет, Р. Фэйсолда и др.). Опыт диалектологических исследований используется и в отечественной социолингвистике – при разработке анкет, методик устного опроса и т.п., хотя самими социолингвистами это не всегда признаётся в явном виде. Разумеется, при социолингвистическом изучении городского населения применяются и такие методы, которые не используются диалектологами в исследовании сельских диалектов, - например, метод включенного наблюдения (заимствованный из социологии), позволяющий изучать речь той или иной общности «изнутри». Диалектолог в большинстве случаев лишен этой возможности: как бы ни приспособлялся он, городской житель, к нормам поведения носителей диалекта, они воспринимают его как «чужака», как представителя иной культуры.

* Крысин Леонид Петрович - доктор филологических наук, профессор, заместитель директора Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, заведующий Отделом современного русского языка

¹ Статья написана в рамках проекта «Социальная дифференциация современного русского языка: проблемы изучения», получившего в 1997-1999 гг. финансовую поддержку Российского гуманитарного научного фонда (проект № 97-04-06153).

Саму по себе активизацию исследований городской речи едва ли, однако, можно считать шагом к созданию социально-речевых портретов: изучение языка города как определенной разновидности национального языка или даже речевых особенностей отдельного, конкретного города не дает представления о свойствах языка и речевого поведения достаточно четко очерченных групп городского населения, выделяемых, например, по общности профессии, уровню и характеру образования, по принадлежности к одному поколению, а также по совокупности подобных характеристик.

По всей видимости, непосредственным толчком к разработке понятия «социально-речевой портрет» явилась идея **фонетического портрета**, выдвинутая в середине 60-х годов XX века Михаилом Викторовичем Пановым и блестяще воплощенная им в ряде фонетических портретов политических деятелей, писателей, ученых XVIII – XX вв. [Панов 1990].

Хотя эти портреты индивидуальны: описывается манера произношения отдельного, данного человека, - их социальная и общекультурная ценность несомненна, поскольку каждый из портретов отражает особенности речи *определенной общественной среды* (представителем которой является «портретируемый»). Выбирая «модель» для создания фонетического портрета, М.В. Панов обосновывает свой выбор именно социальными и социокультурными соображениями: принадлежность к тому или иному поколению, социальному слою, следование в речи определенной культурной традиции (театральной, поэтической, бытовой и т.п.), наличие локальных речевых особенностей – ср. противопоставление Москвы и Петербурга – и др. [Панов 1990: 14, 59, 159, 253, 418].

Идея фонетического и, шире, речевого портрета подхвачена другими исследователями: см., например [Язык и личность 1989; Винокур 1989; Ерофеева 1990; Земская 1990; Николаева 1991; Черняк 1994; Китайгородская и Розанова 1995] и др. Т.М. Николаева ставит вопрос о построении таких речевых или, в ее терминологии, социолингвистических портретов, в которых был бы компонент, характеризующий тактику речевого поведения: выбор одних элементов (из пар или ряда вариантов) и употребление их в речи в зависимости от условий общения и неупотребление, осознанное или подсознательное отвержение других. Исследовательница задается вопросом: «Используя социолингвистический портрет как метод описания речевых характеристик, нужно ли представлять эксплицитно все уровни и все факты языковой системы?» И отвечает на этот вопрос отрицательно: ведь «многие языковые парадигмы, начиная от фонетической и кончая словообразовательной, оказываются вполне соответствующими общенормативным параметрам и поэтому интереса не представляют. Напротив, важно фиксировать **яркие диагностирующие пятна**» [Николаева 1991: 73; выделено мной. – Л.К.].

Предлагаемый ниже фрагмент речевого портрета интеллигенции как одного из социальных слоев, которые составляют современное русское общество, содержит главным образом такого рода «диагносцирующие пятна» – социально маркированные способы **выбора и употребления** языковых средств и особенности **речевого поведения**.

2. Неоднородность объекта

Что мы имеем в виду, когда употребляем словосочетания «современный русский интеллигент», «современная русская интеллигенция»? Едва ли найдутся хотя бы два человека, чьи интерпретации указанных словосочетаний совпадали бы полностью. Разногласия возможны (и, как показывают наши наблюдения, они реально существуют) и в понимании определения «современный» (конец XX века? его вторая половина? весь этот век?)², и в понимании того, кто может быть назван «русским»: скорее всего, русский – это русский по культуре, по системе воспитания, а не только по месту рождения и уж, конечно, не только по крови, хотя последнее осмысление слова «русский» делается в современной публицистике всё более актуальным, противопоставляясь термину «русскоязычный». Особенно же сложно, противоречиво и изменчиво как во времени, так и от одной социальной среды к другой понимание слов *интеллигент, интеллигенция*.

Даже если отвлечься от сугубо качественного осмысления этих понятий (ср.: «Интеллигент – это тот, чьи интересы и чья воля к духовной стороне жизни настойчивы и постоянны, не понуждаемы внешними обстоятельствами и [существуют] даже вопреки им. Интеллигент – это тот, чья мысль неподражательна». – А. Солженицын) и иметь в виду *социальные* характеристики интеллигента и интеллигенции, то остаются неясными многие вопросы, относящиеся к статусу этого общественного слоя.

Прежде всего, необходимо сделать существенную оговорку по поводу различий между понятиями «интеллигент» и «интеллигенция». Несмотря на общность основы, эти слова различны по смыслу. Интеллигенция – это слой людей, обладающих определенным уровнем образования и культуры и занятых умственным трудом. А интеллигент – это не просто, так сказать, один «квант» интеллигенции и даже не обязательно представитель этого социального слоя, а человек, обладающий большой внутренней культурой (высшее образование при этом может и отсутствовать); поэтому интеллигента можно встретить и в университетской аудитории, и в заводском цеху, и за штурвалом комбайна. В дальнейшем мы будем говорить в основном об **интеллигенции** как определенном социальном слое в структуре современного русского общества.

Но даже и с этим понятием, которое неоднократно становилось объектом анализа в

² В качестве **современной** в данной статье рассматривается интеллигенция конца XX века.

работах социологов (см., например, [Руткевич 1966; Семенов 1977; Сенявский 1973; Русская интеллигенция 1999]), не всё ясно. Например, несомненно, что характер образования – гуманитарное оно или техническое – накладывает отпечаток на человеческую личность, на систему его ценностей. В связи с этим возникает вопрос: гуманитарная и техническая интеллигенция – это один культурный и социальный слой или два разных? Интеллигенция старшего, среднего и молодого поколений – «одна и та же», или же речь может идти о каких-либо качественных различиях между этими поколениями, в том числе и такими, которые существенны с социолингвистической точки зрения (выбор разных языковых средств, различия в тактиках речевого поведения и т.п.)? Интеллигенция Москвы, Петербурга, Тулы, Костромы, Иркутска – это один социальный слой, или же надо говорить о локальных различиях, имеющих под собой не только чисто территориальные, но и некие качественные основания?

Ограничимся только этими вопросами, хотя очевидно, что ими не исчерпываются неясности по поводу «социального лица» интеллигенции.

Само собой разумеется, что прежде чем браться за создание речевого портрета представителя интеллигенции, нужно решить, каков же наш объект: чей портрет мы собираемся «рисовать»?

В связи со сказанным выше представляется разумным следовать принципу **множественности, неоднородности** описываемого объекта – интеллигенции и **неединственности** типичного представителя этого социального слоя. Вслед за работами [РЯиСО, РЯДМО, СЛИ-1976] мы различаем а) гуманитарную и техническую интеллигенцию; б) старшее, среднее и молодое ее поколения (соответственно, это люди, имеющие возраст: (1) от 60 лет и старше; (2) от 36 до 59 лет; (3) до 35 лет; в) территориально маркированные слои интеллигенции, располагающиеся по оси основного противопоставления: интеллигенция главных культурных центров (Москвы и Петербурга, с фиксацией языковых различий между москвичами и петербуржцами) vs. интеллигенция средних и малых городов России (с фиксацией речевых различий, обусловленных разным диалектным окружением; ср. введенное А.С. Гердом [1998] понятие *региолекта* – смешанного типа речи, характерного для образованных жителей малых и средних городов, находящихся в диалектном окружении).

Не исключено, однако, что некоторые характерные черты языка и речевого поведения свойственны интеллигенции как социальному слою в целом, в его противопоставлении иным социальным слоям. Естественно, что и такие черты – в качестве штрихов к речевому портрету типичного представителя современной русской интеллигенции – будут отмечены.

Ниже мы рассмотрим два класса лингвистических и социокультурных характеристик, специфичных для слоя интеллигенции (либо в целом, либо для той или иной из отмеченных выше групп, составляющих этот слой):

- 1) особенности в **наборе** языковых единиц (главным образом, фонетических и лексико-семантических);
- 2) особенности в **речевом поведении** представителей интеллигенции.

3. Особенности набора языковых единиц

Фиксация специфических фонетических и лексических единиц обычна для диалектологических исследований. Например, такие фонемы, как <ô> закрытое или мягкое <ц'>, слова *кочет*, *чапельник*, *баской* и т.п. характерны для некоторых диалектов и тем самым отличают их от других диалектов и от литературного языка. Фиксация подобных различий **внутри** литературного языка менее обычна: ведь само понятие литературного языка предполагает единую, целенаправленно формируемую норму, а стало быть – единый набор выразительных средств.

И всё же можно обнаружить некоторое своеобразие в фонетике и словоупотреблении, свойственное тем или иным группам носителей литературного языка и прежде всего – группам интеллигенции.

3.1. Фонетика

Консонантизм

1. Для некоторых групп *гуманитарной* интеллигенции характерно так называемое [ж·] полумягкое, произносимое в иноязычных словах типа *жюри*. Такое произношение весьма избирательно и лексически обусловлено; кроме того, оно зависит и от ситуации: например, ведущий телепередачи «КВН» А. Масляков перед микрофоном произносит слово *жюри* с полумягким начальным согласным, а в менее официальной ситуации – с твердым. Но сама по себе эта (хотя и редкая) произносительная черта встречается только в речи интеллигенции.

2. Другой чертой, характеризующей те же группы интеллигенции, является [l] среднее, или европейское, по артикуляции промежуточное между [л] и [л']. Произношение этого звука свойственно некоторым представителям гуманитарной интеллигенции старшего поколения – в словах иноязычного происхождения и в иностранных собственных именах: *блеф*, *ля* (название музыкальной ноты), *лямбда* (название греческой буквы, используемой в качестве математической переменной), *Флобер* и нек. др. Е.Д. Поливанов писал, что «интересен не перечень слов, произносимых (всеми или не всеми интеллигентами) со средним l, а само наличие этой фонемы ... как один из фонетических признаков данного социально-группового диалекта» [Поливанов 1968: 233].

Очевидно, что и [ж·], и [l] принадлежат к фонетическим архаизмам, раритетам: они характеризуют произносительную практику лишь небольшого числа представителей

старшего поколения интеллигенции³.

Но в качестве «портретных» черт они должны быть отмечены, так как отличают слой интеллигенции от всех других социальных слоев.

3. В сравнении с этим, звук [ɣ] фрикативный является для литературного произношения фонетической инновацией. В последние десятилетия наблюдается необычайная экспансия типа произношения с [ɣ] фрикативным – как территориальная (с европейского юга России в среднерусские и северные города), так и социальная (от носителей диалекта к носителям просторечия и носителям литературного языка). Споры орфоэпических ригористов и либералов ничего не меняют в динамике этого процесса, и [ɣ] звучит сейчас и из радиоприемника, и с телеэкрана, и с парламентской трибуны, и в различных типах чисто городских коммуникативных ситуаций. Он запрещен нормой, но живет реально – в речи носителей литературного языка.

По нашим наблюдениям, фрикативный заднеязычный звук распределен в интеллигентской среде, но не жестко, а по принципу «больше/меньше»: в речи интеллигенции южнорусских городов этот звук и его глухой коррелят [x] регулярны и, по-видимому, не варьируют с взрывными [z] и [k] (в зависимости от параметров речевой ситуации). Фрикативный присутствует также в речи технической интеллигенции, происходящей с юга России, но длительное время живущей в Москве или Петербурге. Здесь он может варьировать со взрывным: при самоконтроле, в «ответственных» коммуникативных ситуациях вместо [ɣ] может появляться [z]. Фрикативный [ɣ] проникает и в среду гуманитарной интеллигенции, и решающим фактором в его конкуренции с [z] взрывным является место рождения и место наиболее длительного жительства данного говорящего: как правило, «южное» происхождение дает себя знать, и в ситуациях с ослабленным или снятым социальным контролем (эмоциональная речь, импульсивные реплики и т.п.) в речи такого лица может появляться [ɣ] фрикативный.

Разумеется, [ɣ] может использоваться представителями интеллигенции и намеренно, при экспрессивном выделении какого-либо слова (*Ишь ты, [ɣ]усь какой выискался!*), однако это – часть более общего вопроса об употреблении иносистемных элементов для целей большей выразительности речи; см. об этом [Реформатский 1966].

³ М.Я. Гловинская пишет, что, по данным проведенного в 60-х гг. XX в. социолингвистического обследования, [l] полностью исчезло из речи интеллигенции [Гловинская 1971: 69]. На мой взгляд, этот вывод излишне категоричен: во-первых, он сделан на основании результатов анкетирования, то есть прямого обращения к носителям языка по поводу свойств их произношения, что неизбежно приводит к некоторым отклонениям от реальной картины современного произносительного узуса; во-вторых, другие исследователи отмечают этот звук в речи реальных говорящих (ср. заметку Р.Ф.Пауфوشима о произносительной манере А.А.Реформатского – [Пауфوشима 1989]); в-третьих, нормативные рекомендации, содержащиеся в современных словарях, предусматривают произношение [l] в словах типа *легато, леди, ленто, сленг* (см. «Орфоэпический словарь современного русского языка». Изд. 5-е. М., 1989).

4. В речи разных групп интеллигенции неодинаково качество звука, произносимого на месте буквы «щ» и звукосочетания «сч»: преобладающим является произношение долгого мягкого «ш»: [ш':]áсье, [ш':]éдрый, но в среде «южан» (по происхождению) обычным является произношение [ш:'ч']: [ш:'ч']áсье, [ш:'ч']éдрый и даже [шч'] - с твердым [ш], - что отражает влияние украинского языка. Так говорили К. Чуковский, Л.О. Утёсов и другие представители старшего поколения интеллигенции – «южане» или одесситы по месту рождения, однако в речи более молодых носителей литературного языка, в том числе и уроженцев юга России, более обычно нормативное [ш':], а [ш:'ч'] может появляться в определенных коммуникативных ситуациях, требующих экспрессивного выделения: ср. речь артиста Романа Карцева, который в выступлениях с эстрады педалирует [ш'ч'], а в обыденных ситуациях произносит [ш':].

Вокализм

1. Наличие особого звука [ы³] в первом предударном слоге после твердых шипящих: жс[ы³]рá, ш[ы³]гú – типичная черта старомосковской произносительной нормы. Говорит ли так кто-нибудь из представителей интеллигенции сейчас, в наши дни? Исследования показывают: несмотря на почти полное возобладание новой нормы, «подравнивающей» произношение гласных непереднего ряда в указанной позиции под произношение их после всех остальных твердых согласных ([жл]рá, [шл]гú - так же, как [сл]рáй, [гл]рá и т.п.), - некоторые группы интеллигенции сохраняют в своем произношении старомосковскую норму. Это – потомственные москвичи старшего поколения. Звук [ы³] в словах типа *жара, шаги* – характерная черта их речи (подробную социолингвистическую картину распределения этой черты в разных группах говорящих см. в [РЯиСО, кн. 3, гл.3]). Надо, однако, иметь в виду лексическую обусловленность рассматриваемого фонетического явления: в словоформах *жара, ужаснется, возжакá, шаги, шалаш, шаблон, шатен* звук [ы³] встречается крайне редко (он характерен для речи лишь небольшой части потомственных москвичей), а в словоформах *жакет, ржаной, жалеть, лошадей* – достаточно частотен (см. [РЯДМО: 106]).

2. В 1971 году Л.Л. Касаткин на диалектном материале отметил редукцию неударного [y] в словах типа *дедушка, бабушка, бутерброд*, то есть произношение *дэ[дъ]шка, бá[бъ]шка, [бъ]тербрóд*. Это явление характерно также для просторечия; встречается оно и у носителей литературного языка [Касаткин 1971]. Однако в интеллигентской речи оно характерно главным образом для представителей *технической* интеллигенции молодого и среднего поколений (главным образом, в так называемой *аллегровой* речи). У «гуманитариев» редукция неударного [y] случается реже. О том, имеются ли локальные особенности реализации этого звука в указанной позиции, - то есть различаются ли этим,

например, с одной стороны, представители московской интеллигенции, а с другой, представители интеллигенции красноярской или калужской, - надежных данных нет.

3. Характерной чертой произношения некоторой части современной интеллигенции является сохранение [o] в неударной позиции в заимствованных словах: [во]кáл, [со]нét, [бо]лeрó и т.п. Как распределена эта особенность по различным группам интеллигенции? Здесь оказываются важными не только те три параметра, которые мы выделили выше (гуманитарная или техническая интеллигенция, возраст ее представителей, место их рождения или длительного жительства), но и более конкретные, в частности профессиональные, характеристики говорящего. Например, в речи радио- и теледикторов старшего поколения сохранение [o] неударного в иноязычных словах – явление вполне обычное. Правда, значим и ситуативный фактор: в речи перед микрофоном сохранение [o] более вероятно, чем в иных, не столь официальных, коммуникативных условиях. Однако в других группах интеллигенции – например, в среде «технарей» – [o] сохраняется реже, и замена его вариантами [ʌ] или [ʔ] не зависит от характера коммуникативной ситуации.

3.2. Лексика, словоупотребление

Как известно, лексические факты менее частотны в речевой цепи, чем фонетические. Встречаемость слова в речи намного ниже, чем встречаемость звука. Поэтому наблюдения над лексическими особенностями речи той или иной социальной группы почти всегда содержат элементы случайности. Не являются исключением и те факты, которые будут приведены здесь: они также оставляют впечатление случайности, неупорядоченности. Но их вполне можно рассматривать в качестве *штрихов* к речевому портрету представителя интеллигенции. Вот эти штрихи.

Слова *волнительный, волнительно*, несомненно, интеллигентские. И даже не вообще интеллигентские, а свойственные словоупотреблению части этого социального слоя – актерам, театральным критикам, искусствоведам, филологам, отчасти врачам (– Избегайте *волнительных* ситуаций, - советовал мне как-то участковый терапевт) и, возможно, некоторым другим группам преимущественно гуманитарной интеллигенции. Ср. у К. Федина в диалоге актера Цветухина и писателя Пастухова:

– У меня такое чувство, что мы идем садом, охваченным бурей, всё гнется, ветер свистит, и так шумно на душе, так *волнительно*, что...

– Ах, черт! Вот оно! – ожесточился Пастухов. – Выскочило! *Волнительно!* Я ненавижу это слово! Актерское слово! Выдуманное, несуществующее. Противное языку... какая-то праздная рожа, а не человеческое слово...

Более свежий пример – употребление и восприятие носителями современного русского языка словечка *отнюдь*. Слово это книжное (помета «разг.», которую

сопровождено это слово в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, скорее указывает на сферу его употребления – устно-разговорную разновидность речи, – чем на стилистическую окраску). Использование этого слова в указанной разновидности речи придает высказыванию оттенок книжности, и это чаще происходит именно с интеллигентской речью. При этом книжность с наибольшей яркостью проявляется в изолированном (абсолютивном или отделенном паузой от остальной части высказывания) употреблении этого слова в качестве ответа-возражения на слова собеседника: - Вы согласны с этим? – *Отнюдь*; - Он собирался выступить? – *Отнюдь*: он и на собрание-то не пошел.

Подобная форма ответов достаточно распространена в интеллигентской речи. Она характерна, например, для Е. Гайдара, и Михаил Жванецкий в одном из своих выступлений тонко уловил в этом словоупотреблении Гайдара такую примету интеллигентской манеры выражаться, которая может раздражать гайдаровских оппонентов левого толка и даже вызывать у них неприязнь.

Можно указать и другие примеры слов, употребление которых свойственно исключительно или преимущественно интеллигентской речи. Особенно характерен выбор разного рода оценочных и модальных слов и словосочетаний типа *жаль* (но не *жалко*: *Жаль, что вы не поехали с нами*), *несомненно* и оборот *вне всяких сомнений, весьма* (ср. синоним этого наречия *очень*, социально не маркированный), *неприменно* и нек. др.

Не менее показательны факты **неупотребления**, сознательного или неосознанного отвержения каких-либо лексических средств, причем это касается не только слов, принадлежащих некодифицированным подсистемам языка, - просторечных, жаргонных или диалектных (во многих ситуациях они как раз могут включаться в речь с различными коммуникативными и стилистическими целями – см. об этом ниже), а слов вполне литературных. Это относится, например, к лексическим инновациям, которые могут достаточно широко употребляться в языке средств массовой информации или в устно-разговорной речи других социальных слоев и групп. Настороженность интеллигента по отношению к языковым новшествам объясняется определенным консерватизмом культурной речевой традиции. Ср. замечание Т.М. Николаевой о том, что «ментальная открытость» интеллигенции «обычно сочетается с речевой консервативностью и отрицательным отношением к языковым новшествам» [Николаева 1991: 72].

Такое отрицательное отношение наблюдается в среде интеллигенции, например, к идущим из чиновничьего речевого обихода, но широко распространившимся словам типа *подвижка* (*Произошла **подвижка** по Черному морю и Севастополю*), *конкретика* (*Наполним наши планы **конкретикой** повседневных дел*), *обговорить* (*Этот вопрос надо еще раз **обговорить** на президиуме*) и т.п. Как свидетельствуют данные наблюдений,

интеллигентской речи подобное употребление «противопоказано»: оно отпугивает своей казенностью.

Во многих случаях, однако, имеет место не безусловное неприятие каких-либо лексических и фразеологических элементов, а, скорее, их распределение внутри слоя интеллигенции. Так, техническая интеллигенция оказывается более восприимчивой к новшествам, чем гуманитарная; выражения типа: *Надо с этим определиться; Они переехали на новую квартиру и сейчас обустраиваются; Придется задействовать все резервы* и под. довольно обычны в среде технической интеллигенции, особенно в речи молодого и среднего поколений (для большинства же «гуманитариев» это – неприемлемый «канцелярит»).

Есть слова и обороты, не отягощенные административно-чиновничьим происхождением и соответствующей окраской, однако в некотором смысле всё же «отмеченные» и потому употребляющиеся лишь в некоторых группах интеллигенции. Так, словоформа *пригласите*, используемая в общепринятых клише телефонного разговора: - *Пригласите, пожалуйста, Таню*, - осознаётся как провинциализм, и представитель интеллигенции – житель Москвы или Петербурга – едва ли употребит эту словоформу в данном контексте.

Исследователи отмечают, что устная речь современного русского интеллигента в достаточно сильной степени жаргонизирована (см., например: [Земская 1987: 29-30; Крысин 1989, гл. IV; Ермакова, Земская, Розина 1999 и др.]. Особенно характерно это для речи мужчин. Слова и обороты жаргонного происхождения – типа *беспредел, глухо (С этим делом у них глухо), в напряге (Мы все были в таком напряге!), врубиться (Никак не врублюсь: о чем речь-то?), вешать лапшу на уши, катить бочку* (на кого-либо), то есть безосновательно обвинять кого-либо в чем-либо, и многие другие звучат и из уст интеллигента. Но вопрос: какого и в каких ситуациях?

По нашим наблюдениям, такое словоупотребление больше свойственно речи представителей технической интеллигенции молодого и среднего возраста в ситуациях фамильярного или эмоционального речевого общения: в разговорах с друзьями, с сослуживцами в неофициальной обстановке, в речевых актах инвективы, предъявления претензий, обиды и т.п. В речи гуманитариев старшего поколения такая лексика почти не встречается (впрочем, Е.А. Земская отметила *тусовку* в телевизионном выступлении А.И. Солженицына [Земская 1997], однако нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что оно было произнесено в отрицательном контексте: Солженицын сказал, что он не участвует во всяких писательских и иных *тусовках*). Гуманитарии молодого и среднего поколений если и прибегают к подобного рода выразительным средствам, то в более узком круге ситуаций и с бóльшим осознанием «иносистемности» таких элементов. Это выражается в интонационном выделении их, в «цитатном» характере их употребления, чему служат оговорки типа «как сейчас говорят», «говоря современным языком», «как принято выражаться у новых русских» и т.п.

4. Особенности речевого поведения

4.1. Формулы общения

Одна из характерных особенностей речевого поведения интеллигентных носителей языка (не только русского) – умение **переключаться** в процессе коммуникации с одних разновидностей языка на другие в зависимости от условий общения. Эта диглосность (точнее, полиглосность, поскольку переключаться приходится не на одну, а на множество разновидностей) отличает интеллигенцию, например, от носителей просторечия, которые моноглосны и не умеют варьировать свою речь в зависимости от ситуации.

Полиглосность обеспечивается механизмом **кодовых переключений**, который вырабатывается у человека в процессе его социализации в культурной речевой среде. Усвоение системы социальных ролей, свойственных данному обществу, идет в тесном взаимодействии с усвоением норм речевого поведения, обеспечивающих оптимальное исполнение той или иной роли. А варьирование этих норм в значительной мере возможно лишь потому, что язык предоставляет говорящему различные способы выражения одних и тех же коммуникативных интенций, одних и тех же смыслов. Различные способы языкового выражения оказываются как бы привязанными к различным условиям общения, к разным коммуникативным ситуациям, к исполнению тех или иных социальных ролей (см. об этом [Крысин 1976]).

В ряде случаев распределение языковых средств по сферам и ситуациям общения бывает достаточно жестким и социально маркированным. Например, принятые в культурной среде нормы общения по телефону обязывают того, кому звонят, первым произносить междометие *алло* в микрофон снятой трубки⁴, и запрещают тому, кто звонит, начинать общение по телефону с вопроса: - *Кто это?* (черта, свойственная носителям просторечия).

Другие контактоустанавливающие реплики телефонного разговора также весьма жестко регламентированы. Рекомендуется, например, сначала представиться самому, а затем поинтересоваться собеседником (предпочтительно в форме: - *Простите, с кем я говорю?*); просьба о том, чтобы к телефону подошел именно тот, кому вы звоните, выражается относительно небольшим набором вариантов (- *Можно попросить Иванова <Николая Ивановича, Колю, ...>? – Не могли бы вы попросить (не: пригласить! – см. выше)...; – Можно попросить...; – Попросите, пожалуйста, ...и нек. др., но не: – Иванова, пожалуйста! – Мне нужен Иванов! – Иванова!* и тому подобные формулы, в интеллигентской среде оцениваемые как грубые и потому недопустимые в разговорах по телефону (подробнее см. об этом: [PPP-тексты 1978: 298-299; Формановская 1982; Крысин 1994: 72]).

⁴ Э.Щеглов называет это правило «правилом распределения начальных реплик» телефонного разговора и формулирует его так: «отвечающий (на звонок) говорит первым» [Schegloff 1972].

Контактное речевое общение малознакомых и незнакомых представителей интеллигентской среды также регулируется определенными, хотя и «неписаными» правилами, действие которых особенно явно обнаруживается на начальных стадиях речевого акта.

В культурной среде всякого общества вырабатываются определенные формулы, которые обслуживают общение людей в часто повторяющихся, стереотипных ситуациях: в магазине, в автобусе, у железнодорожной кассы, на приеме у врача, при общении со случайным прохожим и т.п. Как показывают исследования современной русской разговорной речи, наборы этих формул сравнительно немногочисленны и устойчивы. «Стереотипы представляют собой готовые формулы не только с точки зрения их морфологической структуры, но и с точки зрения их лексической наполненности» [РРР-тексты 1978: 269-270].

Например, обращение к продавцу, к прохожему и вообще к лицу, имени которого мы не знаем, начинается со слов: - *Скажите, пожалуйста, ...*; - *Простите, ...*; - *Не могли бы вы сказать...* и нек. др. В этих формулах, естественно, присутствует некая «безликость», невыраженность свойств адресата, да и сам он крайне редко фигурирует под именами *гражданин, товарищ, господин*. Чаще других употребляется апеллятив *девушка*, но он ограничен полом и возрастом адресата, а также социальными характеристиками адресанта (например, ребенок не может обратиться к женщине-продавцу, используя этот апеллятив). Обращения *мужчина, женщина, дама* – элементы просторечного, не принятого в интеллигентской среде общения. Апеллятивы типа *Водитель! Кондуктор! Доктор!* жестко закреплены за ситуациями, в которых адресат исполняет свою служебную или профессиональную роль, другие же именованья адресата по его служебной или профессиональной роли невозможны, во всяком случае, среди интеллигенции: нельзя начать свое обращение с апеллятивов: **Продавец! *Врач! *Кассир! *Учитель!* и т.п.

Многие из апеллятивов либо не принимаются интеллигентской средой (как в только что рассмотренном случае), либо внутри нее ограничены определенными группами говорящих. Например, обращение *коллега* принято – да и то в более или менее официальной обстановке – в среде медиков, ученых; *ваше преосвященство, ваше святейшество, владыка* – при обращении к иерарху церкви; апеллятив *профессор*, хотя и возможен при обращении студента к преподавателю, достаточно редок, поскольку предполагается, что студент должен знать имя и отчество своего преподавателя (однако иностранные студенты часто используют именно этот, удобный для них апеллятив, избавляющий от необходимости запоминать не привычные для иностранца русские сочетания имен и отчеств).

Многочисленные просторечные и жаргонные формы личного обращения, использующие в качестве апеллятивов термины родства, наименования некоторых

социальных ролей или слова, именующие человека по его принадлежности к лицам мужского или женского пола: *папаша, мамаша, дед, дедуля, бабуля, отец, мать, дочка, сынок, брат, браток, братан, сестренка, друг, кореш, земляк, шеф, начальник, хозяин, хозяйка, командир, мужик, парни, девки* и др., - как правило, не используются говорящими из культурной языковой среды, хотя к употреблению их в речи собеседника представители интеллигенции относятся более или менее терпимо (за исключением форм, несущих на себе печать низкой культуры или чуждой социальной среды, - типа *мужчина, женщина; братан, кореш; мужик, шеф, командир*)⁵.

4.2. Прецедентные феномены

Современный человек в процессе речевого общения часто использует разного рода «готовые», не создаваемые в данном акте коммуникации выразительные средства, начиная от фразеологизмов и кончая разного рода художественными текстами, при условии, что эти тексты известны и адресату. В работах Ю.Н. Караулова и его последователей (см., например [Караулов 1987; Прохоров 1996; Гудков 1996, 1999]) достаточно ясно показано, что в цивилизованном обществе велика роль разного рода *прецедентных* текстов, высказываний и имен, которые составляют определенный культурный фон данного социума. Совокупности таких прецедентных феноменов национально специфичны, хотя отдельные их составляющие могут быть интернациональны (например, цитаты из Библии, из произведений Шекспира, высказывания типа «*И ты, Брут...*», такие имена, как *Магомед, Иуда, Гамлет*). В работе [Гудков 1999] убедительно показано, что прецедентные феномены имеют не только национальную (этническую), но и социальную обусловленность: в разной социальной среде могут существовать свои прецедентные феномены, отличные от тех, что характерны для иных социальных слоев и групп.

Развивая эту идею, надо сказать, что разные социальные группы и соответствующие им культуры могут различаться типом прецедентных феноменов. Так, есть основания полагать, что, поскольку в элитарной части общества значительный слой культуры составляют разного рода **тексты** (мифологические, художественные, публицистические и т.п.), то в речевой коммуникации представителей интеллигенции велика роль прецедентных *текстов, высказываний* и *имен* литературных персонажей. В среде же «простой», с иными, чем у интеллигенции, культурными традициями преобладают прецедентные *ситуации*: в ходе речевой коммуникации представители такой среды – семейного клана, производственной бригады и т.п. – чаще используют имена или более развернутые наименования ситуаций, которые имели место в прошлой жизни такой социальной группы.

⁵ Ср.: «...мы не знаем, как обращаться к людям незнакомым! «Улица корчилась безъязыкая» и, помучившись, выход нашла. «Женщина! У вас чулок порвался! Мужчина! Сдачу забыли!» Всё чаще слышишь эти окрики, и, по-моему, они ужасны, но чем заменить их, чем?» (Н. Ильина. Уроки географии).

Имена литературных героев или исторических лиц фигурируют в интеллигентской речи в качестве символов определенных человеческих свойств – скупости (*Плюшкин, Гобсек*), ума и разносторонних знаний (*Ломоносов*), смелости и самопожертвования (*Иван Сусанин*), самодурства (*Салтычиха*), беспочвенной мечтательности (*Манилов*) и т.п. При этом, поскольку такие имена служат своего рода эталонами указанных свойств, они часто употребляются в сочетании с квалификаторами типа *настоящий, вылитый, классический*, с модальными наречиями и частицами *просто, прямо, прямо-таки* и нек. др.: *Он настоящий Плюшкин: у него зимой снега не допросишься; Ты всё мечтаешь, а ничего не делаешь, - просто Манилов какой-то; Свекровь у нее – прямо Салтычиха* и т.п.

Цитаты из литературных произведений также весьма характерны для речевого общения интеллигентных носителей языка. Формы и способы цитации зависят от степени социальной и психологической близости собеседников, от характера коммуникативной ситуации и ряда других факторов. Основным условием для реализации возможности процитировать какое-либо произведение (или намекнуть на то или иное место в его тексте) является общность некоего культурного фона и, более конкретно, знание и говорящим, и слушающим данного произведения и оценка его как такого, которое часто служит источником расхожих цитат. Это позволяет говорящему вводить в свою речь элементы, которые, как он уверен, должны быть узнаны и правильно интерпретированы адресатом. Ср. цитаты типа: *быть или не быть* (и многообразные обыгрывания этой формулы: *бить или не бить, пить или не пить, шить или не шить* и т.п.); *Служить бы рад – прислуживаться тошно; А воз и ныне там; Позвольте вам выйти вон; Сижу, никого не трогаю, починяю примус; великий комбинатор* и т.п.

4.3. Языковая игра

Для интеллигентской среды, в особенности для гуманитариев», характерны такие явления, как рефлексия над словом, намеренное его искажение, обыгрывание его звукового состава, внутренней формы, связей с другими словами, словесные каламбуры и т.п. - иначе говоря, **языковая игра** во всех ее обличьях. Разумеется, разным людям это присуще в различной степени. Не исключено и полное отсутствие у того или иного человека чувства юмора, языкового вкуса, неумение вслушиваться в звучание слова и вдумываться в его настоящий или мнимый смысл. Но более или менее очевидно, что в массе своей именно *образованные и культурные* носители языка в наибольшей степени склонны к языковой игре. Недаром В.З. Санников, автор замечательного исследования «Русский язык в зеркале языковой игры», рассматривает языковую игру применительно только к литературному языку и подчеркивает, что она «основана на знании системы единиц языка, нормы их использования и способов творческой интерпретации этих единиц» [Санников 1999: 13, 15],

что «это всегда неправильность (или необычность), осознаваемая и намеренно допускаемая говорящим» [Санников 1995: 67]. Почти весь богатейший иллюстративный материал, приведенный в книге В.З. Санникова: литературные цитаты, анекдоты, расхожие каламбуры и присловья, остроты и т.п., - рассчитан на творческое восприятие языка, на умение всматриваться и вслушиваться в слово, вдумываться в его смысл. А это как раз и характерно для речевого поведения типичного интеллигента.

Исследователи русской разговорной речи квалифицируют языковую игру, разнообразные способы обыгрывания *формы* высказывания как одну из характерных черт непринужденного общения в интеллигентской среде и приводят многочисленные и разнообразные примеры такой игры, основанные на искажении фонетического облика слова, его морфолого-словообразовательной структуры, на сознательном нарушении правил сочетаемости слов друг с другом, на совмещении в одном высказывании стилистически несовместимых слов и т.п. [Земская, Китайгородская, Розанова 1983: 172 – 214]: *тюлипанчики, книжечки, ужасно, конкретно, румочки, мармалад; лясочек, мядаль, лямон; лизарюция, лисипед, брульянт; доку́мент, прóцент; пуцай, сидю, хочете; У нее двое детей, а у меня один деть; - Вот наши **апартаменты** (вводя собеседника в более чем скромное жилище); - *Завтра у них какое-то **муроприятие***; - *Старухи на завалинке **симпозиум** устроили* и т.п.*

Одним из наиболее распространенных видов языковой игры являются шутки, основанные на искажении или распространении известных фразеологизмов и литературных цитат: *работать не прикладая рук* (вместо: *не покладая*), *знать каленой метлой* (из: *каленным железом и новая метла*); *В этом деле он съел не одну собаку*; *Что-то я не в шутку занемог*; *Ну, что – бум меняться дежурствами?* (*бум меняться* – из эстрадной миниатюры в исполнении Аркадия Райкина); *А у нас с собой было* (с этими словами говорящий достает из портфеля чистую бумагу, сама же эта фраза – из рассказа М. Жванецкого и подразумевает наличие у собеседников спиртного); - *У них то и дело воду отключают. – Зато сухо* (вторая реплика – из известной телевизионной рекламы детских памперсов) и т.п.

Мы не ставим себе целью исчерпывающим образом описать виды языковой игры, распространенные в среде интеллигенции. Задача в другом: показать, что игра со словом и в слово – характерная черта речевого поведения представителей интеллигенции, отличающая их от носителей языка из иных социальных слоев и тем самым важная в качестве одного из штрихов в социально-речевом портрете интеллигента.

Литература

Винокур 1989 – Т.Г. Винокур. Речевой портрет современного человека // Человек в системе наук. М., 1989. С. 361-370.

Гловинская 1971 – М.Я. Гловинская. Об одной фонетической подсистеме в современном русском литературном языке // Развитие фонетики современного русского языка. Фонологические подсистемы. М., 1971. С 54-96.

Гудков 1996 – Д.Б. Гудков. Прецедентное имя и парадигма социального поведения // Лингвостилистические и лингводидактические проблемы коммуникации. М., 1996.

Гудков 1999 – Д.Б. Гудков. Прецедентное имя и проблемы прецедентности. М., 1999.

Ермакова, Земская, Розина 1999 – О.П. Ермакова, Е.А. Земская, Р.И. Розина. Слова, с которыми мы все встречались. Толковый словарь русского общего жаргона. М., 1999.

Ерофеева 1990 – Т.И. Ерофеева. Речевой портрет говорящего // Языковой облик уральского города. Свердловск, 1990. С. 90-91

Земская 1987 – Е.А. Земская. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения. Изд. 2-е. М., 1987.

Земская 1990 – Е.А. Земская. Речевой портрет ребенка // Язык: система и подсистемы. М., 1990.

Земская 1997 – Е.А. Земская. У людей развязались языки // «Известия», 1997. 26 сент.

Земская, Китайгородская, Розанова 1983 – Е.А. Земская, М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова. Языковая игра // Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. Отв. ред. Е.А.Земская. М., 1983. С. 172-214.

Караулов 1987 – Ю.Н. Караулов. Русский язык и языковая личность. М., 1987.

Касаткин 1971 – Л.Л. Касаткин. Новая ступень в развитии системы гласных русского языка // Развитие фонетики современного русского языка. Фонологические подсистемы. М., 1971. С. 255-257

Китайгородская, Розанова 1995 – М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова. Русский речевой портрет. Фонохрестоматия. М., 1995.

Крысин 1976 – Л.П. Крысин. Речевое общение и социальные роли говорящих // Социально-лингвистические исследования. М., 1976. С. 42-52

Крысин 1989 – Л.П. Крысин. Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка. М., 1989.

Крысин 1994 – Л.П. Крысин. Владение языком: лингвистический и социокультурный аспекты // Язык – Культура – Этнос. Отв. ред. Г.П.Нещименко. М., 1994. С. 66-78

Ларин 1928а – Б.А. Ларин. О лингвистическом изучении города // Русская речь. Вып. 3. Л., 1928. С. 61-74.

- Ларин 1928б – Б.А. Ларин. К лингвистической характеристике города. Несколько предпосылок // Известия ЛГПИ им. А.И. Герцена. Вып. 1. Л., 1928. С. 175-185.
- Николаева 1991 – Т.М. Николаева. «Социолингвистический портрет» и методы его описания // Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики. Доклады Всесоюзной научной конференции. Часть 2. М., 1991. С. 73-75
- Панов 1990 – М.В. Панов. История русского литературного произношения XVIII-XX вв. М., 1990.
- Пауфошима 1989 – Р.Ф. Пауфошима. О произносительной манере А.А. Реформатского // Язык и личность. М., 1989. С. 152-154
- Поливанов 1968 – Е.Д. Поливанов. Фонетика интеллигентского языка // Е.Д. Поливанов. Статьи по общему языкознанию. М., 1968. С. 225-235
- Прохоров 1996 – Ю.Е. Прохоров. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль в обучении русскому языку иностранцев. М., 1996.
- Реформатский 1966 – А.А. Реформатский. «рус'» // Вопросы культуры речи. Вып.7. М., 1966. с 119-121
- РРР-Тексты 1978 – Русская разговорная речь. Тексты. М., 1978.
- Русская интеллигенция 1999 – Русская интеллигенция. История и судьба. М., 1999.
- РЯДМО – Русский язык по данным массового обследования. Под ред. Л.П.Крысина. М., 1974.
- РЯиСО – Русский язык и советское общество. Кн. 1-4. Под ред. М.В.Панова. М., 1968.
- Санников 1995 – В.З. Санников. Каламбур как семантический феномен // ВЯ, 1995, № 3. С. 56-69
- Санников 1999 – В.З. Санников. Русский язык в зеркале языковой игры. М., 1999.
- Семенов 1977 – В.С. Семенов. Диалектика развития социальной структуры советского общества. М., 1977.
- Сенявский 1973 – С.Л. Сенявский. Изменения в социальной структуре советского общества. 1938 – 1970. М., 1973.
- СЛИ-1976 – Социально-лингвистические исследования. Под ред. Л.П. Крысина и Д.Н. Шмелева. М., 1976.
- Формановская 1982 – Н.И. Формановская. Русский речевой этикет. М., 1982.
- Черняк 1994 – В.Д. Черняк. наброски к портрету маргинальной языковой личности // Русский текст. СПб., 1994, № 2.
- Язык и личность. Отв. ред. Д.Н. Шмелев. М., 1989.
- Schegloff 1972 – E. Schegloff. Sequencing in conversational openings // Advances in the Sociology of Language. Ed. by J.Fishman. Vol. 2. The Hague – Paris. 1972. P. 91-125.

Грамматика как наука о человеке

Всякая наука стремится осмыслить не только свой объект, но и свое место, свою роль в системе человеческих знаний.

Древние включали грамматику в понятие искусства – *ars, artis*, наряду с такими «умственными занятиями» как риторика, астрономия и др.

Вергилий же полагал, что «грамматика есть дражайшее паче иных свободных наук знание» (О изобретателях вещей, кн.1, гл.7) [цит. по Виноградов 1958: 48].

Подобная оценка звучит и в нашем азбуковнике конца XVI века: грамматика – «основание и подошва всем свободным хитростям» (т.е. наукам и искусствам) [там же: 12].

Основы российской грамматической науки заложены М.В. Ломоносовым «с явной ориентацией на глубокую смысловую содержательность речи как основу ее общественной ценности» [Виноградов 1958: 29].

Усилиями многих поколений накапливались грамматические наблюдения. В середине XX века, философские, логические увлечения, успехи естественных наук, стремление к «объективной точности знания» побуждали часть лингвистов к поискам «чистой формы», к построению схем и математических выкладок, пренебрегавших смыслом.

Но изучать в языке форму без содержания – все равно, что представить море без воды. Остроумно оценивала ситуацию Н.Д. Арутюнова: «знаковая теория предложения, связав его с миром, пустила по миру, - оторвала от хозяина – человека».

Сейчас хозяин-человек разными путями, в разных концепциях возвращается в науку о языке. Это важнейшая и нелегкая задача – вернуть человека в лингвистику на подобающее ему место.

Условия нашего зарегламентированного образования способствовали закреплению устоявшейся, так называемой традиционной грамматики, которую десятилетиями повторяли в учебниках и программах. Неудовлетворенность этими одинаковыми, на глазах стареющими грамматическими близнецами-братьями искала выхода.

Формировались смежные и дочерние области знания: семантика, прагматика, теория речевых актов, когнитология и другие, стремящиеся к самоутверждению, к суверенному, автономному существованию. Разрабатывались новые подходы к языку, возрождались полузабытые старые. Каждая область плодила полезные и бесполезные термины.

* Золотова Галина Александровна - доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.

Но другим материалом, кроме языкового, эти науки не располагают, существовать они могут только на почве языка. А язык материально един. Рассматривая его с одной, пусть и необходимой точки зрения, мы недооцениваем другие, разрушаем единство языкового феномена. Создается однобокое, обедненное представление о предмете.

Приходит пора собирать эти знания, интегрировать, расширив привычные границы грамматики. Критерием необходимости этого процесса и объединяющим началом становится фигура человека, говорящего лица.

Человек создал язык для общения с себе подобными. Говорящий, мыслящий, чувствующий человек – главное действующее лицо в мире и в языке. Его осмысление мира, его отношение к другим людям выражается в избираемых им языковых и речевых средствах.

Суждения об антропоцентрической направленности лингвистики становятся к концу XX века чуть ли не общим местом. Что же конкретно меняет эта ориентация в нашем понимании грамматических явлений?

Лингвистика все увереннее приближается к признанию **текста** основным своим объектом. Ведь язык существует ради коммуникации, и осуществляется коммуникация в текстах – разной формы, разного объема и назначения, письменных и устных, спонтанных и подготовленных.

Грамматическая наука – часть филологии, это не свод парадигм, правил и запретов, а ключ к строю языка, к строю текстов, к строю человеческой мысли.

Все категории и элементы языка как **части целого** предназначены служить тексту. Каждой языковой единице, помимо формы и значения, присуще имманентное свойство – функция, тот способ, которым она служит построению коммуниката. Характеристика каждой единицы определяется взаимообусловленностью ее **формы, значения и функции**.

Этот комплексный критерий, более объективно отвечающий сущности языковых явлений, позволяет переориентировать грамматику от классификационных задач к объяснительным. Вместо ответа на вопрос под какую классификационную рубрику *это* подводится?, и исследователю, и обучаемому предстоит искать ответы на более содержательные вопросы: *что выражено?* (о значении), *как, чем выражено?* (о форме), *зачем, для чего?* (о функции). На этой основе можно двигаться к следующему вопросу: *почему?* (о выборе, о смысловых, ситуативных, стилистических предпочтениях говорящего).

Не в разделении, не в противопоставлении «уровней» языка цель грамматического анализа, а в наблюдении, осознании результата совместных усилий семантики, морфологии, синтаксиса.

Немаловажно то, что это взаимодействие, тройственный критерий подводит более прочный фундамент и под наши классификации, в которых остается масса нерешенных, дискуссионных вопросов.

Обратимся к материалу одного из основополагающих разделов курса синтаксиса «Типы простого предложения». Мы требуем и от школьников, и от абитуриентов, и от студентов свободного владения терминами «односоставные – двусоставные», «личные – безличные» и т.д. при разборе предложений. Судьбу человека иногда решаем. А ведь сами – если честно и вдумчиво – на каждом пятом-десятом предложении можем споткнуться. Вот хрестоматийный пример: *Вы выходите на крыльцо. Вам холодно немножко... Вам дремлетя... Над вами, кругом вас – туман...* (по Тургеневу).

Вы выходите...- двусоставное предложение? Но *Вы* здесь обобщенно-личное, а обобщенно-личные предложения – по схеме разновидность односоставных. *Вам холодно, Вам дремлетя* – безличные, но сообщают о предикативном признаке лица, притом опять обобщенно-личного субъекта. Так личные они или безличные? Односоставные или двусоставные? Безличные или обобщенно-личные?

Над вами – туман – односоставное с обстоятельством места? *Туман* – подлежащее или сказуемое? А может быть, *Над вами* – подлежащее, называющее место, пространство, а *туман* – его предикативный признак? Но *Над вами* – опять обобщенное лицо... и т.д.

Затруднительность положения и вопрошающего, и отвечающего в подобных случаях подтверждает, что в привычной схеме отсутствует четкий критерий деления. Не устарела ли сама схема? Сослужив прогрессивную службу своему времени, она не может десятилетиями оставаться незыблемой. Традиция в грамматике – это интерес и уважение к знаниям, оставленным нам предшествующими поколениями. Но традиционность в смысле застылость, неподвижность, боязнь поиска не свойственна науке по сути ее.

Не помогает привычная схема выйти из противоречий и в вопросе о способах выражения подлежащего. Александр Блок мечтал в свое время «...*Все сущее увековечить, Безличное – вочеловечить*»... А лингвисты, наоборот, личное – расчеловечивают.

Оправданно ли употреблять термин «безличное» по отношению к предложениям *Вам дремлетя, Не спится, няня, Мне грустно потому, что весело тебе?* Ведь в них говорится о состоянии **лица**, о признаке, который вне лица, вне носителя его не может существовать; и лицо это, личный субъект, **названо** определенными падежными формами имени, а если не названо, ясно из контекста и по значению, и по форме, и по месту (законной препозиции) в предложении.

Современной грамматике известно и то, какие текстовые, коммуникативные условия допускают неназванность субъекта, неполную реализацию этой двусоставной модели (*Не спится, няня; Грустно, Нина*) и в каких условиях это невозможно (легко, например, таким способом превратить в абсурд строку из Лермонтова ...*грустно, потому что весело...*).

Проблема признания свойственного некоторым моделям русских предложений подлежащего в косвенных падежах обсуждалась еще полтора века назад, но учебники продолжают оберегать грамматику от реальных фактов и здравого смысла.

Остаются пограничные конфликты и между рубриками «односоставных». Один специалист скажет: *Цыплят по осени считают* – неопределенно-личное предложение, потому что предикат в 3-ем лице множественного числа. Другой скажет – обобщенно-личное, потому что пословица.

Но дело опять не просто в том, чтобы подвести под рубрику. В этом делении можно увидеть большее: позицию говорящего по отношению к тому, о чем идет речь. Представляя субъект как неопределенно-личный, говорящий имеет в виду «кто-то другие, но не я», исключенность себя из возможных субъектов действия, **экслюзивность**: *Кто-то стучит; Звонят; В трактир, говорят, привезли свежей семги* (Гоголь). Представляя субъект как обобщенно-личное, говорящий имеет в виду «я и другие»: *Вы выходите на крыльцо; Идешь и думаешь...; Весь ты перезябнешь, руки не согнешь* (И.Суриков). «Другие и я»: *Цыплят по осени считают*, – включенность себя в число возможных субъектов, **инклюзивность**.

Оппозиция инклюзивности/экслюзивности может быть сильным экспрессивным средством, когда служит способом выражения категории человеческого сознания «свой/чужой».

Ср. *Ну, удерешь с парохода, не ступишь и шагу – схватят, приведут к английскому коменданту и сейчас же повесят...* (А.Н.Толстой).

В стихотворении М. Волошина «Террор» (1921г.) из семи четверостиший шесть состоят из одних неопределенно-личных предложений, сурово перечисляющих действия **не**названных (в «Коммуникативной грамматике», с. 462 – опечатка) палачей.

Именно потому, что неназванность субъекта значима, а по природе действие не может быть бессубъектным, в «Коммуникативной грамматике» мы рассматриваем неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения как модификации, с дополнительным смыслом, лично-глагольных, двусоставных. И в «безличных», тоже двусоставных, субъект (подлежащее!) выражен дательным не для того, чтобы его исключили из класса за морфологическую непохожесть, но для того, чтобы передать дополнительное значение **инволютивности**, независимости состояния от воли его носителя.

Двойная бухгалтерия, игра в **qui pro quo** («семантический субъект» *У детей кашель* прикидывается «грамматическим объектом», чтобы мы все-таки его перехитрили и распознали его субъектную роль) уместна в маскарде или в авантюрном романе, но не в языке, где все системно выражает смысл, если не жертвовать смыслом синтаксической системы, поддаваясь давлению морфологических критериев. Благодаря системе, на ее фоне мы получаем удовольствие от действительной игры слов, поэтических образов, метафор, остроумных неожиданностей.

Изучение языка только с проникновением в его человечески значимые социальные, культурные, экспрессивные смыслы может сделать его привлекательным объектом и вместе с тем орудием развития интеллекта и вкуса.

Что бы ни говорили учебники, любой текст организует человек. Говорящее лицо явно или неявно, а для лингвиста – всегда явно, присутствует в нем, осмысляя мир со своей точки зрения. Есть разные формы и возможности обозначения этого присутствия.

Вот иду я вдоль большой дороги В тихом свете гаснущего дня... (Тютчев).

Эти строки реализуют дейктический критерий **я – здесь – сейчас**: говорящий, он же лирический герой, в хронотопе происходящего.

На берегу пустынных волн / Стоял Он, дум великих полн / И вдаль глядел. Пред ним широко / Река неслася, бедный челн / По ней стремился одиноко... (Пушкин).

Автор представляет нам своего героя в хронотопе происходившего, стоящим даже как бы спиной к нам, и дальше (маркер *пред ним*) мы видим то, что видит он, его глазами. Ср. *Пошел старик к синему морю, / Видит – на море черная буря* (Пушкин).

Но почему в повествовании о прошлых событиях появляется настоящее время? Это переключение на точку зрения персонажа, это настоящее время старика (Ср. [Успенский 1970]).

И временем, если вдуматься, говорящий распоряжается в тексте совсем не так, как написано в учебниках. Какое отношение к моменту речи говорящего имеет тот же пример со стариком? Да и что это за момент, где он? А что объясняет этикетка «настоящее историческое»? Почему *Вот идет старик к синему морю...* более историческое, чем *Пошел старик к синему морю*?

То же настоящее различно в примерах из Пушкина: (1) *Стою над снегами у края вершины* и (2) *И с каждой осенью я расцветаю вновь*:

В (1), как и в тютчевском *Вот бреду я...*, говорящий сейчас в хронотопе и воспринимает окружающее **сенсорно**; во (2) он как бы поднялся во времени и в пространстве над несколькими, многими осенями и суммирует, осмысляет прошедшее. Здесь другой способ восприятия – **ментальный**.

А повествование в «Пиковой даме» о несчастной судьбе бедной воспитанницы Лизаветы Ивановны автор подкрепляет словами Данте «Горек чужой хлеб и тяжелы ступени чужого крыльца». Это тоже настоящее время, но автор уже как бы вышел за рамки своего текста в контекст мировой литературы, универсально значимых обобщений.

Вот что интересно наблюдать – свободный полет человеческой мысли (и речи соответственно) в пространстве и времени, а не прикрепленность к «моменту речи». А затем – выявить, какие закономерности этот полет, движение, перемещения организуют в текстовую структуру, в композицию целого произведения.

Когда мы читаем в лингвистических трудах, что грамматическое время объективно, однонаправленно и необратимо, трудно этому поверить. Происходит механический перенос

свойств физического времени на время грамматическое. Дело в том, что их-то и надо разграничить.

Время физическое, природное однолинейно и необратимо, ход его независим от человека. Но соотносительность с этим временем факультативна для текста.

Текст, художественный ли, устно-бытовой ли, организуется событийным временем, которое автор, говорящий по своей воле выстраивает, намеренно или произвольно, в том порядке, в котором он перемещает свой «наблюдательный пункт» по отношению к событиям, действительным или воображаемым. Все соседствующие предикаты связного текста (в том числе и так называемые “полупредикативные” конструкции – причастные, деепричастные обороты, инфинитивы, девербативы и др.) вступают в **таксисные** отношения – одновременности, параллельности, предшествования, следования.

Р. Якобсон в свое время недооценил грамматическую роль говорящего лица, противопоставив время как «шифтерную» категорию, связанную с актом речи, «нешифтерным» категориям таксиса и вида [Якобсон 1972].

Оппозицию несовершенного и совершенного вида тоже не объяснить без учета точки зрения говорящего, либо «сопровождающего взглядом» длящийся процесс (*шел, шел; сидит, молчит*), либо фиксирующего изменения в продолжающемся процессе, «пересекая» его наблюдением (*мальши подрос, брат растолстел, похолодало, ветер усилился*).

Увидеть творческую силу говорящего, автора, субъективное управление текстовым временем, подвижность точки отсчета, наблюдательного пункта – все это предусловия анализа принципов построения текста.

Еще в 30-е годы В.В. Виноградовым была сформулирована задача выявить поддающиеся систематизации типизированные речевые единицы и изучать законы их комбинирования, соединения в текстах разного типа и назначения. В работах Виноградова [1930,1936] заложены основы науки о структуре текста.

Как возможное решение этой задачи разработана его последователями концепция пяти коммуникативных регистров речи, конкретные реализации которых и оказываются конститутивными единицами, композитивами текста. Практически любые тексты обнаруживают регистровое строение, с разными, естественно, количественными и качественными предпочтениями. Выявлены три оси времени, типы композиций, общие ступени рассмотрения текстовой структуры, даны многие примеры анализа текстов. «Коммуникативная грамматика» не противопоставляет язык речи, текст системе. «Грамматика» наблюдает язык в речевой динамике, стремясь извлечь максимум лингвистической информации из фактов человеческой речи и на этой основе найти явлениям их место в системе.

Фигура говорящего/наблюдателя с ее меняющейся пространственно-временной позицией, способами познания и коммуникативными намерениями, с богатством оценок и реакций, освещает внутренний мир текста и одушевляет грамматику. Поиски очеловеченного представления языковой системы, раздвигая границы грамматической компетенции, подводят более аргументированную лингвистическую базу под филологические исследования и поднимают грамматику на уровень современных гуманитарных задач, способствуя «раскрытию того духовного мира, который скрывается за словом» (Л.В. Щерба).

Литература

Виноградов 1930 – В.В. Виноградов. О художественной прозе. М.;Л., 1930

Виноградов 1936 – В.В. Виноградов. Стиль «Пиковой дамы» // Временник Пушкинской комиссии, 2. М.; Л., 1936

Виноградов 1958 – В.В. Виноградов. Из истории изучения русского синтаксиса. М., 1958

Золотова, Онипенко, Сидорова 1988 – Г.А. Золотова, Н.К. Онипенко., М.Ю. Сидорова. Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1970

Степанов 1981 – Ю.С. Степанов. В поисках прагматики (проблема субъекта). ИАН СЛЯ. 1981. Т 40. №4

Успенский 1970 – Б.А. Успенский. Поэтика композиции. М., 1970

Человеческий фактор в языке: Коммуникация, модальность, дейксис. М., 1992

Щерба 1974 – Л.В. Щерба. Новая грамматика // Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974

Якобсон 1972 – Р.О. Якобсон. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972

Язык русского зарубежья: итоги и перспективы исследования

1. Эта статья подводит итоги многолетней работе автора над изучением языка русских эмигрантов, живущих в пяти странах: Италия (Рим), Германия (Берлин, Миддлбери, Франкфурт-на-Майне, Бонн), Франция (Париж), США (Лос-Анджелес, Нью-Йорк), Финляндия (Хельсинки).

2. Русское зарубежье все больше привлекает к себе пристальное внимание ученых разных специальностей – историков, социологов, культурологов, психологов, и, конечно, лингвистов. Это вполне понятно. XX век породил обширные колонии русских в разных странах Европы, Азии, Америки, Австралии и даже Африки.

Русская диаспора обширна и многолика, неоднородна во многих отношениях. Люди, уехавшие из России, как правило, сохраняют с Россией и ее жителями какие-либо связи – родственные и дружеские, профессиональные, экономические, культурные. Их культура имеет родство с российской культурой и несет черты своеобразия.

Русское зарубежье крайне неоднородно по своему отношению к России и вообще всему русскому, неоднородно оно и по степени сохранности русского языка. Наши наблюдения за языком эмигрантов, живущих в разных странах, уехавших из России в разное время и по разным причинам, показывают сколь велика эта неоднородность.

3. Изучение речи эмигрантов может строиться по разным направлениям, например таким:

3.1. Выявление общих особенностей языка у совокупности лиц, объединенных по каким-либо существенным признакам, например: а) живущих в одной стране, б) составляющих одну волну эмиграции, в) имеющих одинаковый уровень образования, г) относящихся к одной и той же профессии, д) покинувших родину по одной и той же причине... Перечисление общих признаков может быть продолжено. Очевидно, что при таком подходе мы получим сведения, устанавливающие определенные корреляции между избранным признаком и особенностями языка, т.е., например, мы можем узнать, какие изменения в речи эмигрантов вызывает пребывание в разных странах,

* Земская Елена Андреевна - доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.

и, соответственно, влияние немецкого, английского, французского и др. языков. По такому принципу построена, например, книга [Język Polski 1997].

3.2. Монографическое описание речи отдельных лиц, характеризуемое пристальным вниманием к ее особенностям на всех уровнях языка, к специфике речевого поведения, учитывающее личные и профессиональные свойства, особенности биографии, условия освоения русского языка и т. п. В результате такого изучения мы получаем речевой портрет определенного человека, отражающий его **общие черты**, присущие ему как представителю разных множеств и подмножеств эмигрантов, распределенных по тем или иным признакам, и его **индивидуальные черты**, присущие ему как личности. Образцом для нас служат речевые портреты, созданные М.В. Пановым [Панов 1990]. Изучение речевых портретов отдельных лиц все более распространяется в науке. См., например: [Ерофеева 1990; Земская 1993; Крысин 1994; Китайгородская, Розанова 1995].

3.3. Изучение судьбы отдельных особенностей русского языка в речи эмигрантов разных волн, разных возрастов, живущих в разных странах, например: а) редукция тех или иных безударных гласных в первом безударном слоге, б) судьба творительного падежа существительных и т. п.

3.4. Все три направления исследования имеют право на существование и представляют собой определенный научный интерес. При первом подходе выявляются общие особенности речи эмигрантов; при втором – изучается конкретная реализация разных признаков в речи одного лица, возможности их сосуществования, взаимовлияния; при третьем – рассматривается история отдельных особенностей русского языка, влияние на них сложной совокупности социолингвистических факторов, что показывает различные возможности исторического развития русского языка.

3.5. Мной было избрано **комплексное направление** исследования. Была поставлена задача: в многообразии фактов обнаружить общие закономерности, характеризующие особенности языка русской диаспоры, найти корреляции между историческими, социальными, культурными, индивидуальными особенностями и степенью сохранности/разрушения русского языка. Подобное исследование имеет интерес не только для социолингвистики, но и для теоретического языкознания, так как оно дает возможность ответить на вопрос: какие участки системы языка в первую очередь поддаются воздействию чужих языков и по каким причинам, а какие являются наиболее устойчивыми.

Для того, чтобы глубже проникнуть в условия функционирования языка, понять, как именно живет родной язык в условиях иноязычного окружения (дву- или многоязычия), производилось детальное изучение отдельных языковых личностей, т.е. создание речевых портретов. Мной были описаны индивидуальные и парные (мать и дочь, муж и жена, брат и сестра) речевые портреты двадцати пяти лиц. Эти данные представляют интерес в историко-

культурном отношении — для характеристики изменений русского языка на протяжении XX в. и для характеристики нравов и быта русских людей за рубежом.

4. Основным материалом исследования составляли сделанные мной в 80-90-е годы XX в. магнитофонные и ручные записи естественной неподготовленной устной речи – разговоры на разные темы (беседы о жизни, рассказы об истории семьи, воспоминания о переселении из России, впечатления о жизни в новой стране, бытовые диалоги во время прогулок, поездок, обедов и т.п.). Отдельные магнитофонные записи сделали по моей просьбе и по моему плану коллеги и друзья: Наталья Башмакова, Ольга Йокояма, Валентина Пичугина, Ирина Гривнина. Выражаю всем им большую благодарность.

В качестве дополнительного материала использовались данные письменности: частная переписка, бытовые записки, объявления в магазинах, на улицах и т.д., реклама, эмигрантские газеты.

Особый и чрезвычайно ценный материал представляли собой семейные архивы, которые мне было разрешено исследовать и использовать. Это архивы трех известных славистов, живущих в разных странах и имеющих русские корни: Наталья Башмакова (Хельсинки), Olga Yokoama (Лос-Анджелес), Matthias Rammelmeyer (Бонн).

5. Как видно из сказанного выше, мной записывались непринужденные разговоры, беседы на разные темы в естественной неофициальной обстановке. Речь такого рода сопоставима с той формацией, которую в русском языкознании называют термином “литературный разговорный язык”. Именно поэтому, стремясь выявить отличия зарубежного русского от российского русского, я сравнивала свои данные не с данными кодифицированного литературного языка (КЛЯ), а с данными разговорного литературного языка (РЯ).

Мои разговоры с информантами никогда не имели характера интервью. В отношениях с собеседниками не было натянутости, официальности. Мы часто смеялись и даже хохотали. Иными словами, наши беседы имели дружеский, откровенный характер.

Записи велись в самых разных ситуациях: в автомашине во время совместных поездок, в церковном дворике, дома – у них или у меня, в кафе, ресторане или столовой церкви. Обстоятельства несомненно ухудшали техническую сторону записи (звяканье чашек и тарелок, гудение встречных автомобилей, свистки полицейских, грохот мотоциклов и многое-многое другое) и затрудняли ее расшифровку, но ни в коей мере не нарушали непринужденность ситуации и способствовали естественности речи собеседников.

Вполне допускаю, что мои информанты с родными и близкими друзьями говорили бы несколько иначе, чем со мной, но и разговоры со мной шли в непринужденной манере, о чем свидетельствует характер речи: наличие многих особенностей, присущих современному разговорному языку России (см. PPP-73, PPP-81, PPP-84).

Этот факт имеет принципиальное значение, ибо в ряде работ явления, отмечаемые в записях речи эмигрантов и не свойственные КЛЯ, характеризуются как типично

эмигрантские, свидетельствующие о разрушении русского языка за рубежом (Emigre Russian или даже American Russian, см. [Polinsky, print]), тогда как они типичны для российского разговорного языка (РЯ), т.е. репрезентируют различия между разговорным русским языком и книжным русским языком, а не отличие российского русского языка от эмигрантского. Назову для примера некоторые факты их тех, которые М. Полински рассматривает как свидетельство разрушения русского языка в эмиграции и которые характерны для русского РЯ. Экспрессивные повторы, используемые для усиления (типа: *Такой дом – это дорого-дорого*, в знач. ‘очень дорого’), паузы обдумывания или колебания (хезитации), использование предикативного прилагательного в им. падеже (а не в творительном): *Мама уехала злая* [Polinsky, in print: 38]. Последняя фраза вполне обычна, нормативна для российского РЯ. Вряд ли кто-нибудь скажет в разговорной речи *Мама уехала злой*.

Добавлю, что в интересном и богатом материалом исследованием М. Полински некоторые лексические явления следует рассматривать не как явления русского языка, разрушенного эмиграцией, а как явления **нелитературного** русского языка – областные или просторечные, см. об этом подробнее: [Земская 2001]. Здесь приведу лишь один пример этого рода: *Там мы блудили* (в значении *заблудились*). Так нередко говорят в современном городском просторечии, в том числе московском. Сл. Даля дает: «блуждать и блудить, колобродить, скитаться, шатать; // бродить или ездить, сбиваться с дороги и не опознаваясь в местности сбиться с пути, блукать, плутать, путать» [Сл. Даля, 1: 244].

6. В настоящее время принято различать четыре волны эмиграции: 1-ая – после революции 1917 г.¹, 2-ая – связанная со второй мировой войной, 3-я – в 70-е годы, когда был разрешен выезд из СССР евреям и диссидентам, а также происходила высылка диссидентов, 4-ая – с конца 80-х годов, т.е. в период перестройки и постперестройки. О волнах эмиграции см., например: [Эндрюс 1997, 18-19].

Наиболее резко эмиграции первой волны противостоит четвертая, которую нередко называют экономической. В подавляющем большинстве ее составляют люди, уехавшие из России навсегда, не имеющие желаний возвращаться. Как правило, уезжая, они не знали языка той страны, в которую направлялись. По данным, приведенным в работе Н.Л. Пушкаревой, среди эмигрантов 90-х годов зафиксировано 99,3 % граждан, заявивших при выезде, что они никаких языков, кроме русского, не знают [Пушкарева 1997, 156].

7. Я стремилась о каждом человеке, речь которого я намеревалась изучать, получить сведения, необходимые для того, чтобы как можно полнее и глубже уяснить его «языковую

¹ Старой эмиграцией в США принят иной счет. Первой волной называют людей, покинувших Россию до революции 1917 г., а эмиграцию послереволюционную считают второй волной.

историю», языковую компетенцию и жизненные обстоятельства, могущие влиять на его речь, на его отношение к СССР, России, русскому языку и всему русскому. Я стремилась с каждым человеком встречаться и разговаривать не один раз. Многие из моих информантов стали моими друзьями.

Мною была разработана анкета, преследующая указанную цель. Я ее никогда не использовала как анкету и даже не знакомила с ней информантов. Мне она была нужна для того, чтобы помочь мне систематизировать и сопоставлять сведения, полученные от разных людей, а лицам, производившим записи для моей работы, я давала ее, чтобы они знали, какого рода сведения меня интересуют.

АНКЕТА

(желательно получить эти сведения не с помощью «прямого опроса», а из беседы)

1. Имя, фамилия (* указать желательно, но не обязательно)
2. Год рождения/возраст
3. Место рождения
4. Какой язык считаете **основным** в настоящее время?
5. На каком языке думаете?
6. На каком языке считаете?
7. Какой язык был первым – начали говорить с детства?
8. Родной язык родителей: 1. Мать. 2. Отец.
9. Профессия/род занятий родителей: 1. Мать. 2. Отец.
10. Время отъезда из России (год).
11. Место жительства в наст. время.
12. Промежуточные страны (если не сразу приехал в данную страну).
13. Образование, где оно получено, на каком языке
14. Профессия/род занятий
 - 14.1 До отъезда
 - 14.2 В наст. время
15. Состав семьи в наст. время; на каком языке говорят
 - 15.1 Муж
 - 15.2 Жена
 - 15.3 Дети
16. На каком языке говорят обычно дома?
 - 16.1 Все члены семьи на одном?
 - 16.2 Разные члены семьи используют разные языки – какие именно?
17. Знание других языков
 - 17.1 До отъезда из России
 - 17.2 В наст. время (желательно указать: понимаю, могу объясниться ...)
18. На каком языке предпочитаете
 - 18.1 Читать.
 - 18.2 Писать
19. На каких языках можете говорить (желательно расположить эти языки от основного к наиболее слабому).
 - а) Место записи (страна, город ...; ситуация, например, дома, в университете ...)
 - б) Дата записи
 - в) Кто вел запись?
 - г) Участники беседы (если их несколько)

8. Рассмотрение большого фактического материала (исследовалась речь более 150 эмигрантов разных поколений первой волны и около 200 эмигрантов других волн) позволило дать уточнение некоторых понятий, важных для изучения языковой компетенции эмигрантов.

Первый язык. Тот язык, на котором ребенок **начинает** говорить; как правило, это бывает язык матери, но не обязательно. Обычно на этом языке ребенок учится **считать** и продолжает считать в течение всей жизни.

Материнский язык. Он может отличаться от отцовского, ибо в эмигрантских семьях нередко языки матери и отца не совпадают, и ребенок с каждым из родителей говорит на его языке.

Домашний язык. Тот язык, на котором говорят дома. Нередко в эмигрантских семьях имеется не один домашний язык, а два или более.

Основной язык. Необходимо использовать еще одно понятие: главный или основной язык (= лучший язык). По каким критериям его выделять? Принято считать, что на нем человек думает. Но многоязычные люди нередко думают на разных языках в зависимости от темы, ситуации, собеседника и даже местонахождения. Так, одна эмигрантка второго поколения первой волны, живущая в США, рассказывала мне: «Я замечаю, что я начинаю думать по-французски уже в самолете, когда лечу во Францию». Таким образом, этот критерий не годится. Не годится и критерий – «человек считает на этом языке», так как опрос показывает, что считают обыкновенно на первом языке или на языке, на котором человек научился считать. Очевидно, важен иной критерий: этот язык используется в устной и письменной формах и во всей широте функциональных и стилистических регистров, то есть не только как устный домашний язык. Отмечу, что именно в функции домашнего языка используют русский многие потомки эмигрантов разных волн, получившие образование вне России и не на русском языке (см. подробнее ниже).

Родной язык. Это понятие обычно получает такое определение: «язык, на котором говорят с раннего детства, перенимая его от родителей, или родных» [Сл. Уш.]. Понятие «родной язык» часто совпадает с понятием «материнский язык», но тогда термин «родной язык» играет роль ненужного и не вполне точного дублета. Родной язык не всегда бывает один (если родители говорят на разных языках), не всегда бывает первым (если ребенок усваивает речь не от родителей, а от лица/лиц другой национальности, например, няни, гувернантки, которые за ним ухаживают в раннем детстве), он не всегда бывает основным, если человек живет в стране, язык которой не совпадает с его родным, если он получает образование не на родном языке, что широко распространено в эмигрантской среде. Поэтому далеко не у всех эмигрантов, у которых русский язык является родным, он основной.

Отмечу сразу же, что позицию основного, или, как его иногда называют, доминирующего языка, помогают получить семь факторов: 1) цель и причины эмиграции, 2) образование говорящего, 3) язык родителей, 4) язык страны длительного проживания или страны, в которой прошло детство, 5) язык, на котором проходило школьное и/или университетское обучение, 6) профессия, связанная с использованием данного языка, 7) личность говорящего (см. об этих факторах подробнее ниже).

9. Изученный мною материал показывает, что между речью эмигрантов одной волны, живущих в разных странах, имеется бóльшая общность, чем между речью эмигрантов разных волн, живущих в одной стране. Естественно, что имеются в виду общие явления, а не конкретные заимствования из языка страны обитания. Эта общность касается и такого важного явления, как разная степень устойчивости (сохранения) русского языка у эмигрантов разных волн.

10. Наибольшее сходство в языке и речевом поведении наблюдается между эмигрантами первой волны, относящимися к русской аристократии и другим слоям высокообразованного русского общества (писатели, ученые, инженеры, медики, духовенство), живущими в разных странах (Италия, Франция, Германия, США). Яркое свидетельство этой общности показывает сравнение моих материалов и материалов М.А. Бобрик, анализирующей речь семьи Ф., живущей в Берлине (см. [Бобрик, в печати]). Расхождения незначительны и касаются словоупотребления. Они объясняются социальными различиями: русская аристократия ~ разночинцы. Следует подчеркнуть, что члены семьи Ф. не связаны с русским языком профессионально.

Я обращала преимущественное внимание на речь эмигрантов первой волны разных поколений (родители — дети — внуки — правнуки). Особое внимание к речи эмигрантов первой волны объясняется рядом причин. Речь эмигрантов именно первой волны показывает жизнь русского языка вне России на протяжении почти века. Речь этих людей, с одной стороны, сохраняет особенности старого языка, а с другой – содержит те изменения, которые характеризуют длительное функционирование русского языка в иноязычном окружении.

10.1. Общие особенности речи эмигрантов первой волны порождаются такими факторами:

10.1.1. Усвоение русского языка дома, от родственников (свободно владеющих книжным и разговорным русским языком) или нянь (в речи которых встречались черты просторечия).

10.1.2. Господствующее в семье стремление сохранить чистый русский язык, не допускать нововведений, связываемых с советской властью, что порождает некоторую архаичность.

10.1.3. Постоянное пребывание в окружении лиц, говорящих на других языках, и усвоенное с детства многоязычие.

10.2. Общие особенности речи эмигрантов первой волны можно кратко охарактеризовать так.

10.2.1. Беглость, естественный темп речи, что редко бывает свойственно иностранцам, даже отлично выучившим русский язык.

10.2.2. Наличие типично разговорных черт в фонетике.

10.2.3. Свободное пользование разговорной, а иногда и просторечной лексикой.

10.2.4. Наличие слов и выражений, устаревших в русском языке СССР и современной России.

10.2.5. Отказ от использования слов, возникших в советское время.

10.2.6. Сохранение в заимствованных словах их исконного произношения или отдельных его черт.

10.2.7. Включение иноязычных слов в качестве инкрустаций, а не построение макаронического дискурса.

10.2.8. Наличие кáлек; наиболее распространенные — семантические и синтаксические.

10.2.9. В речи некоторых лиц наблюдается интонационное и фонетическое влияние чужого языка, начальная стадия разрушения некоторых грамматических особенностей русского языка.

10.3. Угасание письменной формы русского языка у тех лиц, которые получали образование не на русском языке (см. об этом подробнее: [Земская 1999а]).

11. Проведенное исследование позволило выявить наиболее слабые vs. устойчивые к воздействию чужих языков части системы русского языка.

11.1. Быстрее всего влиянию чужих языков подвергается **интонация**: у многих лиц, но не у всех. Необходимо подчеркнуть, что далеко не все эмигранты усваивают интонацию окружающего их языка. Чаще всего происходит разрушение интонации русского языка, но человек не овладевает полностью и интонацией чужого языка. Это, конечно, касается в первую очередь эмигрантов третьей и четвертой волны, не ставших двуязычными.

11.2. В области **фонетики** можно отметить следующее:

11.2.1. К числу устойчивых относятся такие явления:

оглушение согласных на конце слова; противопоставленность согласных по твердости/мягкости, глухости/звонкости.

11.2.2. Неустойчивые признаки имеют одну общую отличительную особенность: они не релевантны для фонологической системы русского языка. Необходимо отметить, что перечисленные далее признаки встречаются далеко не у всех говорящих. В речи одних лиц их нет совсем, у других встречаются только некоторые.

В области **согласных** это: смягчение звуков **ш, ц**, не имеющих парных мягких; отвердение **ч**, не имеющего парного твердого; озвончение **х**, не имеющего парного звонкого. Отмечу также: грассирующее произношение **р**; средневропейское **l**; звуки **т, д** в английском окружении могут приобретать альвеолярность, звук **к** — придыхательность.

В области **гласных**: утрата у-образного признака у звука **о**; фонемы **а, о** в первом предупредном слоге у некоторых лиц реализуются гласным неполного образования **ь**: **тъта**.

11.3. Лексика относится к числу тех областей языка, в которых иноязычное влияние обнаруживается достаточно заметно и быстро. Включение иноязычных слов и выражений в русскую речь свойственно представителям всех волн эмиграции. Однако между разными волнами эмиграции имеется существенное различие в характере использования лексики языка страны обитания, в ее функциях в речи.

Лица, хорошо знающие язык страны-приюта, дву- и многоязычные, не допускают смешения языков. Они не строят макаронический дискурс, а используют иноязычные слова как инкрустации. Лица, плохо знающие язык страны обитания, лишь изучающие его, подвержены интерференции. Они используют лексику и фразеологию чужого языка часто без особой надобности, чтобы показать свою осведомленность в новом для них языке.

Эмигранты первой волны, как правило, используют иноязычную лексику в номинативной функции, тогда как эмигранты четвертой волны применяют ее нередко как средство непритязательной языковой игры. Последнее объясняется тем, что эта лексика для них явление новое, необычное, вызывающее разного рода ассоциации с родными словами в духе народной этимологии, паронимической аттракции, каламбуров. Вот несколько примеров из статьи [Гусейнов 1997, 44]: *шпрахи* (языковые курсы) — *страхи, рехннунг* (счет) — такой, что *рехнуться* можно; см. также: [Земская 2001].

11.4. Исследователи языка русских эмигрантов, как правило, не обращают специального внимания на **словообразование**, рассматривая отдельные производные слова при изучении заимствованной лексики – так называемых слов-гибридов (заимствованная основа + русские аффиксы). Между тем, вопрос о том, **как** функционирует словообразовательный механизм русского языка в иноязычном окружении, представляет значительный интерес. Единственные известные мне работы, посвященные этой проблематике, – интересные исследования М.А. Осиповой [Осипова 1999; Осипова, в печати]. М.А. Осипова изучала речь эмигрантов последней волны эмиграции в США (с конца 80-х годов), часть которой составляют дети и молодежь, не усвоившие в достаточной степени русский язык в России. По ее наблюдению, прежде всего уходят из языка модификационные (по Докулилу) производные. Она пишет: «Слабой системной категорией оказываются модификационные производные, куда относятся диминутивы и приставочные глаголы. Это производные с интерпретирующим, а не называющим значением. Устойчивым же ядром системы оказываются мутационные производные, как, например, названия деятеля. Это «называющие» производные. Иными словами, дезинтегрируются производные с вторичными словообразовательными функциями, а проявляют устойчивость образования, реализующие важнейшую функцию словообразования, – номинативную» [Осипова 1999, 11].

Это мнение разделяет и [Polinsky, in print], полагая, что словообразовательный механизм русского языка ослабевает, вытесняемый под влиянием английского другими механизмами языка.

11.4.1. Мои материалы дают иную картину. В речи эмигрантов первой волны и их потомков, родившихся вне России и усвоивших язык в семье, словообразовательная система русского языка сохраняется в своем обычном виде. В речи моих информантов как раз модификационная категория уменьшительности-оценочности обнаруживает наибольшую активность, причем и в речи эмигрантов второго и третьего поколения первой волны. Как это свойственно разговорному языку в России, распространены уменьшительные и оценочные экспрессивные производные типа *павильончик, домик, огородик, кухонька, комнатуха, пилюльки, домишка, маленький городочек, улочка*.

Таким образом, мои материалы подтверждают предположение Jakobson о том, что при ослаблении языковой системы первыми исчезают категории, наиболее поздно осваиваемые человеком. Ведь известно, что в славянских языках категория уменьшительности возникает у ребенка очень рано (см. [Гвоздев 1961; Земская 1993]).

Мои записи показывают резкое различие в отношении к диминутивам между речью эмигрантов первой волны и их потомков и речью эмигрантов последней волны (с конца 80-х годов), представленной в статьях: [Осипова 1999; Осипова, в печати; Polinsky, in print].

11.4.2. Наблюдается резкое различие в использовании словообразования в языке эмигрантов разных волн. В языке эмигрантов первой волны (т.е. покинувших Россию после революции 1917 года) словообразование имеет те же функции, что и в языке метрополии (см.: [Земская, в печати (б)]). Наиболее активны две функции – экспрессивная (производство диминутивов) и номинативная. В качестве базовых используются преимущественно основы русских слов.

Эмигрантам первой волны свойственно свободное владение двумя или более языками. Они не смешивают разные языки. Чужой язык для них привычен и иногда даже более удобен, чем русский. Они не подвергают его обработке словообразовательными средствами русского языка.

11.4.3. Для эмигрантов третьей и четвертой волн чужой язык часто не стал еще полностью своим. Они воспринимают его как нечто остро противопоставленное русскому языку, постоянно сравнивают русские и чужие способы выражения, осмысливают эту разницу и используют ее как средство экспрессии. Именно поэтому они активно применяют русское словообразование, создавая от иноязычных основ слова-гибриды.

11.4.4. Можно выделить две специфические функции словообразования в языке эмигрантов третьей и четвертой волн, связанные с производством слов-гибридов.

Первая – номинативная: многие представители последних волн эмиграции не заботятся о чистоте русского языка, создавая в номинативных целях не только производные существительные (типа *велферицик, фудстэмпицик, бистряк*), но и прилагательные (*волонтирский, бедрумный, полпаундовый, рамольный*) и даже глаголы (*биллать, драйвать, замельдоваться, путцить*). Последнее особенно резко нарушает чистоту русского языка.

Вторая — экспрессивная: у эмигрантов последних волн, наделенных чувством юмора и склонностью к языковой рефлексии, широко распространены словообразовательные игры. Нередко они базируются на каламбурном сближении русских и иноязычных слов.

11.4.5. Словообразовательный механизм русского языка — мощная и активная сила. Словообразование, в отличие от других подсистем русского языка (таких, например, как интонация, фонетика, лексика), не подвергается иноязычному влиянию. Напротив, русское словообразование способно включать иноязычные лексические элементы в словообразовательные модели русского языка для производства слов-гибридов. Ср. понятие адаптирующей функции словообразования в концепции Фурдика [Furdík 1993].

11.4.5.1. Число слов-гибридов разных частей речи не одинаково. По нашим данным, наиболее многочисленны имена существительные, глагол занимает второе место, а прилагательные — третье.

11.4.5.2. Глаголы и прилагательные от иноязычных основ по-разному воспринимаются в русской речи. Прилагательные — нейтральны. Глаголы резко выделяются в структуре русского текста. Их используют два типа лиц: 1) не чувствующие достаточно тонко ткань создаваемого ими текста, не дорожащие чистотой русского языка; 2) играющие с формой речи. Глаголы-гибриды в речи старых эмигрантов крайне редки. Без установки на шутку они могут встречаться лишь у тех лиц, которые не следят за своей речью, не обладают многоязычием и которым не свойственна высокая языковая рефлексия.

11.5. Морфология относится к числу более устойчивых подсистем русского языка, чем лексика и фонетика. Русский язык вне России обнаруживает то же противопоставление глагол/имя, которое свойственно ему в метрополии. Спряжение глагола не подвергается разрушению. В склонении имени обнаруживаются явления, свидетельствующие о росте аналитизма: экспансия им. падежа, ослабление функций некоторых косвенных падежей (например, творительного способа действия). Ярче всего ослабление склонения, как и в языке метрополии, наблюдается в склонении имени числительного. Эти явления не связаны непосредственно с влиянием иноязычного окружения, но свидетельствуют об общности тенденций, действующих в русском языке как в метрополии, так и вне России, см. об этом подробнее: [Гловинская, в печати].

11.5.1. Отдельные изменения в языке эмигрантов, относящиеся к сфере морфологии, — например, невладение категорией одушевленности, незнание правил употребления собирательных числительных, — имеющие внешне разрозненный характер, находят объяснение в теории естественной морфологии, см.: [Dressler 1982; Дресслер 1986; Земская, в печати].

11.6. Калькирование принадлежит к числу явлений, оказывающих влияние на речь эмигрантов всех волн и на разные подсистемы языка: лексическую семантику, синтаксис, морфологию. Словообразовательные кальки в моих материалах не зарегистрированы.

Калькирование – явление очень активное, можно сказать, агрессивное. Кальки проникают в речь даже тех людей, которые строго оберегают свой русский язык и не допускают в него заимствований. Кальки менее заметны, чем заимствования. Это, так сказать, тайный переодетый враг, а не явный грабитель, который ломится в дом. По моим наблюдениям, совпадающим с наблюдениями других лингвистов (см., например: [Голубева-Монаткина 1994; 1995; Andrews 1998]), наиболее частотны кальки двух видов – с полужнаменательными глаголами *иметь*, *брать*, *делать* и др. (типа *иметь страх*, *взять автобус*, *делать благодарность*), и кальки семантические, при которых используется слово, имеющееся в русском языке, но меняется (расширяется) его значение. Такого рода кальки возникают в русской речи очень активно (напр., многие лица, живущие в США, употребляют слово *класс* в знач. ‘занятие’, ‘урок’; *телефон* — в знач. ‘телефонный звонок’).

12. Различие между разными волнами эмиграции наблюдается не только в использовании языка страны обитания, но и в отношении общей стойкости русского языка. У части эмигрантов четвертой волны русский язык разрушается после недолгой жизни вне метрополии (5-10 лет), т.е. уже в первом поколении. Это касается в первую очередь тех, кто оказался в эмиграции в детском возрасте, не получив образования на русском языке, однако присуще не только им, см.: [Земская 1999б]. Такая нестойкость русского языка связана со многими факторами: отъезд из России навсегда (а не на время), низкая образованность, незнание других языков, кроме русского, в том числе языка страны обитания. Имеется и другой существенный фактор, которому исследователи нередко не придают должного значения: степень владения русским языком до эмиграции и отношение к русскому языку. Лица, легко и быстро теряющие, забывающие, портящие русский язык в эмиграции, как правило, не владели им в должной мере и при жизни в России (или: СССР). Для многих из них русский язык не был родным. Ученые и журналисты, пишущие о разрушении русского языка в эмиграции и даже о его гибели, часто изучают не речь приехавших из России носителей русского литературного языка и их детей, а речь «контингента», «русачков» и «русачек», как их именует Г. Гусейнов [Гусейнов 1997]. Среди этих людей есть и «российские немцы», и украинцы, и армяне, и жители азиатских республик бывшего СССР. Список можно продолжить. Объединяет всех этих людей невладение русским литературным языком до отъезда в эмиграцию, а также — и это очень важно — отсутствие отношения к русскому языку как к культурной, исторической, духовной, человеческой ценности. Для них

это «прежний язык», «старый язык», как справедливо замечает Г. Гусейнов, а не **русский** язык.

Чтобы говорить о разрушении русского языка, необходимо ответить на вопрос: о разрушении какого русского языка идет речь? На каком русском языке эти люди говорили до эмиграции? Исследователи этот социокультурный аспект не рассматривают и даже не упоминают о нем [Гусейнов 1997; Polinsky 1998]. Сравнивать «эмигрантский язык» информантов с кодифицированным литературным языком неправомерно, так как нет оснований полагать, что речь этих лиц до отъезда из метрополии соответствовала нормам русского литературного языка. Также нет оснований полагать, что многие факты, наблюдаемые в речи лиц, живущих в США, Германии или другой стране, можно характеризовать как влияние эмиграции.

Проблема социально-культурной характеристики важна при изучении речи эмигрантов всех четырех волн. Отмечу, что и представители эмиграции первой волны не однородны в социально-культурном отношении, и это, естественно, находит отражение в их языке. Наряду с лицами дворянского происхождения в составе первой эмиграции имеется и духовенство, и разночинцы, и купечество, и промышленники. Не ставя перед собой цель рассмотреть язык разных слоев эмиграции, укажу лишь на некоторые типические различия, так сказать, «лакмусовые бумажки» — показатели социальной дифференциации говорящих. Примером социальных лексических маркеров могут быть глаголы *есть* / *кушать*, см. об этом подробнее: [Земская 2000].

13. Мои наблюдения позволяют предположить, что имеется несколько специфических полей сохранения и стойкого функционирования русского языка: православная церковь, общение с маленькими детьми и разговоры с домашними животными.

14. Среди старой русской эмиграции двуязычие и даже многоязычие — не редкость. Эмигрантов первой волны и их потомков отличает от поздней эмиграции умение переключаться с одного языка на другой, а не смешивать языки. В их русский могут попадать отдельные заимствования в виде инкрустаций. Как пишет Л.В. Щерба, «оба языка (или: три и более языков — *Е.З.*) образуют две отдельные системы ассоциаций, не имеющие между собой контакта. Это очень частый случай у людей, выучивших иностранные языки от иностранных гувернанток, с которыми они могли говорить только на изучаемом языке с исключением всякого другого» [Щерба 1976, 61]. Похожая ситуация возникает и при жизни в эмиграции, когда жители страны обитания не знают русского языка и при общении с ними эмигрантам нельзя переходить на родной язык.

15. Как именно функционирует двуязычие у лиц, долгое время живущих за границей или родившихся вне России? Неверно было бы думать, что двуязычные люди всегда свободно обо всем говорят на двух языках. Нередко двуязычие распределено ситуационно и тематически. Мои наблюдения и опросы информантов свидетельствуют о том, что употребление русского языка и языка той страны, в которой живет человек, нередко находятся в дополнительном распределении. Так, например, молодая женщина, русская по происхождению, но родившаяся в Германии, сообщила мне, что дома с родителями она

говорит только по-русски, а когда, например, ведет автомобиль, заправляет его и т.п. — только по-немецки, что она даже не знает, как называются по-русски те ли иные предметы и действия, связанные с автомашиной. Это относится и к работе на компьютере. Сохранение за русским функций домашнего, семейного языка распространено в среде эмигрантов.

Среди эмигрантов действуют два основных вида двуязычия: полное (более редкое, но реально существующее и наблюдаемое у некоторых лиц) и находящееся в дополнительном распределении (по ситуациям, темам, адресатам и т.д.).

16. Современный этап жизни русского языка отличается значительным своеобразием, см., например: [Русский язык 1996]. Изменение условий жизни в России не могло не повлиять и на функционирование русского языка за рубежом. На протяжении многих десятилетий эмигранты были отрезаны от СССР, их русский язык был изолирован от русского языка метрополии. Они не могли приезжать в СССР (боялись или их не пускали), они не могли свободно общаться с соотечественниками. Интересные воспоминания об этом периоде истории, когда встречи между русскими и иностранцами проходили в музеях, парках, на вокзалах, сохранил Дмитрий Всеволодович Иванов, сын поэта Всеволода Иванова, см.: [Земская 1999б].

Исторические изменения (падение тоталитаризма, распад СССР и образование России) стали мощным стимулом сохранения русского языка. Развитие и укрепление экономических, культурных, научных связей между Россией и иными странами дало возможность эмигрантам разных поколений приезжать в Россию, встречаться с родственниками, друзьями и коллегами и принимать их у себя. Многие эмигранты начинают активно изучать русский язык, смотрят русское телевидение, читают русские книги и газеты. Все это не только способствует сохранению русского языка, но и рождает новую ступень овладения им. Этот феномен сами эмигранты называют возвращением к России и русскому языку.

В языковой компетенции многих лиц, живущих вне России в течение всей жизни, эмигрантов третьего и даже четвертого поколений, независимо от того, сколько языков они знают и какое место в этой иерархии занимает русский язык, ему принадлежит особое важное положение. Русский язык — предмет частой и глубокой языковой рефлексии. Он воплощает связь с Родиной, с семейными корнями. Это святыня, которую берегут.

Лица, родившиеся за границей, теряющие русский язык, посещают Россию в память о предках. Многие эмигранты, деды которых владели имениями в России, не имея возможности вернуть их, желают сохранить дедовские усадьбы, хотя бы как память о своих корнях, становятся благотворителями, помогают в реставрации, налаживают жизнь в детских домах, размещенных в этих усадьбах и пр.

В ряде стран (в США, в странах Скандинавии) организуется обучение детей эмигрантов их родному языку. Такие занятия «Russian for Russian» есть, например, в Калифорнийском университете UCLA в г. Лос-Анджелес. Примечательно, что эти занятия посещают люди разных специальностей – медики, историки, социологи, инженеры (не филологи!).

Вопрос, который часто возникает: «Умирает ли язык русского зарубежья?», по моему убеждению, должен получить отрицательный ответ, см. об этом подробнее: [Земская 2001].

17. Сопоставительный анализ речевых портретов отдельных лиц позволяет увидеть, сколь велико разнообразие индивидуальных черт и личных историй эмигрантов, сколь великая разница во владении русским языком заключена в диаспоре. Язык диаспоры представляет собой континуум.

Наблюдения за речью многих лиц позволяют выявить факторы, способствующие сохранению русского языка: причины и цель эмиграции (бегство на время / отъезд навсегда); общая образованность и знание других языков; интерес к России, ее культуре, истории, своим предкам, вызывающие желание сохранить русский язык; развитая языковая рефлексия; наличие русского окружения; сила характера данного человека и тех его близких, которые являются носителями русского языка; обучение на русском языке; профессия, требующая знания русского языка; тесная связь с православной церковью, в которой богослужение ведется на церковнославянском языке, а общение между прихожанами идет на русском.

18. Требуют изучения следующие важные теоретические проблемы. Как именно влияет тот или иной язык страны обитания на язык эмиграции? Какие языки оказывают большее/меньшее воздействие на язык диаспоры? В большей мере исследовано влияние на русский язык американского английского (см. [Benson 1960; Andrews 1999; Olmsted 1986]) и французского [Голубева-Монаткина 1993; 1994; 1995]. Преимущественно рассматривались воздействия в сфере лексики, менее основательно — в сфере фонетики и грамматики.

Что касается степени влиятельности разных языков, то, по моим материалам, наиболее «весомы» три языка — английский, французский и немецкий. Несомненно, что кроме внутренней структуры этих языков играет роль их высокая социально-культурная значимость, широкая распространенность в мире. Языки менее распространенные, так сказать, менее престижные, оказывают меньшее влияние на язык диаспоры. Необходимо добавить, что языки эмигрантов из разных стран в разной мере подвержены воздействию. Это зависит не только от собственно лингвистических особенностей того или иного языка, но и от особенностей жизни эмигрантов разных национальностей (замкнутая жизнь внутри общины соотечественников / включенность в окружающую жизнь людей других национальностей), а также от языковой политики, направленной на поддержание родного языка. Применительно к славянским языкам такие вопросы рассматриваются в книге «The

Slavonic Languages», 1993 (автор главы о славянской диаспоре — R. Sussex; см. рец. на эту книгу: [Осипова 1996, 161]).

19. Существует еще одна особая и очень важная проблема — словесное художественное творчество русских эмигрантов, ср.: [Караулов 1992]. Русская литература, созданная в эмиграции, огромна. Это предмет специального изучения. Здесь укажу лишь на важность проблематики иного рода: исследование особенностей быта, сохранения обычаев русской жизни, праздничных ритуалов, игр и т.п. М.Ю. Лотман пишет: «... быт — это не только жизнь вещей, это и обычаи, весь ритуал ежедневного поведения, тот строй жизни, который определяет распорядок дня, характер труда и досуга; формы отдыха, игры, любовный ритуал и ритуал похорон. Связь этой стороны быта с культурой не требует пояснений. Ведь именно в ней раскрываются те черты, по которым мы обычно узнаем своего и чужого, человека той или иной эпохи, англичанина или испанца» [Лотман 1994, 12]. Исследований этой стороны жизни русской диаспоры почти нет. Можно назвать пионерские работы ученых Финляндии [Башмакофф, Лейнонен 1990]. Назову еще одно исследование, посвященное таким вопросам: как сохраняется и функционирует фольклор среди русских крестьян, живущих в Красном селе на территории Финляндии (см. [Harjula, et al. 1993]). Авторы публикуют уникальные фольклорные записи — песни, сказки, детский фольклор (считалки, дразнилки), приметы, заговоры, загадки, показывающие, что именно в прошлой жизни было особенно дорого. Как пишут исследователи, «во время Зимней войны жители четырех русских деревень, финские граждане, были спешно эвакуированы в глубь Финляндии и расселены по разным районам страны. <...> Живая фольклорная традиция Красносельского прихода уже более полувека не существует, поскольку нет больше самого прихода. Тексты не актуализируются, но сохраняются они достаточно хорошо. В этом великая заслуга бывших односельчан. То, что многие из них сохранили не только родной язык, но и обычаи и фольклор, вызывает изумление и достойно уважения» [Harjula et al. 1993, 216].

Литература

Башмакофф Н., Лейнонен 1990 – Башмакофф Н., Лейнонен М. Из истории быта русских в Финляндии 1917—1939. По печатным материалам, воспоминаниям и рассказам самих русских. Ч. 1. // *Studia Slavica Finlandensia*, VII. Helsinki, 1990, С. 1-100.

Бобрик, в печати – Бобрик М.А. Очерк языка семьи Ф. // *Язык русского зарубежья* / Отв. ред. Е.А. Земская.

Гвоздев 1961 – Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. М., 1961.

Гловинская 1996 – Гловинская М.Я. Активные процессы в грамматике (на материале инноваций и массовых языковых ошибок) // *Русский язык конца XX столетия (1985-1995)*. М., 1996, С. 237-304.

Гловинская, в печати, - Гловинская М.Я. Язык эмиграции как свидетельство о неустойчивых участках языка метрополии (на материале русского языка) // *Жизнь языка: Сб. ст. к 80-летию М.В. Панова* / Отв. ред. С.М. Кузьмина.

- Голубева-Монаткина 1993 – Голубева-Монаткина Н.И. Об особенностях русской речи потомков первой русской эмиграции во Франции // Русский язык за рубежом. 1993. №2, С. 100-105.
- Голубева-Монаткина 1994 - Голубева-Монаткина Н.И. Грамматические особенности русской речи потомков эмигрантов «первой волны» во Франции // Филологические науки, 1994. №4. С. 104-111.
- Голубева-Монаткина 1995 - Голубева-Монаткина Н.И. Лексические особенности русской речи потомков русского зарубежья во Франции // Русистика сегодня. 1995. №1, С. 70-92.
- Гусейнов 1997 – Гусейнов Г. Наблюдения над особенностями речевого поведения в новых русских анклавах Германии // 11. Fortbildungstagung für Russischlehrer an bayerischen Gymnasien. Regensburg, 1997, S. 36-44.
- Дресслер 1986 – Дресслер В. Об объяснительной силе естественной морфологии // ВЯ, 1986. №5. С. 33-46.
- Ерофеева 1990 – Ерофеева Т.И. «Речевой портрет» говорящего // Языковой облик уральского города. Свердловск, 1990.
- Земская 1993 – Земская Е.А. К вопросу о системности некодифицированных сфер речи. Речевой портрет ребенка 2-6 лет // Harvard Studies in Slavic Linguistics. Vol. II. Ed. by O. Yokoyama. Harvard University, 1993 P. 122-145.
- Земская 1999а – Земская Е.А. Об угасании письменной формы русского языка в среде эмиграции // Роман Якобсон. Тексты, документы, исследования. М., 1999, С. 599-610.
- Земская 1999б – Земская Е.А. Язык русского зарубежья: два полюса // Язык. Культура. Гуманитарное знание. К столетию Г.О. Винокура / Ред. С.И. Гиндин, Н.Н. Розанова. М., 1999. С. 236-257.
- Земская 2000а – Земская Е.А. Проблемы нормы и речевого поведения // Культурно-речевая ситуация в современной России. / Отв. ред. Н.А. Купина. Екатеринбург, 2000.
- Земская 2001 – Земская Е.А. Умирает ли язык русского зарубежья? // ВЯ, 2001. №6.
- Земская, в печати (а) – Земская Е.А. Функции словообразования в языке русских эмигрантов. Katowice.
- Земская, в печати (б) – Земская Е.А. Речевой портрет эмигранта первой волны (к вопросу об объяснительной силе естественной морфологии) // Русский язык сегодня / Ред. Л.П. Крысин.
- Караулов 1992 – Караулов Ю.Н. О языке русского зарубежья // ВЯ, 1992. №6.
- Кауппила, Лейнонен 1985 – Кауппила Е., Лейнонен М. Судьба красносельского говора в Финляндии // Scando-Slavica, 1985. №31. С. 117-144.
- Китайгородская, Розанова 1995 – Китайгородская М.В., Розанова Н.Н. Русский речевой портрет. Фонохрестоматия. М., 1995.
- Крысин 1994 – Крысин Л.П. Современный русский интеллигент: штрихи к речевому портрету // Литературный язык и культурная традиция. М., 1994. С. 262-282.
- Лотман 1994 – Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — нач. XIX века). СПб., 1994.
- Осипова М.А. К изучению разговорного языка иммигрантов в США: словообразовательный уровень // Slavia, 1999, №1.
- Осипова 1996 – Осипова М.А. [Рец. на кн.] The Slavonic Languages // Ed. V. Comrie and G. Corbett. London; New York, 1993 // ВЯ. 1996. №1. С. 159-162.
- Осипова 1999 – Осипова М.А. К изучению разговорного языка иммигрантов в США: словообразовательный уровень // Slavia. 1999 № 1.
- Осипова, в печати – Осипова М.А. Разговорный русский язык иммигрантов в США. Лексика и словообразование // Славянские языки в неславянском окружении / Ред. Т.М. Николаева.
- Панов 1990 – Панов М.В. История русского литературного произношения XVIII—XX вв. М., 1990.
- Пушкарева 1997 – Пушкарева Н.Л. Русские за рубежом // Русские / Отв. ред. В.А. Александров, И.В. Власова, Н.С. Полищук. М., 1997 (Серия «Народы и культуры»).

- PPP-73: Русская разговорная речь. М., 1973.
- PPP-81: - Земская Е.А., Китайгородская М.В., Ширяев Е.Н. Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981.
- PPP-84: - Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. М., 1984.
- Русский язык 1996 – Русский язык конца XX столетия (1985-1995). М., 1996.
- Сл. Даля – Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. 3-е испр. и доп / Издание под ред. И.А. Бодуэна-де-Куртене, Т. 1-4. СПб., М., 1903.
- Сл. Уш. – Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. Т. 1-4. М., 1934-1940.
- Щерба 1974 – Щерба Л.В. О понятии смешения языков // Л.В. Щерба. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 60-74.
- Эндрюс 1997 – Эндрюс Д.Р. Пять подходов к лингвистическому анализу языка русских эмигрантов в США // Славяноведение, 1997. №2. М., С. 18-30.
- Andrews 1998 – Andrews D.R. Socio-cultural Perspectives on Language Change in Diaspora. Soviet immigrant in the United States // Impact: Studies in Language and Society, Vol. 5. John Benj. Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, 1998.
- Benson 1960 – Benson M. American — Russian Speech // American Speech, October 1960, Vol. XXXV. №3, P. 163-194.
- Dressler 1982 – Dressler W. On Wordformation in Natural Morphology // International Congress of Linguists, 13th. Tokyo, 1982.
- Furdík 1993 – Furdík J. Slovo tvorná motivácia a jej jazykové funkcie. Levoča, 1993.
- Hanjula et al. 1993 – Hanjula T., Leinonen M., Ovchinnikova O. Kyyrölän perinnnettä // Традиции Красного села. Tampere, 1993.
- Język polski 1997 – Język polski poza granicami kraju. / Red. St. Dubicz. Opole, 1997.
- Leinonen 1985 – Leinonen M. Finnish and Russian as they are spoken: from linguistics to cultural typology // Scando-Slavica, 1985, №31. P. 117-144.
- Olmsted 1986 – Olmsted Hugh M. American Interference in the Russian Language of the Third-Wave Emigration: Preliminary Notes // Folia Slavica. 1986. Vol. 8. №1. P. 91-127.
- Polinsky 1998 – Polinsky M.S. American Russian: A new Pidgin // Московский лингвистический журнал. 1998. Т. 4. P. 78-138.
- Polinsky, in print - M.S. Russian in the USA. An Endangered Language / E. Golovko (ed.), Russian in Contact with other Languages. Amsterdam.
- Sussex 1993 – Sussex R. Slavonic Languages in emigration // The Slavonic Languages / Ed. B. Comrie and G. Corbett/ London; New-York, 1993, P. 999-1036.

Семантико-синтаксическая структура разговорного диалога

Общие положения

В основе этой работы лежит то определение разговорной речи, которое было предложено М.В. Пановым и развито в исследованиях, выполненных коллективом лингвистов под руководством Е.А. Земской. Согласно этому определению разговорной речью считается такая функциональная разновидность современного русского языка, которая реализуется в следующих экстралингвистических условиях: спонтанность осуществления коммуникации, неофициальность общения и непосредственное участие партнеров в коммуникации [PPP-73: 9-11]. Именно эти условия позволяют противопоставить разговорную речь кодифицированному литературному языку во всех его функциональных разновидностях.

Диалог – центральный вид разговорной коммуникации. Разговорные монологи почти с неизбежностью включают в свой состав диалогические компоненты. Что же касается монолога, то его правомерно, вероятно, рассматривать вообще как некоторую модификацию диалога. Именно диалог наиболее контрастно противопоставляет разговорную речь и кодифицированный литературный язык (КЛЯ), в текстах которого диалоги занимают далеко не центральное место. Не менее важно и то, что разговорные диалоги обладают такими существенными способностями, которые в кодифицированных текстах, даже таких, которые стремятся как-то воспроизвести разговорные черты – диалоги в художественной литературе – либо вообще никак не проявляются, либо проявляются неярко и непоследовательно.

Среди разговорных особенностей диалога выделяются такие, которые свойственны всем разговорным текстам, и такие, которые проявляют себя именно в диалогах. Эти особенности во многом определяются спецификой разговорного дискурса. Дискурс – это связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, психологическими и другими – факторами. Особая роль в разговорном дискурсе принадлежит прагматическим условиям, которые образуют ось *адресант – ситуация – адресат*. При построении разговорных текстов вообще и особенно

* Ширяев Евгений Николаевич - доктор филологических наук, профессор, заведующий Сектором культуры русской речи Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.

диалогических широко используется объединяющая адресанта и адресата предельно насыщенная и конкретная их апперцепционная база. Апперцепционная база – это те знания, тот опыт говорящих (в западной традиции их обычно называют фоновыми знаниями), которые так или иначе могут входить при разговорном общении в коммуникацию, прямо взаимодействуя с ее вербальной семантико-синтаксической структурой [Якубинский 1923: 9]. Различаются обще- и частично-апперцепционные базы. Обще-апперцепционная база объединяет всех или, во всяком случае, многих носителей языка. Частично-апперцепционная база – это те фоновые знания, которые объединяют только какой-то микроколлектив носителей языка (семья, сослуживцы и пр.) [Земская и др. 1981: 194-196]. Опора на апперцепционную базу осуществляется при построении любых разговорных текстов, но в диалоге эта опора проявляется особенно ярко и последовательно, поскольку диалог предполагает равное участие в коммуникации ее партнеров, и поэтому почти с неизбежностью активизируется их апперцепционная база.

Есть три существенных характеристики разговорного диалога, непосредственно связанные с его дискурсом: (1) широкое использование неформальных связей в диалогических текстах, (2) активность косвенных речевых актов в диалоге, (3) использование в диалоге ряда особых постулатов общения.

Неформальные связи в диалогических разговорных текстах

Широкая опора на апперцепционную базу говорящих позволяет в разговорном диалоге устанавливать смысловые отношения между репликами диалога на чисто семантической основе, не прибегая к их формализации грамматически или какими-то другими явно выраженными средствами. Явные показатели связи реплик, например, «встроенность» реагирующей реплики в синтаксическую структуру предшествующей реплики, ср.: *Ты есть будешь? – Буду (Я буду есть)* для разговорного диалога необязательны. Активно для установления неявной чисто смысловой связи между репликами диалога используется обще-апперцепционная база партнеров коммуникации:

А. *Завтра на лыжах идем?* Б. *Говорили до двадцати будет//* (говорили по телевидению – прогноз погоды) Обще-апперцепционная база: *при двадцати градусах мороза прогулка на лыжах нецелесообразна*. Смысл реплики Б.: *едва ли стоит идти на лыжах при прогнозируемой погоде*.

А. *Поправь мне воротничок сзади пожалуйста//* Б. *Подожди/ у меня руки грязные/ я ботинки чистила//* Обще-апперцепционная база: *грязными руками поправлять воротничок (у рубашки) не стоит*. Смысл реплики Б.: *подожди, пока я не вымою руки, и только тогда выполню твою просьбу*.

А. *Слушай/ отточил мне карандаши/ хорошо у тебя этой новой точилкой получается* // Б. *Ты знаешь/ я ее сломал* // Обще-апперцепционная база: *сломанной точилкой отточить карандаши невозможно. Смысл реплики Б.: сломал точилку и не могу отточить карандаши.*

А. *Будет дождь?* Б. *Такой ветер!* Обще-апперцепционная база: *сильный ветер обычно разгоняет тучи. Смысл реплики Б.: при таком сильном ветре дождь маловероятен.*

А. *Цены на рынке сегодня почему-то!* (цены очень высокие) Б. *Суббота/ да еще вечер*// Обще-апперцепционная база: *в субботу вечером цены всегда повышаются. В реплике Б. объясняется, почему они высокие.*

А. *А что это за енотик у тебя симпатичный на столе?* (фигурка енота) Б. *Это рождение кафедры* // Обще-апперцепционная база: *фигурки животных принято дарить. Смысл реплики Б.: это подарок на день рождения от кафедры.*

А. *Не надо заставлять ребенка делать то что он не хочет* // Б. *Не надо заставлять ребенка делать то что он не может* // Обще-апперцепционная база: *ребенка надо приучать к труду. Смысл реплики Б.: ребенка следует приучать делать то, что он может, но не хочет делать.*

А. *Слушай/ ну почему по каждому поводу надо спорить?* (почему сын-подросток спорит по каждому самому незначительному поводу) Б. *Возраст/ вот и все*// Обще-апперцепционная база: *подростки любят спорить. Смысл реплики Б.: он спорит только потому, что находится в подростковом возрасте.*

А. *Господи/ куда деваться от этой жары!* Б. *Зеленый надо*// (надо пить зеленый чай) Обще-апперцепционная база: *зеленый чай помогает переносить жару. Смысл реплики Б.: чтобы легче переносить жару, надо пить зеленый чай.*

А. *Вверху все-таки очень душно*// Б. *Дверь не закрывай*// А. *Тогда сквозняки*// Б. *Ну и что*// Обще-апперцепционная база: *при открытом окне и двери бывают сквозняки. Смысл реплики Б.: при открытой двери сквозняки снимут духоту.*

В кодифицированном литературном языке, при воспроизведении разговорного диалога может так же использоваться обще-апперцепционная база для неформальной связи реплик, но бывает это достаточно редко, ср.:

[Вера Филипповна] Я никому зарок не даю; я только знаю про себя, что не быть мне замужем; скорей же я в монастырь пойду. Об этом я подумываю иногда.

[Аполлинария Панфиловна] Не раненько ли в монастырь-то?

[Вера Филипповна] Ох, да одна только и помеха, моложава я, вот беда-то!
(А.Островский)

Обще-апперцепционная база: *молодость и монастырь мало совместимы. Смысл последней реплики Веры Филипповны: моя моложавость – препятствие для ухода в монастырь.*

Не менее активно, чем обще-апперцепционная база используется в разговорном диалоге и частно-апперцепционная база для осуществления смысловой неформальной связи между репликами диалога:

А. *Пойдем купаться*// Б. *Ветер с того берега*// Частно-апперцепционная база: *ветер с того берега наносит на пляж много водорослей, грязи, и условия для купания плохие*. Смысл реплики Б.: *не стоит из-за плохих условий идти сегодня купаться*.

А. *Ко мне может Миша приедет на машине*// Б. *Подрезай яблоню*// Частно-апперцепционная база: *Миша обычно ставит машину в саду, однако яблоня разрослась так, что поставить машину на обычное для нее место нельзя, если не подрезать яблоню*. Смысл реплики Б.: *подрезай яблоню, чтобы машина встала на свое место*.

А. *Пойдем в Большой завтра на Образцову* (известная певица) */ мне билеты обещали*// Б. *Завтра же четверг*// Частно-апперцепционная база: *Б. в четверг по вечерам читает лекции, А. об этом забыла*. Смысл реплики Б.: *я не могу пойти вечером в театр, потому что вечером у меня лекция*.

А. *Разбуди меня завтра часов в семь*// Б. *Нет/ я же завтра в бассейн*// А. *Ну ладно/ вот будешь уходить когда*// (разбуди, когда будешь уходить) Частно-апперцепционная база: *Б. уходит в бассейн в 6 часов 30 минут утра*. Смысл реплики Б.: *в семь часов меня уже не будет дома и разбудить тебя я не смогу*.

А. *Пойдешь с лекции/ купи мне розочку/ у Тани рождение*// (день рождения) Б. *Нет/ я на трамвае*// Частно-апперцепционная база: *цветами торгуют у метро, возвращение домой на трамвае не предполагает посещения места, где торгуют цветами*. Смысл реплики Б.: *я не смогу купить розу*.

А. *Пойдешь на рынок/ купи мне масла подсолнечного*// Б. *Опять скажешь не то*// Частно-апперцепционная база: *по мнению А., Б. плохо разбирается в сортах растительного масла и часто покупает не то, что хочет А.* Смысл реплики Б.: *я бы не хотел покупать масло*.

А. *Пойдем со мной/ поможешь малину собрать*// Б. *Петя же*// Частно-апперцепционная база: *к А. по делам с минуты на минуту должен приехать Петя*. Смысл реплики Б.: *не могу тебе помочь, потому что жду Петю*.

Интересен следующий пример, в котором между собой “сталкиваются” обще- и частно-апперцепционные базы:

А. *Завтра с утра/ четыре у меня*// (четыре лекции) Б. (гость семьи А.) *Завтра же суббота*// А. *Это у всех суббота/ а у нас самый рабочий день*. Обще-апперцепционная база: *в общем представлении суббота является выходным днем*. Частно-апперцепционная база: *в данной семье известно, что суббота – рабочий день*. Смысл реплики Б.: *в субботу не должно быть лекций*.

В языке художественной литературы, не говоря о других функциональных разновидностях кодифицированного литературного языка, диалоги, построенные на основе частно-апперцепционной базы, не зафиксированы.

Активность неформальных смысловых связей в разговорных диалогических текстах не означает того, что в этих текстах нет явно связанных реплик диалога. Явная связь осуществляется за счет того, что морфолого-синтаксическая структура реагирующей реплики легко реконструируется, если можно так сказать, вписывается в структуру предшествующей реплики:

А. *Ты будешь чай?* (пить чай) Б. *Буду/ не очень крепкий только//*, ср. следующее из реплики А. однозначно заданное развертывание реплики Б.: *Да/ я буду пить не очень крепкий чай//*.

А. *Мы на трамвае поедим?* Б. *Да/ на трамвае наверно лучше//* Ср.: *Да/ на трамвае наверно лучше ехать//* (чем на другом транспорте).

А. *Тебе кофе с молоком?* Б. *С молоком.* Ср.: *Мне сделать кофе с молоком//*

А. *Сделай телевизор потише//* Б. *Сейчас//* Ср.: *Сейчас сделаю телевизор* (звук) *поттише//*

А. *Я «Вести» (газета) купил//* Б. *Ну вот/ и я//* Ср.: *И я купила «Вести»//*

А. *К нам Галя наверно завтра придет//* Б. *С Верой?* А. *Не знаю/ Вера может работает//* Ср.: *Галя к нам завтра придет с Верой?*

А. *А вообще не ходить на это собрание ты можешь?* Б. *Не могу/ нет//* Ср.: *Не ходить* (не пойти) *на это собрание я не могу//*

Широко используется для явной связи реплик диалога и такой общий и хорошо изученный принцип организации любых текстов как прономинализация определенных его участков, когда осмысление местоимений с необходимостью предполагает обращение к другим участкам текста:

А. *Я всю Волгу проехал раз пять//* Б. *Да/ это интересно//* А. *Это еще и отдых лучше не бывает//*

А. *Ты в центре будешь сегодня?* Б. *И там/ и в Перово//*

А. *Зайди посмотри чего-нибудь в рыбный//* Б. *Да ничего там нет/ я был недавно//*

Такой способ связи реплик диалога хорошо исследован, в том числе и с точки зрения понятия неполного предложения [Земская и др.: 191-227], на материале отображения разговорных диалогов в языке художественной литературы, где этот способ действительно используется очень широко:

[Чацкий] ... А Гильоме, француз подбитый ветерком?
Он не женат еще?

[Софья] На ком?

[Чацкий] Хоть на какой-нибудь княгине,
Пульхерии Андревне, например?

[София] Танцмейстер? Можно ли? (А.Грибоедов)

Ср.: На ком он может быть женат? – Он может быть женат хоть на какой-нибудь княгине. – Можно ли танцмейстеру жениться на княгине!

[Городничий] Так сделайте милость, Иван Кузмич: если на случай попадетя жалоба или донесение, то без всяких рассуждений задерживайте.

[Почтмейстер] С большим удовольствием. (Н. Гоголь)

Ср.: Задержу с большим удовольствием.

[Несчастливцев] А у тебя что в узле?

[Счастливцев] Библиотека-с.

[Несчастливцев] Большая? (А. Островский)

Ср.: У меня в узле библиотека. – Она большая?

Нетрудно видеть, что такие отображающие разговорную речь диалоги в художественной литературе с точки зрения проявления явных связей между репликами мало чем отличаются от собственно разговорной речи. Однако разговорные диалоги имеют и такое средство явной связи реплик диалога, которое в языке художественной литературы почти не отражается. Это средство – повтор всей или части предшествующей реплики. Такой повтор связан с актуальным членением текста, с его тема-рематическим устройством. Повторяться может тот компонент или компоненты из предшествующей реплики, которые в последующей реплике становятся темой. Повторяющийся компонент может сохранять морфологическую форму, которую он имел в предшествующей реплике, в этом случае он обычно интонационно не выделяется среди других компонентов, но иногда может и выделяться в особую синтагму:

А. Ты в Калугу едешь? Б. В Калугу в пятницу//

А. Маленькую тарелочку какую-нибудь старую дай мне под цветок// (как поддон для цветочного горшка) Б. Тарелочку хорошо/ поищу сейчас//

А. Я там с Ирккой встретила/ сто лет не виделась// Б. С Ирккой интересно// Что она/ в школе по-прежнему// А. В школе нет// Она в коммерции какой-то уже лет пять//

А. Чистые у нас есть носовые платки? Б. Чистые да/ я вчера погладила/ там на полке//

А. Ты сегодня поздно приедешь? Б. Сегодня поздно почему? Нет сегодня совсем не поздно//

А. На книжную ярмарку давай ходим? Б. На книжную ярмарку/ давай//

А. На Лосинку (район) надо ездить (за продуктами)/ там все дешевле// Б. Все дешевле/ это хорошо//

Если повторяемый компонент является существительным или прилагательным, то он может дублироваться в именительном падеже, и чаще всего он в таком случае выделяется в синтагму:

А. Купи хлеба/ с работы пойдешь// Б. Хлеб/ ладно//

А. На поезде я туда больше не поеду// Б. Поезд да/ утомительно/ целый день (ехать) очень утомительно//

А. Купи пачку какой-нибудь недорогой бумаги// Б. Недорогая/ это какая? А. Ну это/ не для компьютеров//

А. А у вас по-прежнему молоком с машины торгуют? Б. Машина/ да/ каждый день// Часов в десять они приезжают//

Повторяться может вся или значительная часть предшествующей реплики с переориентацией соответствующих форм, прежде всего форм лица, на адресата:

А. Тебе на трамвае удобно ездить? Б. Удобно мне на трамвае ездить/ да все равно// И на метро хорошо//

А. Ты с нами в субботу за грибами не поедешь? Б. С вами в субботу за грибами поехать/ ну потом я решу//

А. Слушай/ на рынке грибов/ полно// Б. На рынке грибов полно/ да/ дождички вот эти/ конечно// (прошедшие дожди способствовали росту грибов)

А. Послезавтра он должен позвонить/ когда придет// Б. Послезавтра он должен позвонить/ а почему послезавтра? А. Ну так договорились/ ему удобно//

А. Галя обещала зайти// Б. Галя обещала зайти/ хорошо// А когда? А. А когда/ она позвонит/ я думаю//

И, наконец, должен быть отмечен еще один достаточно редкий способ повтора как связи реплик диалога. Его суть в том, что предшествующая реплика воспроизводится в последующей как своеобразная точная цитата, без каких-либо изменений, без адаптации к речи говорящего. Обычно такой повтор бывает эмоционально окрашен, он несет в себе элемент удивления, непонимания по поводу содержания цитируемой реплики, и иногда даже звучит как «передразнивание»:

А. Я не пойду завтра на лекции// Б. «Я не пойду завтра на лекции»/ это как? А. Не пойду и все//

А. Почисти картошку// Б. «Почисти картошку»/ да ее вообще можно не чистить/ она же молодая/ помыть можно только//

А. (в машине) Ну и куда мне дальше ехать? Б. (как бы передразнивая А.) «Ну и куда мне дальше ехать»// Можно подумать что я знаю//

А. Двойственное впечатление эта работа оставляет// Б. «Двойственное впечатление эта работа оставляет»/ мягко сказано// У меня она вообще никакого впечатления не оставляет// А. Нет/ ну материал! Ничего//

Косвенные высказывания в разговорных диалогах

Дж. Р. Серль сформулировал (в виде гипотезы) следующее общее определение понятия косвенного речевого акта: «...В косвенных речевых актах

говорящий передает слушающему большее содержание, чем то, которое он реально сообщает, и он делает это, опираясь на общие фоновые знания, как языковые, так и неязыковые, а также на общие особенности разумного рассуждения, подразумеваемые им у слушающего» [Серль 1986: 197]. Это определение, кроме всего прочего, хорошо объясняет, почему косвенные речевые акты активны в разговорном диалоге, составляя его важную характерологическую черту. Как уже неоднократно отмечалось, в разговорной коммуникации широко используются фоновые знания – обще- и частно-аппецепционная база говорящих. А именно они позволяют использовать косвенное выражение смысла.

Можно различать, по-видимому, два вида косвенных речевых актов.

(1) Косвенный речевой акт может основываться на некотором узусе, согласно которому в определенных ситуациях следует употреблять косвенное высказывание с более или менее фиксированным устойчивым структурно-семантическим устройством. Типичным и хорошо известным примером таких косвенных речевых актов являются подчеркнуто вежливые формы, сформулированные как вопросительные, а не побудительные высказывания: *Вас не затруднит позвонить мне завтра?*; *Не согласитесь ли Вы прочесть мою статью?* Подобного рода вежливые просьбы употребляются в сугубо официальной ситуации и поэтому должны быть отнесены к кодифицированному языку. В разговорной речи подобные косвенные речевые акты используются намного шире и с выражением вежливости они не связаны. Напротив: при косвенных речевых актах может выражаться побуждение, вызванное каким-то неудовольствием адресанта (см. об этом [Земская 1994] и [Земская 1997]), и это неудовольствие передается именно косвенным речевым актом:

А. *Почему опять кран не закрыл как следует?* Б. *Закрою/ закрою//* Высказывание А. можно было бы переформулировать так: *Закрой как следует кран, сколько раз тебе об этом надо говорить.*

А. *Зачем ты посадил так много редьки? Опять ведь выкинешь весной//* Б. *Ну не знаю/ посадил и посадил//* Высказывание А. означает: *не надо сажать много редьки.*

А. *Разве можно на ночь столько кофе лупить? (пить)* Б. *Да ничего//* Высказывание А. означает: *не пей так много кофе на ночь.*

Следует отметить, что в осмыслении рассмотренных высказываний играют свою роль не только языковые привычки, узус носителей языка, но и семантика этих высказываний. Понимать данные высказывания в прямом значении и давать на них прямые ответы противоестественно с точки зрения здравого смысла. Прямой ответ на вопрос *Не могли ли бы Вы передать мне солонку?* – *Да, мог бы* без самого акта передачи выглядел бы издевательским. Обращенный к ребенку вопрос матери *Зачем ты лезешь в лужу?* Явно не предполагает прямого ответа. Впрочем, на высказывание адресанта, задуманное явно в косвенном обвинительном плане может последовать прямой оправдательный вполне корректный ответ:

А. *Почему ты до сих пор не сел за уроки? (садись за уроки)* Б. *А нам ничего не задали//*

(2) Другой тип косвенного речевого акта непосредственно опирается на «прямую» семантику высказывания. Именно из этой конкретной семантики как естественное следствие извлекается косвенный смысл. Такие косвенные высказывания представлены в разговорной речи очень широко:

А. *Замок в двери заедает*// (- надо починить замок) Б. *Нет/ я не сумею/ надо вызывать*// (вызывать мастера).

А. *Хлеба нет* (- сходи за хлебом) Б. *Ну ладно/ сейчас*//

А. *Завтра моя аспирантка из Орехова* (город Орехово-Зуево) *приезжает* (- надо, как это делается обычно, накормить ее) Б. *А/ ну хорошо/ пообедает вместе с нами*//

А. (к уходящему Б.) *Девять всего на нашем* (на нашем уличном термометре) (- плюс девять градусов на улице – это достаточно холодно, и тебе следовало бы одеться потеплее)// Б. *Да ничего/ в метро/ близко/ не замерзну*//

А. *Я сегодня буду футбол смотреть поздно* (смотреть по телевизору)// (- поэтому ложись спать в другой комнате) Б. *Может и я досижу*// (досижу до конца матча)

А. *Очень дует*// (- желательно закрыть форточку) Б. *Ладно/ я закрою*//

А. *Я есть хочу*// (- желательно что-то приготовить) Б. *Я колбаски сейчас пожарю/ будешь?* А. *Буду/ буду*//

Поскольку косвенный характер подобного типа выражений не предполагает в отличие от косвенного характера выражений первого типа устойчивости структуры, их целесообразно называть не косвенными речевыми актами, а просто косвенными высказываниями.

В диалогах с косвенными высказываниями обычно переосмысливается их модальность. Высказывания, оформленные соответствующими синтаксическими средствами как повествовательные (информативные) или вопросительные осмысляются вопреки синтаксическому оформлению в иной модальности, что обычно подтверждается в диалогическом тексте соответствующей реакцией адресата. Например,

формальный вопрос – реальное побуждение:

А. *У нас за август заплачено за квартиру?* (- заплати за квартиру) Б. *Ладно/ ладно/ Завтра я постараюсь* (заплатить)/ *народу там сейчас много*// (конец срока, когда положено платить за квартиру)

А. *Почему ты Катю не позовешь к нам?* (- позови Катю) Б. *Да мне надоело ее звать/ все ей некогда*// *Ну ладно позвоню завтра*//

А. *Поливал цветы?* Б. *Сейчас/ сейчас полью*//

формальная информация (повествование) – реальное побуждение:

А. *Все / окончательно сломался пылесос//* (- почини пылесос) Б. *Нет / это я уже не могу / надо нести//* (в мастерскую)

А. *После пятого очень большие очереди в кассу за квартиру//* (очереди по оплате коммунальных платежей в сберкассе) (- надо до пятого заплатить за квартиру) Б. *Ну ладно заполняй/ завтра//* (заполняй счета, завтра пойду платить)

А. *Окна смотри какие грязные//* (надо вымыть окна) Б. *Да/ надо пока тепло/ на зиму//* (до зимы вымыть окна)

формальный вопрос – реальное утверждение. Подобного рода косвенные высказывания хорошо известны в стилистике под названием риторического вопроса:

Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался? (А.Пушкин)
(все проклинали, все бранивались)

[Чацкий] И в женах, дочерях – к мундиру та же страсть!

Я сам к нему давно ль от нежности отрекся?! (А. Грибоедов)

Обычно риторический вопрос несет в текстах КЛЯ сильную экспрессию и потому пунктуационно оформляется и знаком вопроса и восклицательным знаком одновременно. В разговорной речи риторический вопрос может быть лишен экспрессии. Он вполне обычен и активен в роли реагирующей реплики диалога с общим значением <этого не следует делать>:

А. *Я поеду к Алле / помочь может что //* Б. *Зачем тебе ехать? Там и без тебя помощников хватает //* (- тебе нет необходимости ехать к Алле)

А. *Пойдем погуляем //* Б. *Куда погуляем? Посмотри в окно / тучица / черным-черно все //* (- не пойдем гулять)

А. *Слушай / а может и мне на права сдать //* (на права вождения автомашиной) Б. *Ну куда тебе сдать? Да и зачем?* (- тебе на водительские права не сдать и сдавать незачем)

А. *Петь / я куплю эту кастрюльку?* Б. *Зачем она тебе?* (- не надо покупать эту кастрюльку) А. *Ну красивая //* Б. *Только что //*

А. *Давай и мы будем в теннис играть?* Б. *Куда нам в теннис? Ты знаешь сколько стоит аренда корта?* (- нам не удастся играть в теннис, потому что аренда корта стоит очень дорого)

Активность косвенных высказываний в разговорном диалоге настолько велика, что кажутся возможными два пути в исследовании таких диалогов: (1) от реального значения реплик диалога, задающих его жанр, – ко всем способам, прямым и косвенным, выражения этого значения и (2) от синтаксической формы реплик диалога – ко всем тем реальным значениям в прямом и косвенном выражении с их распределением по диалогическим жанрам.

Названные характерные признаки разговорного диалога – чисто смысловые связи между репликами диалога и косвенные речевые акты, в том числе и косвенные высказывания – находятся между собой в тесном взаимодействии. Именно косвенное выражение смысла, как в инициальной, так и в реагирующей реплике обуславливает во многих случаях чисто смысловую неформальную связь реплик:

А. *Комары меня замучили* // Б. *Сетку надо* // (- надо поставить сетку на окно, чтобы защититься от комаров)

А. *Картошка кончилась* // (- надо купить картошки) Б. *Ладно/ завтра*// (завтра куплю картошки)

А. *Жарко очень* // (- надо открыть окно) Б. *Ну открывай/ шум только тогда*// (открывай окно, хотя тогда будет шумно, потому что окно выходит на улицу с большим движением транспорта) А. *Ну что делать* //

А. *Ты знаешь / завтра утром уже минус пять обещали* // (- необходимо слить воду из машины) Б. *Да / да / сейчас пойду* // (сливать воду)

А. *Слушай у меня там сверху* (комната на даче) *даже руки мерзнут* // (- надо включить газовое отопление) Б. *Ну хорошо / я открою* // (газ)

Неверно было бы, однако, считать, что любое косвенное выражение смысла в репликах диалога влечет за собой их неформальную связь. Возможны диалоги с косвенными высказываниями, но так или иначе явно выраженной связью реплик диалога:

А. *Ты на конференцию эту в Нижний поедешь?* Б. *Куда мне с моей работой ехать?* (из-за работы поехать не смогу) Лексико-семантическая связь реплик очевидна: *поедешь в Нижний (куда) – куда мне ехать*.

А. *Ты ко мне завтра зайдешь?* Б. *Когда мне заходить* (- нет времени заходить) Формальная связь идет по линии: *завтра (когда) зайдешь – когда заходить*.

А. *Книга смотри совсем рассыпалась* // (- надо книгу привести в порядок) Б. *Книгу скотчем можно попробовать* // (связь книга – книгу)

Кроме того, явная связь реплик при косвенном выражении смысла в одной из них может быть осуществлена за счет такого уникального способа, как полного или частичного повтора инициальной реплики в последующей:

А. *Телевизор у нас совсем испортился* // (- надо починить) Б. *Телевизор испортился / башня это сгорела // Ничего не сделаешь // И не крути / только собьешь все программы // Об этом специально говорили*//

А. *Ручки* (газовой плиты) *плохо вертятся* // (- надо что-то сделать) Б. *Ручки плохо вертятся // Ну надо разобрать почистить там все* //

А. *Часы встали на кухне* // (- в чем дело?) Б. *Часы встали // Батарейка* // (села батарейка)

Итак, косвенное выражение смысла в репликах разговорного диалога способствует активности употребления смысловых неформальных связей между репликами диалога, но тем не менее косвенное выражение смысла и неформальные связи между репликами диалога не всегда совпадают и, следовательно, это разные характеристики диалога.

Постулаты разговорного диалогического общения

Анализ обозначенной особенности диалогического общения хотелось бы начать с такого материала, полученного от одних и тех же информантов А. и Б.:

А. *Пойдем завтра в баню?* Б. *Зачем? Я купаюсь - плаваю по два раза в день// вот похолодает/ баня-парилка новое развлечение/ А сразу/ это уж слишком//*

А. *Давай сегодня грибами обойдемся//* (на обед) Б. *Самое лучшее в такую жару// Овощи вот еще// О мясе и думать противно//*

А. *Я поработаю еще немного/ потом купаться//* Б. *А к вечеру даже лучше купаться//*

А. *Нарви салата к обеду//* (в огороде) Б. *Давай/ хорошо// Прямо один его можно// Только надо мыть его как следует/ он весь в земле после этого ливня//*

А. *Выключи там газ/ картошка у меня//* Б. *Да/ да/ сейчас/ хорошо//*

Отличительной особенностью данных диалогов является то, что реагирующая реплика без особого ущерба для целей коммуникации могла бы содержать только отрицательные или утвердительные слова-высказывания *Нет* и *Да* или их эквиваленты, ср.: *Пойдем завтра в баню – Нет (не хочу, не пойду); Давай сегодня грибами обойдемся – Да (давай, конечно, согласен)* и т.д. В последнем из приведенных диалогов, побудительном, можно было бы вообще обойтись без реагирующей реплики Б., а просто осуществить требуемое действие – выключить газ. Однако наблюдения за такими – без лишних слов – диалогами показывают, что в реальной разговорной речи они весьма редки. Более того, слишком краткая или бессловесная реакция может привести к коммуникативной неудаче. Вот характерный пример:

А. *Петя/ выключи чайник/ вскипел наверно//* Б. (Петя) не отвечает. А. уверена, что Б. Ее слышит и ее просьба будет выполнена, тем не менее следует реплика А. *Ты что/ не слышишь что ли?* И Б. Вполне понимает, что он должен был бы не просто выполнить просьбу А., но и что-то сказать, а потому следует его «оправдательная» реплика *Да/ да/ сейчас/ слышу/ прости// Тут такое передают/ Старовойтову* (известный политик-демократ) *в Петербурге убили//* Приведенные примеры позволяют предположить, что особую роль для понимания семантико-синтаксической структуры многих разговорных диалогов играет то, что можно назвать постулатами разговорного диалогического общения. Понятие постулата общения было введено в лингвофилософский обиход Г.П. Грайсом. Напомним его основные положения на этот счет. Все предложенные Г.П. Грайсом постулаты подчинены общему Принципу Кооперации. Они разделены на четыре категории:

I. *Количества*. 1) «Твое высказывание должно содержать не меньше информации, чем требуется (для выполнения текущих целей диалога)». 2) «Такое высказывание не должно содержать больше информации, чем требуется».

II. *Качества*. 1) «Не говори того, что бы считалось ложным». 2) «Не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований».

III. *Отношения*. «Не отклоняйся от темы».

IV. *Способа*. 1) «Избегай непонятных выражений». 2) «Избегай неоднозначности». 3) «Будь краток (избегай ненужного многословия)». 4) «Будь организован» [Грайс 1985: 222-223].

Важное и интересное развитие идеи Г.П. Грайса получили в работе Д. Гордона и Дж. Лакоффа «Постулаты речевого общения». Рассматриваются два типа постулатов, которые названы условиями искренности и условиями мотивированности. Для нас особый интерес представляют постулаты мотивированности, суть которых состоит в следующем:

- a) «Просьба мотивирована, если только говорящий имеет основание хотеть ее выполнения;
- b) Просьба мотивирована, если только говорящий имеет основания считать, что слушающий может ее выполнить;
- c) Просьба мотивирована, если только говорящий имеет основания считать, что слушающий будет склонен ее выполнить;
- d) Просьба мотивирована, если только говорящий имеет основание считать, что без этой просьбы не сделает того же самого действия;
- e) Утверждение мотивировано, если только говорящий имеет основание считать его истинным;
- f) Обещание мотивировано, если только у говорящего есть основания быть намеренным его выполнить» [Гордон, Лакофф 1985: 282].

Д. Гордон и Дж. Лакофф обосновали необходимость анализа постулатов речевого общения для того, чтобы, «во-первых, наметить пути формализации принципов речевого общения и включить их в теорию порождающей семантики; во-вторых, показать, что существуют правила грамматики, определяющие дистрибуцию морфем в предложении, применение которых зависит от этих принципов» [Гордон, Лакофф 1985: 276]. Представляется, что внимание к постулатам речевого общения многое дает и для понимания структуры разговорного диалога. Дело в следующем.

И Г.П. Грайс, и Д. Гордон с Дж. Лакоффы рассматривают постулаты как некоторые импликатуры, как неявно представленный смысл. Действительно постулаты Г.П. Грайса не могут эксплицироваться. Они, как правило, представлены в форме запретов («не говори», «избегай»). Постулаты же Д. Гордона и Дж. Лакоффа можно вербализовать и ввести в текст. И более того. Для разговорного диалога их экспликация не только возможна, но и весьма желательна. Так, например, постулат «просьба мотивирована, если только говорящий имеет основание хотеть ее выполнения» явным образом представлена в диалоге:

А. *Купи хлеба/ на завтра утро не хватит*// Б. *Ладно/ладно*// Часть реплики А. *на завтра утро не хватит* (хлеба) – это именно постулат, показывающий основание хотеть выполнения просьбы.

Экплицированные постулаты – характернейшая черта разговорного диалога.

Поэтому их анализ и в семантическом, и в собственно языковом плане (способы выражения, способы включения в диалогический текст) – необходимый компонент изучения разговорного диалога.

Постулаты разговорного диалога имеют ярко выраженный дискурсный характер. Они непосредственно ориентированы на конкретных адресата и адресанта с их частично-апперцепционной базой. Эти постулаты призваны показать, что вовлечение в данный конкретный диалог партнеров коммуникации не является случайным, что поставленные в диалоге коммуникативные цели могут быть достигнуты. В общем инвариантном виде характер постулатов и адресанта и адресата может быть определен так.

Адресант выдвигает такие постулаты, ориентированные на адресата, которые показывают уместность, в широком смысле этого слова, поставленных целей. Адресат же, в свою очередь, выдвигает постулаты готовности или, напротив, неготовности осуществить задуманные цели:

А. Поедем сегодня на выставку (ВВЦ в Москве) погуляем / ты давно хотела // Б. Давай попозже только / не так жарко // (когда будет не так жарко) Постулат А. *ты давно хотела* призван показать, что предложение А. *поедем сегодня на выставку* делается не просто так, а отвечает давним желаниям Б.

А. Зайди вечером (в магазин) / купи на утро чего-нибудь (из еды) / нет у нас ничего // *Б. Я поздно (поеду домой) / закрыто уже все (все магазины) наверно будет //* Часть Реплики А. *нет у нас ничего* – это постулат, обосновывающий просьбу. Реплика Б. – это постулат, объясняющий, почему Б. не может выполнить просьбу А.: Б. будет возвращаться домой поздно, когда магазины будут закрыты. И именно из этого постулата следует отрицательная реакция на побуждение. Если бы был дан простой отказ от выполнения просьбы типа *Нет / не куплю //*, то это повело бы к коммуникативной неудаче: отказ без объяснения его причин обидел бы А.

Инвариантное содержание постулатов адресанта и адресата в диалоге имеет многочисленные варианты, напрямую зависящие от конкретных целей коммуникации. Проиллюстрируем это такими примерами:

– при вопросе адресант, как правило, считает нужным выдвинуть постулат со значением < я спрашиваю тебя, потому что знаю (предполагаю), что ты можешь (имеешь основания) ответить на мой вопрос>:

А. Сколько сейчас роза стоит / ты ведь недавно покупал // *Б. Смотря какая роза / по-разному //* *Такая приличная более менее/ пятьдесят/ не меньше //* Постулат А.: *ты недавно покупал розы, а потому знаешь их цену и можешь ответить на мой вопрос.*

А. Слушай / а бегония свет любит / ты вчера хотела посмотреть в этой книжке по цветам у мамы // *Б. Ну солнца ей кажется поменьше нужно //* *А вообще-то чего нам беспокоиться/ она у нас хорошо растет и цветет вон как //* Постулат А.: *ты можешь ответить на мой вопрос, потому что могла найти ответ в специальной книжке.*

А. У тебя темное есть что-нибудь грязное (белье)? Давай у меня не хватает // Б. А / сейчас / носки // Постулат А.: не хватает моего (А.) белья для полной загрузки стиральной машины, и потому я спрашиваю о твоём (Б.) белье.

– при побуждении-просьбе адресант формулирует обычно постулат о том, что адресат сможет или даже захочет выполнить просьбу:

А. (к Б., отправляющемуся на рынок) И рыбу посмотри / все равно на базар идешь // Б. Посмотрю / посмотрю // Ладно // Постулат А.: поскольку ты все равно будешь на рынке, то тебе нетрудно выполнить мою просьбу – посмотреть, какой рыбой торгуют.

А. В люстре лампочку замени / сгорела / ты достаемшь // Б. А они (лампочки) есть? А. Есть/ есть/ я много тогда купила// Постулат А.: я прошу тебя о замене лампочки в люстре, потому что ты можешь это сделать – достать до люстры.

А. Поставь Мишке (ребенок) горчичники/ кашляет он очень// У тебя это хорошо получается// Б. Ну на ночь поставлю// Постулат А.: я прошу тебя поставить горчичники, потому что у тебя это хорошо получается.

– при отказе адресата выполнить какую-то просьбу адресанта почти обязательным является постулат адресата, объясняющий причину отказа? Он необходим для того, чтобы отказ не обидел адресанта:

А. Сходи за картошкой// Б. Нет/ все/ у меня уже ни минуты/ я и так уже опаздываю/ у меня же сегодня первая (лекция)// А. А/ я забыла// Постулат Б.: выполнить твою просьбу не могу, потому что нет времени. Характерно, что А. своей последней репликой как бы «принимает объяснения» Б.

А. Принеси мне что-нибудь почитать из журналов последних// Б. Я не иду сегодня в институт// Постулат Б.: я не смогу выполнить твою просьбу, потому что не иду сегодня в институт, где в библиотеке беру книги.

А. Приверни мне эту вешалку в ванну на дверь с той стороны// Б. Потом/ у меня отвертка сломалась/ надо купить обязательно// Постулат Б.: сейчас я выполнить твою просьбу не могу, потому что для этого нет соответствующего инструмента (отвертки).

Поскольку постулаты диалога непосредственно связаны с коммуникативными потребностями конкретных адресанта и адресата, а это в свою очередь важнейшая составляющая дискурса, такие постулаты целесообразно назвать дискурсными постулатами, признав, что эти постулаты могут действовать наряду и независимо от общих постулатов Г.П. Грайса.

Для того, чтобы еще раз показать большую роль дискурсных постулатов в диалогическом общении, обратимся к такому эпизоду из широко известной повести А. Линдгрена «Карлсон, который живет на крыше, проказничает опять» (М., 1975, пер. со шведского Л.З. Лунгина). Этот эпизод вполне мог бы стать эпиграфом ко всей части о дискурсных постулатах, не будь он столь развернут:

«Фрекен Бок окинула Карлсона безумным взглядом, а потом обратилась к Малышу:

- Разве твоя мама предупредила меня, что этот мальчик будет у нас обедать? Неужели она так распорядилась?
- Малыш постарался ответить как можно более уклончиво, но дружелюбно:
- Во всяком случае мама считает... что Карлсон...
- Отвечай, да или нет, - прервала его фрекен Бок. Твоя мама сказала, что Карлсон должен у нас обедать?
- Во всяком случае, она хотела... снова попытался уйти от прямого ответа Малыш, но фрекен Бок прервала его жестким окриком:
- Я сказала, отвечай – да или нет! **На простой вопрос всегда можно ответить «да» или «нет», по-моему это не трудно** (выделено мной. – Е.Ш.).

- Представь себе трудно, вмешался Карлсон. Я задам тебе простой вопрос, и ты сама в этом убедишься. Вот слушай! Ты перестала пить коньяк по утрам, отвечай – да или нет?
 - У фрекен Бок перехватило дыхание, казалось, она вот-вот упадет без чувств. Она хотела что-то сказать, но не могла вымолвить ни слова.
 - Нет! – закричала она совсем потеряв голову.
 - Малыш покраснел и подхватил, чтобы ее поддержать:
 - Нет, нет, не перестала!
 - Жаль, жаль, - сказал Карлсон. – Пьянство к добру не приводит.
- Силы окончательно покинули фрекен Бок, и она в изнеможении опустила на стул. Но Малыш нашел наконец нужный ответ.
- Она не переставала пить, потому что никогда не начинала, понимаешь? – сказал он, обращаясь к Карлсону.
 - Я-то понимаю, - сказал Карлсон и добавил, повернувшись к фрекен Бок: - Глупая ты, теперь сама убедилась, **что не всегда можно ответить «да» или «нет»...**” (выделено мной – Е.Ш.)

Литература

- Гордон, Лакофф 1985 – Д. Гордон Д, Дж. Лакофф. Постулаты речевого общения. Пер. с англ. // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. Лингвистическая прагматика. М., 1985.
- Грайс 1994 – Г.П. Грайс. – Логика и речевое общение. Пер. с англ. // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. Лингвистическая прагматика. М., 1985.
- Земская 1994 – Е.А. Земская. – Категория вежливости в контексте речевых действий // Логический анализ языка. Язык речевых действий. М., 1994.
- Земская 1997 – Е.А. Земская. Категория вежливости: общие вопросы – национально-культурная специфика русского языка // Zeitschrift für slavische Philologie, 1997, Heft 2.
- Земская и др. 1981 – Е.А. Земская. и др. Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981.
- PPP-73 – Русская разговорная речь. М., 1973.
- Серль 1986 – Дж. Р. Серль. – Косвенные речевые акты. Пер. с англ. // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. Теория речевых актов. М., 1986.
- Якубинский 1923 – Л.П. Якубинский. – О диалогической речи // Русская речь. 1923. №1.

Глагольная рифма и синтаксис стихотворной строки¹

1. Стих состоит из слов. Подбор и расположение слов в стихе определяются тремя факторами, которых нет в нестихотворной речи, - метром, ритмом и рифмой. Метр (в том виде, в каком он существует в русском силлабо-тоническом стихосложении, в частности, в ямбе) – это значит, что все ударения неодносложных слов (фонологические, смыслоразличительные) должны приходиться только на определенные слоги в строке, называемые сильными (икты), а на последний из них – обязательно. Ритм (в том виде, в каком он выявлен в большинстве исследованных стихосложений мира) – это значит, что более длинные слова оттягиваются к концу стихотворной строки: так называемый «принцип центробежности» (термин, предложенный исследователями финской народной силлабики). Для русского ямба и хорей это значит, что на конце строки (на предпоследнем икте, потому что последний всегда ударен) оказывается больше всего пропусков ударений, и затем такие слабоударные икты чередуются через один от конца к началу, все менее заметно: так называемый «закон регрессивной акцентной диссимиляции» (термин К.Ф. Тарановского). Наконец, рифма – это значит, что в стихах, концы которых скреплены рифмующими созвучиями, к этим концам тяготеют такие слова, которые имеют в языке как можно больше созвучных окончаний.

Ритм и рифма определяют, таким образом, формальные тенденции подбора слов на определенных местах строки: «более длинные», «имеющие больше созвучных окончаний». Но это уже частично определяет и их грамматические характеристики.

«Длинные слова» для русского языка – это прежде всего слова «пиррихиеобразующие» (термин М.А. Красноперовой), т. е. имеющие в начале и / или конце два или более безударных слогов: такое слово, попадая в ямб или хорей, своим безударным краем неминуемо делает безударным соседний икт. Такими длинными словами в русском языке являются преимущественно три главные части речи: существительные, прилагательные, глаголы.

*Гаспаров Михаил Леонович – академик РАН, главный научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.

Скулачева Татьяна Владимировна - кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.

¹ Работа выполнена при поддержке исследовательского гранта РФФИ 99-06-80271а.

При этом в существительных длинные безударные зачины слов и длинные безударные окончания встречаются одинаково часто; в прилагательных преобладают длинные окончания (за счет суффиксов: *красный, красная, красненькая*), а в глаголах длинные зачины (за счет приставок: *бежать, побежать, перебежать, не перебежать*) [Гаспаров 1984]. Это значит, например следующее. При пропуске ударения на икте в ямбе или хорее возникает 3-сложный междуударный интервал. В зависимости от положения словораздела он может разделяться между концом предыдущего и началом следующего слова следующим образом: 0+3, 1+2, 2+1, 3+0 слогов. В первых двух случаях преобладает длинный зачин второго слова; оно, следовательно, стремится быть глаголом, а стало быть, иметь своим предыдущим словом существительное (в качестве дополнения, обстоятельства, подлежащего) или наречие: *И чудеса **подозревал**, Младое сердце **искушал**, Старушке Ленский **отвечал**, Владимир сухо **отвечал***. Во вторых двух случаях преобладает длинное окончание первого слова; оно, следовательно, стремится быть прилагательным, а стало быть, иметь последующим словом определяемое существительное: *Любви **приманчивый фиал**, Я сквозь **магический кристалл**, Перекрахмаленный **нахал***. Так между прилагательным и глаголом идет борьба за господство над междуударным интервалом, а тем самым за синтаксическую конструкцию этого места в строке.

«Имеющие больше созвучных окончаний» слова – это те, окончания которых встречаются в парадигмах словоизменения сколь можно более многих частей речи. Так, по имеющимся подсчетам [Гаспаров 1999], самая частая мужская рифма в классической русской поэзии – на -ОЙ. Это потому, что такое окончание имеют отдельные существительные мужского рода (*бой, герой, часовой*), все окситональные существительные женского рода в твор. пад. ед. числа (*мглой, волной, головой*), все прилагательные на -ОЙ мужского рода в имен. падеже, а женского рода в ряде косвенных падежей (*родной дом, родной земли, родной земле, родной землей*), местоимения типа *мой, мной*, отдельные глаголы в повелительной форме (*стой, открой*) и наречия (*домой, порой*). Из этого перечня видно, что господствующими в этой рифме будут прилагательные (*дом родной, земли родной* и т. д. с инверсиями) и в меньшей степени существительные (*девственный покой, неверный часовой*, без инверсий), а глаголы (*стой, открой*) будут малозначительны. Соответственно окончания строк с такими рифмами будут заняты в первую очередь определительными конструкциями. Так каждое рифмическое гнездо будет притягивать в разных пропорциях те или иные части речи; подробности об этом – далее.

Роль частей речи разного ритмического строения в стихотворной строке уже отчасти исследована [Гаспаров, Скулачева 1989; Гаспаров 1984, 1999а]. Роль частей речи разного рифмующегося окончания почти не изучена. Есть лишь одна статья, посвященная рифмам на

-ОЙ, приюту прилагательных [Гаспаров 1999]. Теперь мы попробуем рассмотреть рифмы на -АЛ, приют глаголов.

2. В пушкинском «Евгении Онегине» (не считая писем Татьяны и Онегина и «Путешествия»), 2886 мужских рифмослов. Они составляют 159 рифмических гнезд. Мы перечислим их от самых емких по числу строк к самым скудным. Все рифмы – парные, поэтому число рифмослов в каждом гнезде должно быть четным. Если этого нет, значит рифма была неточной, и слова рифмической пары разошлись по разным гнездам («на стекле – О да Е», «колеи – земли», «плоды – мечты», «тебя – меня»).

190 строк: -ОЙ;	11: -ИСЬ, -НЯ;
182: -ЕЙ;	10: -АВ, -ЕЛЬ, -ИЦ, -КИ, -МА, -РИ, -ТЯ, -ШИ;
116: -НА;	9: -ЛИ, -НИ;
114: -ЕТ;	8: -ГА, -АЙ, -АНТ, -МЫ, -РЫ, -ТИ, -Ё, -ЛО, -ОЛ;
110: -АЛ;	7: -ЛЕ;
89: -ИТ, -ОМ;	6: -ЦА, -ША, -РЕ, -ЕТЬ, -ЕС, -ЕСТ, -ЕРЬ, -ЕХ, -ВИ, -СЫ, -ХИ, -ЦЫ, -ОЛК, -ЖУ, -НУ, -ЦУ;
88: -ОН;	4: -СА, -ХА, -АНЬ, -БЕ, -МЕ, -СЕ, -ЩЕ, -ЕЧ, -И, -СО, -ЦО, -ОП, -ОШ, -ОС, -ОСЬ, -ОЧ, -ГУ, -ЛЮ, -УЛ, -УХ;
66: -ОВ;	3: -ИС;
63: -Я;	2: -ЗА, -ЛЯ, -СЯ, -ЧА, -АСТЬ, -АРЬ, -ВЕ, -ДЕ, -ЖЕ, -ТЕ, -ЦЕ, -ЕСЬ, -ЕЖД, -БЫ, -ЖИ, -ДИ, -МИ, -СИ, -ИЗМ, -ИСТ, -КО, -РО, -ТО, -ЧО, -ОСТЬ, -ОЛЬ, -ВУ, -ДУ, -КУ, -ЛУ, -РУ, -ЦУ, -ШУ, -УП;
60: -ИЛ;	
58: -АТЬ; -ОТ;	
56: -ОК;	
46: -ОР;	
44: -АМ, -АТ;	
42: -ЛА, -НЕ, -НЫ, -ВО;	
40: -АС;	
38: -ИХ, -НО;	
36: -ИМ, -РА;	
32: -АХ, -УТЬ;	
31: -ТЫ;	
30: -ДА;	
26: -КА, -ЕЦ;	
24: -ЕЛ, -ЕНЬ, -ОВЬ, -УК;	
20: -ИН;	
18: -АН, -ИК, -ИТЬ, -УТ;	
16: -ЕМ, -ИВ, -КЕ;	
15: -БЯ;	

14: -АСЬ, -ВЫ, -ЕК, -Ю, -МУ; -УВ, -УШ, -УСЬ, -УСТЬ, -УЙ;
12: -ВА, -АК, -АЛЬ, -АР, -ЕВ, -ЕСТЬ, 1: -Е, -ДЫ.
-ИР, -УМ;

Средний объем гнезда – 18 строк. На самом же деле материал распределен гораздо менее ровно. На 8 верхних гнезд (0,6% всех гнезд) приходится 978 строк (34% всего текста). Эти 8 гнезд, составляющих основу пушкинской рифмовки, мы и взяли для рассмотрения. Материал по ним был дополнен материалом из писанных 4-ст. ямбом поэм Пушкина и из его послелицейской лирики (кроме эпиграмматических мелочей и незавершенных набросков). Объем его в большинстве гнезд увеличился в 2-4 раза и лишь в гнезде -НА только в 1,5 раза.

Вот типы словоформ, составляющих эти 8 верхних гнезд. Мы обозначали их только примерами. Так, в «Евгении Онегине» односложные рифмы на –АЛ – это имен. пад. слова «бал», род. пад. множ. чис. «зал, скал», прош. время глаголов «ждал, знал, стал». Двухсложные рифмы на –АЛ: имен.пад. «журнал, кинжал, кристалл, нахал, фиал», род. пад. множ. чис. «похвал», прош. время глаголов «бежал, бывал, вверял, видал, внимал, держал, желал, живал, жужжал, зевал, избрал, лежал, ломал, молчал, отстал, отъял, писал, попал, послал, пылал, ронял, сказал, узнал, читал». Трехсложные: имен. пад. «генерал, идеал, капитал, мадригал», прош. время глаголов «возбуждал, волновал, воспевал, забывал, занимал, запылал...» (и еще 26 разных глаголов). Четырехсложные: прош. время глаголов «переплывал, подозревал». Мы пишем только: «1-сл.: *бал, скал, знал*; 2-сл.: *фиал, похвал, внимал*; 3-сл.: *идеал, воспевал*; 4-сл.: *подозревал*». Разницу между 1-, 2-, 3- и 4-сл. словами приходится указывать непременно, потому что чем больше места в строке занимает рифмующее слово, тем больше его роль в синтаксической структуре строки. Впрочем, во избежание разнобоя, проклитики мы не учитываем и фонетические слова *передо мной, надо мной, со мной* одинаково считаем за односложное *мной*.

Гнездо –ОЙ. 1-сл.: *мой* 42 раза, *мной* 24, *стой* 4, *бой* 22, *мглой* 1, *злой* (жен. р., род. п.) 1; 2-сл.: *тобой* 55, *иной* 25, *живой* 162, *герой* 34, *волной* 221, *открой* 4, *домой* 18; 3-сл.: *молодой* 97, *часовой* 4, *головой* 55; 4-сл.: *небоевой* 1, *Карамзиной* 1. Всего 771 строка.

Гнездо –ЕЙ. 1-сл.: *ей* 68 раз, *сей* 2, *дней* 36, *пей* 2, *злей* 1; 2-сл.: *моей* 112, *злодей* 23, *друзей* 184, *черней* 25, *жалей* 1, *ей-ей* 3; 3-сл.: *чародей* 20, *богачей* 27, *поскорей* 4, *пожалей* 1; 4-сл.: *Варфоломей* 1, *богатырей* 3. Всего 523 строки.

Гнездо –АЛ. 1-сл.: *бал* 10 раз, *скал* 12, *знал* 19; 2-сл.: *фиал* 11, *похвал* 8, *внимал* 118; 3-сл.: *идеал* 21, *воспевал* 151; 4-сл.: *подозревал* 10. Всего 360 строк.

Гнездо –ОМ. 1-сл.: *в нем* 32 раза, *гром* 21, *сном* 11, *ждем* 1; 2-сл.: *моем* 14, *кругом* 54, *альбом* 5, *огнем* 92, *ночном* 9, *зовем* 5, *знаком* 2; 3-сл.: *эконом* 1, *королем* 28, *боевом* 8, *заведем* 1, *незнаком* 1, *вчетвером* 2; 4-сл.: *богатырем* 1. Всего 288 строк.

Гнездо –ОН. 1-сл.: *он* 106 раз, *сон* 75, *жен* 7, *вон* 3; 2-сл.: *закон* 19, *сторон* 13, *влюблен* 7; 3-сл.: *небосклон* 16, *похорон* 1, *поражен* 35; 4-сл.: *Наполеон* 2, *опустошен* 2. Всего 286 строк.

Гнездо –ИТ. 1-сл.: *вид* 12, *спит* 12; 2-сл.: *летит* 169, *убит* 10, *гранит* 9, *ланит* 11; 3-сл.: *говорит* 46, *ядовит* 2, *инвалид* 3, *Аонид* 2; 4-сл.: *благодарит* 3. Всего 279 строк.

Гнездо –ЕТ. 1-сл.: *нет* 45, *свет* 56, *лет* 41, *вслед* 2; 2-сл.: *поэт* 65, *побед* 13, *одет* 3, *вослед* 6; 3-сл.: *пистолет* 10, *настаёт* 1. Всего 242 строки.

Гнездо –НА. 1-сл.: *сна* 4 раза; 2-сл.: *она* 46, *одна* 14, *бледна* 31, *луна* 12, *окна* 10; 3-сл.: *тишина* 7, *шалуна* 2, *времена* 8, *влюблена* 7; 4-сл.: *Бородина* 2, *окружена* 19; 5-сл.: *bel Tatiana* 1. Всего 163 строки.

Выразим в процентах, во-первых, соотношение 1-, 2-, 3- и 4- сложных слов в каждом гнезде, и во-вторых, соотношение отдельных частей речи в них. Обозначения: С(существительные в) и(менительном и в) к(освенных падежах), П(прилагательные в) п(олной и) к(раткой форме), Г(лагол), Н(аречие), М(естоимения) л(ичные и) п(рисяжательные), пр(очие).

	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>Си</i>	<i>Ск</i>	<i>Пи</i>	<i>Пк</i>	<i>Г</i>	<i>Н</i>	<i>Мл</i>	<i>Мп</i>	<i>пр.</i>
-ОЙ:	12	67	29	1	8	36	34	--	1	2	10	9	--
-ЕЙ:	21	68	10	1	8	50	5	--	1	1	13	22	--
-АЛ:	11	38	48	3	12	5	--	--	83	--	--	--	--
-ОМ:	23	63	14	-	9	46	6	1	2	19	11	5	--
-ОН:	67	14	18	1	39	7	--	15	--	1	37	--	--
-ИТ:	9	71	19	1	9	5	--	4	82	--	--	--	--
-ЕТ:	60	36	4	-	54	22	--	1	1	3	--	--	19
-НА:	3	69	16	13	12	16	--	44	--	--	28	--	--

Обилие 1-сложных слов на –ОН – от местоимения, на –ЕТ – из-за удоборифмуемого словечка «нет» (оно же – 19% «прочих» частей речи). Обилие 3-сложных слов на –АЛ – оттого что большую часть этого гнезда составляют глаголы, а они, благодаря приставкам, имеют удлинённую предударную часть. (Любопытно, что в другом глагольном гнезде, на –ИТ, этого нет; объяснить этот разный подбор глаголов в двух гнездах мы не можем). О том, почему полные формы прилагательных тяготеют к окончанию –ОЙ, уже говорилось. Краткие формы прилагательных (и учитываемых вместе с ними причастий) тоже имеют свои точки притяжения в гнездах -ОН, -НА («поражен», «поражена»); что по сравнению с прозой в стихе краткие прилагательные встречаются гораздо чаще (именно из-за их удоборифмуемости), бросалось в глаза давно, но почему женские формы оказываются больше в ходу, чем мужские, сказать трудно, Почему личные местоимения тяготеют к гнездам –ОН, -(о)НА – легко понятно; но почему среди притяжательных местоимений опять-таки женский род (в гнезде –ЕЙ: «моей», «твоей») появляется в два с лишним раза чаще, чем мужской (в гнезде –ОЙ: «мой», «твой»), мы объяснить не можем. Прочитать Пушкина «по местоимениям» – вероятно, еще задача будущего.

3. Остановимся на самом четко организованном рифмическом гнезде – гнезде на –АЛ. В нем 360 строк. 41 кончается на 1-сложное слово (11%), среди них 19 глаголов типа «дал» (46%). 137 кончаются на 2-сложное слово (38%), среди них 118 глаголов типа «внимал» (86%). 172 кончаются на 3-сложное слово (48%), среди них 151 глагол типа «воспевал» (88%). 10 кончаются на 4-сложное слово, все – на глагол типа «подозревал» (100%). Всего строк с глаголами на конце – 298 (83%).

Начнем с самой маленькой и простой группы – с 4-сложным глаголом. 5 из них (50%) образуют простейший стих, двухсловный (так называемая VI ритмическая форма) – процент очень высокий: несомненно, ради симметрии двух 4-сложных слов: *Где Рафаель живописал, Сей Геллеспонт переплывал, Кто колдуна перепугал?, И чудеса подозревал, Уж не тебя ль изображал.* В первой строке существительное и глагол соотносятся как сказуемое и подлежащее (обозначаем **СГ**), в остальных существительное (или заменяющее его местоимение) и глагол соотносятся как сказуемое и подчиненное слово, прямое дополнение (обозначаем **сГ**).

Остальные 5 стихов образуют основной тип строки, трехсловный (так называемая IV ритмическая форма). Все они развивают структуру **сГ** “сказуемое и подчиненное слово” (дополнение, обстоятельство), лишь осложняя ее а) прилагательным (или притяжательным местоимением) к подчиненному слову: *Я время то воспоминал, Он время то воспоминал* (обозначаем **сп Г**, пробел означает, что между смежными словами «то» и «воспоминал» синтаксической связи нет; мы выделяем эти строки из «Кавказского пленника», I, и «Разговора книгопродавца...», потому что они почти формально повторяют друг друга – с этим мы еще встретимся), *В пустынной мгле нарисовал* (обозначаем **псГ**, синтаксическая связь между смежными словами – всюду); б) наречием к глаголу, *Для вас я вновь перемешал* (обозначаем **с нГ**); в) произвольным вставным словом, *Всю ночь, увы! понтировал* (обозначаем **с х Г**).

Таким образом, из 10 строк 9 строятся по уловимым правилам синтаксического распространения, и только 1 (10%) ускользает от классификации. Почти то же мы увидим и на более широком материале.

4. Переходим к следующей группе – с 3-сложным глаголом на конце (151 строка). Из них двухсловными, VI ритмической формы, будут уже только 19 (13%). Из них две (10,5%) могут считаться чисто-глагольными: *И откормил и обокрал* (**Г-Г**, черточка означает сочинительную связь), *Не унывая, открывал* (**дГ**, с деепричастием). Две (10,5%) образуют сочетание подлежащего со сказуемым (**СГ**): *Кий на бильярде отдыхал, Меч богатырский засверкал.* Примечательно, что подлежащее находится в той части первого метрического слова, которая приходится на слабом слоге; приходишь оно на икт, **Булат могучий засверкал*, стих считался бы трехсловным, IV ритмической формой. Семь строк (37%) образуют сочетание глагола с подчиненным существительным (дополнением) (**сГ**): *Он провиденье искушал, Он вдохновенье презирал* (броское клише-параллелизм в «Демоне» 1823), *Всяк переправу охранял, С негодованьем отказал* и пр. Восемь строк (42%) образуют сочетание глагола с подчиненным наречием (**нГ**) – до сих пор в двухсловных стихах мы этого не видели: *Я безмятежно расцветал, Я безотрадно испытал, Он простодушно обнажал, И равнодушно пировал* и пр.: намечающиеся клише уловимы слухом. В 5 из этих 8

строка незаметно присутствует и подлежащее (*Я...*, *Он...*), но так как оно на безударной метрической позиции, то в счет слов не входит.

Эти исходные двухсловные конструкции **СГ** и **сГ** (не забудем, вторая в 3,5 раза чаще первой) подвергаются синтаксическому разворачиванию в остальных 132 трехсловных стихах IV ритмической формы (87%). Третья конструкция, **нГ**, непосредственному разворачиванию не поддается (к наречию подчиненных слов почти не существует) и о ней говорить придется немного.

Первая из исходных конструкций, «подлежащее-сказуемое», **СГ**, проще всего разворачивается (а) путем раздвоения или удвоения подлежащего: *Владимир-Солнце пировал* (**С=СГ**), *Чтоб муж иль свет не угадал* (**С-СГ**). Но возможности здесь ограничены, только эти 2 строки и имеются в нашем материале (1,5% от 132).

(б) Следующий способ – расширение существительного прилагательным или притяжательным местоимением. Здесь возможен как обратный порядок слов, **СП Г** (*Татарин буйный пировал, Помещик новый прискакал, Казак усталый задремал...*), так и прямой **ПСГ** (*Где мирный ангел обитал, Какой-то демон обладал, Уж мой Онегин поскакал...*). Оба варианта употреблены по 6 раз (по 4,5%, всего 9% от 132); но можно заметить, что обратный порядок чаще в стихах до 1824, а прямой – начиная с 1824 г.

(в) Следующий способ – расширение глагола зависимыми существительными или заменяющими их местоимениями. Подчиненное существительное может предшествовать паре **СГ**, образуя конструкцию **с СГ** (*По зале шепот пробежал, По сердцу пламень пробежал, Старушке Ленский отвечал, Стамбулу русский указал...*) – 8 случаев (6%), - или может вклиниваться в эту пару, образуя конструкцию **С сГ** (*Зарецкий жернов осуждал, Сам царь Иуду утешал, А князь тем ядом напился, Уж он меня не узнавал...*) – 7 случаев (5,5%). Как кажется, интонационно это означает, что начальное слово, синтаксически отбитое от остальных – дополнение или обстоятельство в первом случае, подлежащее во втором случае – получает сильное семантическое ударение, и первая, слабоударная стопа семантически уравнивается со второй, сильноударной: средство семантического выравнивания строки, характерного для Пушкина [Гаспаров 1995].

(г) Следующий способ – расширение глагола зависимыми наречиями. Они тоже могут предшествовать паре **СГ**, образуя конструкцию **н СГ** (*Еще забор не заграждал, Еще никто не открывал...*), или вклиниваться в эту пару, образуя конструкцию **С нГ** (*Владимир сухо отвечал, Владимир тут же начертил...*). Каждая конструкция употреблена по 3 раза (в первом случае – наречия очень десемантизированные, приближающиеся к частицам, во втором случае – наречия полнзначные), всего 6 раз (4,5%).

(д) Наконец, вне отчетливых комбинаций остаются еще 10 строк: *Когда луч молний озарял* (**х СГ**, с союзом), *Клевать их ворон прилетал* (**г СГ**, с глаголом-обстоятельством), формульная пара *Так я, бывало, воспевал* (1817)

и *Так я, беспечен, воспевал* («Онегин», I, 57), и при них еще *Казалось, ангел почивал*; далее, *Мазепу молча скрежетал* (С дГ, где деепричастие близко к наречию), три случая с заменами существительного (*И все несчастный тосковал*, н ПС, *И, сонный, слезы проливал*, П сГ, и ясное только из контекста *Гирей с моими сочетал*, С пГ); ср. также на границе придаточного предложения *О ты, который сочетал* (С/пГ). На эти случаи приходится еще 7,5% от 132 строк, а всего на развертывание пары СГ, «подлежащее-сказуемое» – 45 строк, 34%.

Вторая из исходных конструкций, сГ, сочетание глагола с подчиненным ему существительным (или заменяющим его местоимением), может быть развернута в трехсловие всеми аналогичными способами.

(а) Простейшее удвоение подчиненного существительного (с-сГ) – 4 раза (3% от 132 строк): *В нем кровь и мысли волновал*, *И нос и плечи подымал*, *На грусть и скуку променял*, *Умом и страстью побеждал*: два прямые дополнения, два косвенные.

(б) Расширение подчиненного существительного прилагательным или притяжательным местоимением. Обратный порядок слов, сп Г встречается 8 раз (6%): *Сатиру злую написал*, *Брегов противных достигал*, *На сечу грозну вызывал*, *В мечтах небесных рисовал*, *В речах неясных намекал* (клише!) и пр. Прямой порядок слов, псГ, на этот раз более, чем вдвое чаще – 20 раз (15%): *Младое сердце искушал*, *Высокий жеребий указал*, *С спокойным сердцем ожидал*, *За их здоровье выпивал*, *Я в черных книгах отыскал* (ср. ниже: *В архивах ада отыскал*) и пр.; сюда же мы отнесли *В пяти сажнях попадал*. Так как дополнения и обстоятельства перед сказуемым уже образуют по большей части обратный порядок слов, то дополнительно его усиливать инверсией определяемого и определения, по-видимому, излишне.

Расширение подчиненного существительного может производиться не только согласованным, но и несогласованным определением, посредством существительного. (Такое существительное, подчиненное другому существительному, будем обозначать с.) Такие конструкции 7 раз имеют обычный порядок слов, сс. Г (*Поля сраженья оглашал*, *Из мрака ссылки завещал*, *В архивах ада отыскал...*) и только 2 раза – обратный, с. сГ (*Свободы песню запевал*, *К трудам охоту сочетал*). Всего – 9 случаев (7% от 132 строк).

(в) Расширение глагола еще одним подчиненным существительным или заменяющим его местоимением: конструкция с сГ. Если это два дополнения, то прямое стремится стать ближе к глаголу, чем косвенное (*Пред ним Мазепу называл*, *В гостях улыбку возбуждал*, *И с ними гибель разослал* и пр. – 5 раз; *И взоры в землю опускал* и пр. – только 2 раза); если это косвенные дополнения и обстоятельства, то никаких тенденций в расположении не просматривается (*Во ставке ночью пировал*, *И в поле перстом указал*, *К царю, по долгу отсылал* и пр. – 7 раз). Всего 14 случаев (10,5%).

(г) Расширение глагола наречиями предпочитает ставить наречие впереди сочетания **сГ** (**н сГ**, 10 случаев: *Стремглав по почте поскакал, Но поздно русских разгадал, Легко мазурку танцевал, И вчуже чувство уважал* и пр.) и заметно реже – вклинивать его в середину сочетания (**с нГ**, 6 случаев: *И друга нежно обнимал, Меня внезапно поражал, Иных он очень отличал* и пр.). Всего 16 случаев (12% от 132).

(д) Несколько строк, не поддающихся систематизации, перечислим полностью; большинство их имеет внутри сильный синтаксический раздел (отсекающий вставное слово, оборот, придаточное предложение и пр.): *Тебе я полну наливал, Со страха скорчась, обмирал, И весь как лист он трепетал, С тех пор как жив не забывал, Бывало, музу призывал, Блажен, кто с нею сочетал, Ручей, где в полдень отдыхал*. Всего 7 случаев (5,5%). А всего на развертывание структуры **сГ**, «глагол с подчиненным существительным», приходится 59% трехсловных строк.

Наконец, последняя из исходных структур, **нГ**, «глагол с подчиненным наречием», тоже способна на некоторые вариации: раздвоение наречия (**н=нГ**: *Я сладко-сладко задремал*), добавление подподчиненных наречий (**ннГ**: *Еще не ясно различал, И даже ясно понимал*), добавление равноправного наречия (**н нГ**: *Впервые смутно познавал*). Это – 4 случая (3%).

Реже, чем другие части речи, но удваиваться (даже утраиваться) может и сам глагол. В нашем материале есть еще пять строк с повторением глаголов: сочинительным (*Страдал, любил и проклинал; Взял карты, молча стасовал* – где «взял карты» есть одно фонетическое слово; *И руку жмет – и запыхал*) и подчинительным (*Сегодня быть он обещал, Смирить надолго обещал*). Это дает еще 5 случаев, 4%.

Таким образом, если в немногочисленных двухсловных строках (VI формы), кончающихся на 3-сложный глагол, пропорции между структурами типа **ГГ:СГ:сГ:нГ** были приблизительно 10:10:37:42%, то в трехсловных строках (IV формы) пропорции между расширенными производными этих структур – приблизительно 4:34:59:3%. На первом месте по способности к синтаксическому развертыванию стоят структуры **сГ** (с подчинительными глагольными связями), затем **СГ** (с предикативными и атрибутивными связями), затем остальные. Дополнительный показатель этого вот какой. В нашем наборе 151 строк, кончающихся на 3-сложный глагол, содержится 249 межсловесных синтаксических связей (только внутри строк!). Из них связи **ГГ** и **Гг** составляют 4%, **СГ** – 16% (предикативные), **сГ** – 45% и **нГ** – 16% (остальные приглагольные), **ПС** – 15% и **Сс** – 4% (атрибутивные). К сожалению, мы пока не имеем сравнительных данных по прозе. В дальнейшем, конечно, связи **сГ** предстоит дифференцировать на связи прямыми, косвенными дополнениями и обстоятельствами.

5. Переходим к следующей группе материала – 118 строкам с 2-сложными глаголами на конце. Из них 9 являются двухсловными (форма VI), 109 трехсложными (8 – ритмическая форма II, «И потаенный меч достал»; 7 – форма III, «Онегин обо всем молчал»; остальные – форма IV, как выше) и 45 четырехсложными (форма I, «Я день и ночь над ним дрожал»). Это потому, что 2-сложный глагол не является длинным, пиррихиеобразующим словом, и ударение на 3-м слоге с конца может не только пропускаться (как мы видели в VI и IV формах), но и присутствовать (как во II, III и I формах). Спрашивается, как это повлияет на синтаксис рифмы.

Двухсловных строк (форма VI), как сказано, 9. Из них две образованы двумя глаголами (Г-Г: *Он возвратился и попал, Мог изъясняться и писал*), четыре – большая часть, как и прежде – глаголом с подчиненным существительным (сГ: *Ты никому там не мешал, А Цицерона не читал, И ожиданием страдал, Как над Вергилием дремал*), один – глаголом с наречием (нГ: *И уж заранее зевал*), и два – стыком разных предложений (*Ни Альбиона, где искал, Не за себя. Он не слышал*). Трехсловные формы, числом 64, как и раньше, представляют собой разворачивание двухсловных.

Первый исходный тип, глагольный Г-Г, представлен 6 строками (9% от 64): 4 раза к паре глаголов спереди прирастает подлежащее (СГ-Г: *Злой дух тревожил и смущал, И ветер бился и летал, Никто не ведал, не слышал, Я с криком вырвался, бежал*), 2 раза в середину вклинивается подчиненное существительное (Г-сГ, *Наполнил, в воздухе пропал* и – на стыке предложений – Гс/Г, *Клонились к осени. Дышал*).

Второй исходный тип (в двухсловах отсутствовавший), СГ, разворачивается, во-первых, за счет расширения существительного-подлежащего прилагательным-определением, с инверсией, СП Г: *Елень испуганный искал, И час торжественный настал!, И витязь пасмурный шептал*, всего 3 строки (4,5% от 64). Во-вторых, за счет расширения глагола зависимым существительным или деепричастием в начале словосочетания, с СГ (*Но о Марии ты молчал*), д СГ (*Не предузнав, уж ты мечтал*) и, на стыке с придаточным предложением, с/СГ (*И место, где потоп играл, В долине, где Руслан лежал*), 4 строки (6%). В-третьих, за счет расширения глагола в середине словосочетания – зависимым существительным (С сГ: *Наш витязь с жадностью внимал, И чтобы дождь в окно стучал, Онегин обо всем молчал* и пр.) или наречием (С нГ: *Как Сади некогда сказал*), всего 6 строк (9%). Вне отчетливых комбинаций остаются еще 2 строки с рубежами вводных слов и придаточных предложений: *Но я бы, кажется, желал* и *Туда, где дед ваш не бывал* (3%).

Третий исходный тип, сГ, разворачивается прежде всего расширением подчиненного существительного с помощью прилагательного-определения. Прямой и инверсионный порядок слов встречаются при этом, в отличие от прежнего, с почти одинаковой частотой: прямой (псГ: *Он в бранном пламени скакал, С тяжелым топотом скакал, Над адской бездною летал, И потаенный меч достал* и пр.) – 9 строк (14%), инверсированный (сп Г: *Я слово смелое сказал, Я строфы первые читал, На деву страстную взирал, На духа чистого взирал, Рукой рассеянной бряцал,*

Главой поникиею сиял и пр.) – 11 строк, да еще 1 строка (только!) с несогласованным определением **сс.Г** (*Устав наездника читал*): всего 12 строк (19%). Именно в таких строчках, как *Елень испуганный скакал* или *Главой поникиею сиял*, видно, как прилагательные с их длинными окончаниями стремятся завладеть пространством, освободившимся при укорочении глагола; но напор их невелик, и они охотно делятся им с существительными вроде *Над адской бездною летал*.

Расширение глагола вторым подчиненным существительным, (**с сГ** *И в руки икиперу попал*, *Над ней он голову ломал*, *Он на руках меня держал*), употреблено всего 3 раза (4,5%), расширение глагола наречием (**н сГ**: *Прилежно юноше внимал*, *И наконец от них отстал* и пр., 4 раза; **с нГ**: *Ему бессмысленно внимал*, *И книжку поутру читал* и пр., 3 раза) – как и в прежнем материале, чаще, 7 раз (11%).

Несколько строк и в этом типе, как обычно, не поддаются классификации – в частности, перебитые вставными словами и оборотами: *Уж за рекой, дымясь, пылал*, *Молве, казалось, не внимал*, *И, мнится, с ужасом читал*, *И, признаюсь, от них бежал*, *Тогда ль, кк розами венчал* – всего 5 случаев (8%).

Четвертый исходный тип, **нГ**, практически не получает развертывания в трехсловиях. Лишь условно к нему можно отнести 2 строки (3%), осложненные вопросительными словами: *И как несчастливо играл! Теперь ужель их не узнал?*

Наконец, 5 строк (8%) не удается отнести без натяжек ни к одному типу: почти все они находятся на стыках оборотов и предложений и иногда бессмысленны, потому что согласуемые слова остаются за их пределами. Это *Подняв несчастную, сказал*, *Скажи, когда ты не скучал*, (*День*) *Давно предвиденный, настал*, *Какое б в сердце ни читал* (...мечтанье), (мурлыкал: *Benedetta*) *Иль Idol mio, и ронял* (в огонь ...журнал).

Распределение четырех типов по трехсловиям в строках, оканчивающихся на 2-сложный глагол, получается таково: **ГГ,Гг:СГ:сГ:нг:пр.** = 9:24:56:3:8. Это почти то же, что в строках, оканчивавшихся на 3-сложный глагол (4:39:59:3). Распределение межсловесных связей внутри всего корпуса строк (всего 118 бесспорных связей): **ГГ** – 8%, **СГ** – 18, **сГ** – 43, **нГ** – 10, **пС** – 20, **Сс** – 1%. Тоже сходство почти полное.

В заключение – лишь несколько замечаний об остальных, 45 четырехсловных строках, кончающихся 2-сложным глаголом. Строение четырехсловных строк слишком сложно, слишком многовариантно, чтобы можно было на этом малом материале наметить его схематику. Бросаются в глаза лишь некоторые факты. 1) Конечный глагол почти всегда находится в контактной синтаксической связи с предыдущим словом – это следствие общего правила, что строки в стихе и колонны в прозе синтаксически крепче связаны к концу. Нарушений (*И дико взгляд его сверкал*) – только 4. 2) Это предыдущее слово, с которым связан глагол, - существительное (10 раз) или, чаще, заменяющее его местоимение (23 раза):

строка стремится к концу облегчиться от полновесных слов, Уже душистый чай бежал появляется в 2,5 раз реже, чем Как труп, в пустыне я лежал. 3) Это предыдущее слово, с которым связан глагол, в 19 случаях является его подлежащим (Как труп, в пустыне я лежал) и немного реже, в 14 случаях, подчиненным ему существительным или местоимением (И Бога глас ко мне воззвал). Доля полновесных существительных немного больше среди подлежащих (38%), чем среди подчиненных слов (21%). 4) Доля подлежащих (как вообще, так и выраженных существительными) в первой и второй половине четырехсловных строк приблизительно равная. 5) Способ развертывания синтаксической структуры, насколько можно судить по выборке в 25 строк (без оборотов, придаточных предложений и пр.), комбинирует способы развертывания СГ и сГ в трехслова: ядром является пара «подлежащее-сказуемое», подлежащее обрастает прилагательными, сказуемое – подчиненными существительными (иногда с прилагательными) и наречиями, и так заполняются все 4 позиции в строке.

6. Последняя группа нашего материала – 19 строк, кончающиеся 1-сложными глаголами (*гнал, дал, ждал, знал, пал, спал, стал*). Из них 8 – трехсловные и 11 четырехсловные (чем короче последнее слово, тем больше простора для трех слов внутри). Из 8 трехсловий два построены на основе Г-Г (*Скрывался и Наины ждал, Вот отошел, вот боком стал*), четыре на сГ (с инвертированными прилагательными, чьи длинные окончания заполняют безударный интервал: *Возврата солнечного ждал, Гнезда надежного не знал, Он клятвы страшные мне дал, ср. В беспечной юности я знал*), одно то ли на СГ, то ли на сГ (*Кто на тебе со славой пал?*), одно на нГ (*Давно нетерпеливо ждал*). Для комментариев этот материал слишком мал. Из 11 четырехсловных строк большинство содержит вводные слова, обороты и стыки предложений (*Блаженной тот, кто их не знал, Вскипела кровь. Он мрачен стал*) и тоже неудобны для анализа.

7. Наконец, хотя 83% строк на –АЛ и являются глаголами, следует кое-что сказать и о 17% строк с рифмующими с ними существительными. Здесь сразу бросается в глаза ограниченность словаря. В глаголах –АЛ входило во флексию, поэтому в рифме мог оказываться любой глагол с основой на –А-. В существительном –АЛ- должно входить в корень, и поэтому число их ограничено, а повторяемость велика. (Существительные с –АЛ- в суффиксе, вроде *прилипало*, в поэтическую лексику не входят). В глагольных строках мы редко имели случай отметить формульный повтор, здесь – гораздо чаще: ***Не видит он знакомых скал, Я видел вновь приюты скал, Огнем и вздохом и похвал, И жажду славы и похвал, Достойный дружбы и похвал, Любви приманчивый фиал, Златой Горациев фиал, Какой-то важный генерал, Какой-то пошлый мадригал, И мыслей мертвый капитал***, и, конечно, вереница строк на «модное слово идеал» (9 раз) – оно потому и стало модным, что

на него был спрос как на рифму к глаголам. Совсем особенный случай: строка на –АЛ, возникшая в «Онегине» (III, 23), *Для вздохов страстных и похвал*, была повторена потом в знаменитом стихотворении как *Для звуков сладких и молитв*. Более, чем в половине строк это финальное существительное на –АЛ в именительном падеже имеет при себе прилагательное (реже местоимение), и на это опираются остальные слова в строке.

Такова наша попытка определить основные синтаксические структуры в стихах, кончающихся на глагол, и сравнительную предпочтительность их вариантов. Обнаруженные закономерности окажутся случайными или характерными, когда можно будет сопоставить сравнительный материал (по другим поэтам 4-ст. ямба; по 5-ст. ямбу и т. п.: по 3-ст. амфибрахию, размеру того же слогового объема, но с другим ритмом; и, конечно, по прозе). Кроме того, нужно будет дифференцировать существительные, прилагательные и заменяющие их личные и притяжательные местоимения, чего мы в нашем первом приближении не делали. Тогда, может быть, мы приблизимся к решению вопроса: насколько сеть словоразделов в стихе является порождением языка вообще и насколько – конкретных конструкций, диктуемых устойчивыми словосочетаниями.

Литература

Гаспаров 1984 – М.Л. Гаспаров. Ритмический словарь и ритмико-синтаксические клише // Проблемы структурной лингвистики –1982. М.: Наука, 1984, С. 169-185.

Гаспаров 1995 – М.Л. Гаспаров. Ритм, синтаксис и семантика: смысловые узлы в 4-ст. ямбе // Историко-литературный сборник: К 60-летию Л.Г. Фризмана. Харьков, 1995. С. 14-22.

Гаспаров 1999 – М.Л. Гаспаров. История одной рифмы // *Studia metrica et poetica*: памяти П.А.Руднева. СПб., 1999. С. 62-79.

Гаспаров 1999а – М.Л. Гаспаров. Синтаксические клише в поэзии Пушкина и его современников // ИЮЛЯ, 1999, №3. С. 18-25.

Гаспаров, Скулачева 1989 – М.Л. Гаспаров, Т.В. Скулачева. Грамматический словарь стоп 4-ст. ямба в романе в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» // *Стилистика и поэтика*: тезисы всесоюзной научной конференции (Звенигород, 1989), Вып. 1. М., 1989. С. 34.

К ДИНАМИКЕ УЗУСА

(язык Пушкина и современное словоупотребление)

0. Известно, что основные грамматические характеристики русского языка практически не изменились со времен Пушкина. Обнаруживаются лишь отдельные изменения в употреблении падежей – например, в конструкциях типа *дубовыми, тесовыми ворота* (ср. также *разными образы* у Ломоносова – формы, которые уже в пушкинскую эпоху воспринимались как устаревшие и использовались как средство стилизации); изменения в интерпретации функции возвратных глаголов как пассивных или декаузативных (см. работы Е. В. Падучевой) и некоторые другие. Особенно интересно, что грамматика у Пушкина воспринимается как более современная, чем у многих авторов, писавших в одно с ним время и даже после него. Е. В. Падучева [в печати] отмечает, что, например, конструкция *accusativum cum infinitivo*, встречающаяся у Грибоедова, не встречается в произведениях Пушкина. В качестве еще одного примера приводятся пассивные причастия, употреблявшиеся раньше и стательно и событийно: например, *ответ получен вчера* в смысле ‘был получен’. У Пушкина пассивные причастия употребляются только стательно, т.е. в соответствии с действующими сегодня правилами. В. Г. Гак [1999: 28] отмечает, что принципы построения высказываний в пушкинской прозе принципиально не отличаются от современных норм и, вопреки распространенному мнению, поддерживаемому такими авторитетами, как В. В. Виноградов [1935; 1980] и Б. В. Томашевский [1990], не несут следов французского влияния.

Тем не менее при сопоставлении языка прозаических произведений Пушкина с современными нормами словоупотребления, т.е. на уровне выбора слов и правил их сочетаемости, можно прийти к прямо противоположным выводам. Создается впечатление, что, в отличие от основных грамматических параметров, лексические и прагматические особенности речи (которые, кстати, тоже могут оказаться до известной степени системно обусловленными) очень сильно изменились за последние 160-170 лет. Причем дело не только в том, что появились новые слова и значения. Изменения такого рода предсказуемы и во многом объясняются экстралингвистическими причинами. Гораздо менее тривиальными представляются изменения в правилах сочетаемости, глагольного управления,

*Добровольский Дмитрий Олегович – доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института русского языка РАН.

в предпочтительности тех или иных конструкций, того или иного порядка слов или изменения, связанные с различным фокусированием определенных частей семантической структуры, с появлением или стиранием тех или иных импликатур дискурса и т.п.

Основная цель данной работы – анализ и описание подобных изменений в их сопоставлении с современным узусом. Анализ такого рода может оказаться полезным для выявления некоторых общих тенденций в развитии лексической системы. При наличии достаточно полного материала можно будет поставить вопрос о том, в каких случаях мы имеем дело с «капризами узуса», а в каких – с глубинными и взаимосвязанными изменениями, ведущими к постепенной перестройке лексической системы. Пока задаваться подобными вопросами явно преждевременно. Для того, чтобы такие вопросы могли быть грамотно сформулированы, необходимо проанализировать все случаи, в которых словоупотребление не соответствует современным нормам. Лишь наличие относительно полного описания позволит сказать, имеем ли мы дело с некой языковой случайностью или с глубинными изменениями в лексической системе. Пока же мы можем с уверенностью утверждать лишь то, что анализируемые факты употребления языка являются нестандартными с точки зрения нормы нашего времени. Иными словами, при отсутствии достаточных оснований для системно значимых утверждений эти феномены предпочтительно описывать в терминах узуса, оставляя в стороне проблему системности изменений, произошедших в области лексической семантики. Такой способ описания используется в данной работе в качестве основного. Там, где это возможно и осмысленно, на уровне гипотез будут предложены объяснения наблюдаемых изменений.

Дополнительная трудность заключается в том, что на основании текстов одного автора не всегда можно с гарантией делать вывод об изменении узуса, поскольку нельзя исключить наличие индивидуально-авторских употреблений, не соответствовавших узусу своего времени. Однако принято считать, что по сравнению с языком других авторов проза Пушкина представляет собой в этом плане относительно надежный материал, поскольку известно, что в своих прозаических произведениях Пушкин стремился к максимальной формальной простоте и старался использовать лишь те слова и выражения, которые не ощущались как выходящие за рамки общелитературного употребления (см., например, [Виноградов 1980: 237]). Исследование проводится в основном на материале «Пиковой дамы» (далее – ПД); в отдельных случаях мы обращались и к другим прозаическим произведениям Пушкина.

Необходимо обратить внимание на отличие нашего подхода от некоторых в принципе сходных исследований. Например, в работе А. Б. Пеньковского [1999] на примере слов типа *скука*, *тоска*, *хандра*, *лень* и их производных показано, как некоторые лексические единицы со временем меняют свое значение таким образом, что подлинные авторские интенции

оказываются недоступными для понимания. Так, *скука* понималась в эпоху Пушкина не в современном смысле, а как ‘тягостное душевное чувство, томление’, не связанное с идеей ‘отсутствия дела или занятий’ [Пеньковский 1999: 167]. Открытым остается, однако, вопрос, насколько часто встречаются подобные семантические сдвиги и, следовательно, в какой степени пушкинские тексты, создавая иллюзию ясности и прозрачности, ускользают от истинного понимания. В любом случае, в данной работе мы преследуем иные цели. В центре нашего внимания находится, как уже было сказано, не изменение семантики отдельных слов, а сдвиги в узуальных правилах построения высказываний. Иными словами, нас интересуют не те случаи, в которых правильное понимание оказывается затрудненным, при том, что высказывание выглядит абсолютно современным (ср. подобную постановку задачи также в [Еськова 1999]),¹ а прямо противоположные случаи, когда изменяется общепринятый способ выражения некоторого заданного смысла.

1. Наиболее простой и ясный пример узуального сдвига в лексиконе – это изменение лексической сочетаемости (в смысле [Апресян 1974], когда определенное слово меняет своего стандартного контекстуального партнера, причем данная замена не выводится из значений соответствующих слов и не может быть описана как регулируемая некоторыми общими правилами. Это явление может быть проиллюстрировано с помощью коллокаций – устойчивых, в известной степени идиоматичных словосочетаний типа *одержать победу*, называемых также – в терминологии В. В. Виноградова – фразеологическими сочетаниями.

В этой области нормы сочетания слов претерпели наиболее заметные изменения. В художественной прозе Пушкина встречаются такие выражения, как *полагать надежду*, *попробовать своего счастья*, *вводить в хлопоты*, вытесненные из современного узуса коллокациями *возлагать надежды*, *попытать счастья*, *причинять хлопоты*. Некоторые коллокации претерпели изменения в лексическом составе уже к середине XIX века, другие имели более долгую жизнь; например, словосочетание *делать вопросы* встречается еще в произведениях Л. Н. Толстого, а *чистые деньги* в значении ‘наличные деньги’ – в пьесах А. Н. Островского. Определенная динамика в этой области наблюдается и при сопоставлении языка Пушкина с более ранними периодами. Например, в «Письме Карамзина

¹ Затруднения «исторически адекватного» (т.е. максимально близкого к авторским интенциям) понимания художественного текста могут быть обусловлены весьма различными причинами, в том числе сменой парадигмы поэтических средств языка, что напрямую не связано ни с семантикой слов, ни с узуальными нормами словоупотребления. Ср, например, работу И.Б. Левонтиной [1997], в которой показано, что специфика восприятия поэзии К.Н. Батюшкова современным читателем во многом обусловлена изменениями функции поэтических эпитетов.

к Дмитриеву» встречается предложение *Я беру участие в твоём горе* (см. [Виноградов 1935: 208]). В художественной прозе Пушкина коллокация *брать участие* не встречается ни разу, притом что соответствующая нормам современного узуса коллокация *принимать участие* встречается пять раз, причем как в двух известных сегодня значениях ‘участвовать’ и ‘сочувствовать’, так и в значении, близком к ‘способствовать, содействовать; быть заинтересованным’; ср. (1-3)²:

- (1) Но шампанское явилось, разговор оживился, и все *приняли* в нём участие. (ПД)
- (2) Несколько раз я застала её в слезах. Это меня не удивляло, я знала, какое болезненное участие *принимала* она в судьбе страждущего нашего отечества. (Рославлев)
- (3) Чарский приехал из первых. Он *принимал* большое участие в успехе представления и хотел видеть импровизатора, чтоб узнать, всем ли он доволен. (Египетские ночи)

Проблемы изменения лексического состава коллокаций обсуждались достаточно подробно в других наших публикациях [Добровольский в печати (а); (б)], поэтому здесь подобные случаи рассматриваться не будут. Укажем лишь, что одна из возможных причин, объясняющих изменения лексической сочетаемости такого рода кроется, видимо, в том, что соответствующие нормы к тридцатым годам XIX века еще не сложились, и многие заимствованные из французского языка или формирующиеся под его влиянием словосочетания допускали варьирование в более широком диапазоне, чем это допустимо сегодня. А поскольку коллокации представляют собой наиболее чистый случай лексической сочетаемости, т.е. сочетаемости, при которой выбор слова-партнера по определению диктуется не правилами соположения смыслов, а узусом, то замена одного из компонентов коллокации не приводит к изменению ее значения и, следовательно, может производиться без ущерба для коммуникации. С другой стороны, по крайней мере по отношению к коллокациям со структурой глагольной группы можно говорить о некоторых общих тенденциях. При выборе глагольного компонента коллокаций типа *одержать победу* русский язык, в отличие от французского, английского или немецкого, предпочитает использовать не стандартный набор базовых глаголов с максимально широкой семантикой, а более специфицированные по форме и/или семантике глаголы (ср. предложенное В.Г. Гаком [1977: 211-212] понятие лексико-семантического обособления). Практически во всех случаях замены глагольного компонента коллокаций речь идет о замене более элементарного в морфологическом

² Впрочем, различия в индивидуальном авторском стиле играют здесь, очевидно, не менее существенную роль, чем фактор времени. Коллокация *брать участие* встречается не только в допушкинскую эпоху, но и в произведениях его современников, например, в повести Н. Ф. Павлова «Ятаган» (1835).

и / или более базового в семантическом отношении глагола типа *брать* и *делать* на более сложный глагол типа *принимать* и *задавать*. Эта тенденция распространяется не только на коллокации, ср. (4).

- (4) В первый раз в жизни она *дошла с ним до рассуждений и объяснений*; думала усостить его, снисходительно доказывая, что долг долгу розь и что есть разница между принцем и каретником. (ПД)

Словосочетание *дошла до рассуждений и объяснений* явно не является коллокацией, так как не обладает ни устойчивостью, ни идиоматичностью. Тем не менее, это словосочетание воспринимается как нестандартное. Аналогичная мысль была бы выражена в современном языке с помощью сочетания *снизошла до рассуждений и объяснений*. Таким образом, и в этом случае более простой глагол был заменен на более сложный.

В дальнейшем будут рассмотрены менее явные и очевидные случаи, не всегда поддающиеся четкой типологизации. Иногда, например, остается неясным, идет ли речь о лексической или семантической сочетаемости³, об изменениях в значении слова или в режиме его употребления, об узуальных нормах того времени или чисто авторских употреблениях. Не претендуя ни на полноту, ни на окончательность оценок, разберем несколько характерных случаев, позволяющих говорить о заметной динамике узуса в русском языке.

2. В первую очередь выделяются случаи, в которых те или иные предикаты изменили требования к субъектному актанту относительно его принадлежности к определенному семантическому классу. Так, в предложении (5) с точки зрения современного узуса содержится явная комбинаторная аномалия, поскольку современный литературный язык не допускает употребления глагола *звать* (как и его наиболее близкого синонима *зваться*) по отношению к неодушевленным сущностям.

- (5) *Как зовут этот мост?* (ПД)

На этом примере можно показать также трудности отграничения лексической сочетаемости от сочетаемости семантической при анализе явлений языка, достаточно далеко отстоящих во времени. С одной стороны, подобные примеры можно описать как случаи лексической сочетаемости, так как на основе имеющихся контекстов нельзя с полной уверенностью утверждать, что сочетаемостные потенции глаголов *звать* и *зваться*

³ В отличие от лексической, семантическая сочетаемость предсказывается значением слова. Любые нетривиальные для современного восприятия текста особенности семантической сочетаемости могут быть точно и экономно описаны через толкование соответствующих лексем или через эксплицитные указания на сочетаемостные ограничения в терминах семантических классов.

распространялись ранее на весь класс неодушевленных объектов. Соответствующая словарная статья в СЯП не дает на этот вопрос однозначного ответа. В художественной прозе Пушкина обнаружен всего лишь еще один контекст соответствующего употребления:

(6) – *Не знаю, – отвечал Бурмин, – не знаю, как зовут деревню, где я венчался; не помню, с которой станции поехал. [Метель]*

Если же интерпретировать эту аномалию как результат утраты данными глаголами способности сочетаться с неодушевленными существительными, то ее следует отнести к области семантической сочетаемости. В пользу такой интерпретации может быть выдвинуто следующее соображение. Похоже, что для русского языка достаточно типично существование не одного глагола с заданным смыслом, одинаково хорошо сочетающегося и с одушевленными и с неодушевленными существительными, а пары глаголов типа *утонуть – затонуть*, один из которых сочетается преимущественно (или даже исключительно) с одушевленными, а другой – с неодушевленными именами⁴. Наличие пары *как зовут X?* vs. *как называется X?* позволяет экономно и недвусмысленно выразить коммуникативно значимые различия. Например, допустимый в разговорном языке вопрос *Как называется эта собака?* предполагает ответ типа *Чау-чау*, в отличие от вопроса *Как зовут эту собаку?*, предполагающего, что в качестве ответа говорящий назовет кличку своей собаки. В первом случае вопрос воспринимается как относящийся не к конкретному референту, а ко всему классу референтов, что выводит признак одушевленности из фокуса. Ср. синонимичный вопрос *Как называется эта порода собак?*, в котором подлежащее выражено именной группой, возглавляемой неодушевленным существительным.

Поскольку в целом есть основания считать, что категория одушевленности-неодушевленности обладает в русском языке бóльшим лингвистическим весом, чем во французском, английском и немецком (ср. в первую очередь различия в системе склонения одушевленных и неодушевленных русских существительных), можно предположить, что утрата глаголами *звать* и *зваться* способности сочетаться с обозначениями неодушевленных существностей соответствует неким общим тенденциям развития лексической системы.

Контекст (7) содержит, казалось бы, сходный случай расхождений в нормах сочетаемости. Однако при более внимательном изучении он обнаруживает существенные отличия от только что обсужденных явлений, на которых мы остановимся несколько подробнее.

⁴ Хотя, впрочем, пара *утонуть – затонуть* и некоторые ей подобные устроены, видимо, более сложно: на выбор существительного в позиции подлежащего влияют и другие факторы, в частности размеры соответствующего предмета. *Затонуть* может корабль, но не упавшая в воду пуговица.

(7) *Надобно знать, что бабушка моя, лет шестьдесят тому назад, ездила в Париж и была там в **большой** моде.* (ПД)

На первый взгляд может показаться, что ощущение некоторой аномальности этого контекста возникает из-за того, что предикатное выражение *быть в (большой) моде* в современном языке требует в стандартном случае неодушевленного подлежащего типа *фасон платья*. Это верно лишь отчасти. Выражение *быть в (большой) моде* в определенных контекстных условиях допускает и сегодня сочетания с одушевленными подлежащими, ср. *Эта художница / балерина / певица / писательница была еще недавно в большой моде*⁵. Более того, можно представить себе коммуникативную ситуацию, в которой участвует внук знаменитой некогда певицы. В этом случае высказывание типа *Моя бабушка была тогда в большой моде* не будет восприниматься как нарушение современных норм словоупотребления. Дело здесь в том, что в позиции подлежащего предполагаются только обозначения сущностей, которые могут быть расположены на шкале модного–немодного. В прототипическом случае это, действительно, неодушевленные существительные. С помощью стандартного метонимического переноса могут порождаться высказывания, содержащие в позиции подлежащего одушевленные существительные (как правило, профессиональные номинации). Но главное семантическое условие при этом не снимается – лексема, занимающая позицию подлежащего должна содержать признак, принципиально подлежащий оцениванию по шкале модного–немодного.

В контексте (7) с точки зрения современных представлений трудно выделить такой признак. Это обстоятельство, видимо, и заставляет воспринимать контекст (7) как несоответствующий современному узусу. При этом вопрос о том, что собственно изменилось в языке, остается открытым: значение языковых выражений *мода*, *модный*, *быть в моде* или их сочетаемостные потенции? С чисто лингвистической точки зрения на этот вопрос ответить трудно. С одной стороны, эти выражения, взятые сами по себе, вряд ли обладали в пушкинскую эпоху смыслом, принципиально отличным от современного, с другой – их сочетаемость (как было показано выше) также не претерпела радикальных изменений. Изменилось скорее всего само понимание того, каким сущностям может приписываться признак ‘модный’.

3. В качестве второго типа изменений в узусе выделяются изменения в области глагольного управления⁶. Ср. контекст (8). Глагол *услышать* не имеет сегодня двойного

⁵ Более нейтральным и общепринятым способом этот смысл был бы, видимо, выражен сегодня несколько иначе, например: *Эта художница / балерина / певица / писательница была еще недавно очень популярна*.

⁶ Существенные отличия от современных норм управления – как глагольного, так и субстантивного – обнаруживает не только язык рассматриваемой здесь эпохи, но и гораздо более близкие к нам по времени периоды. Ср., например, обсуждаемые Е.А. Земской (1997: 349-352) случаи управления, отличающие язык рубежа XIX-XX веков от современного

управления *что-л. как-л.* В этих случаях употребляется глагол *выслушать* или *воспринять*; ср. (8) и (8').

(8) Но графиня *услышала* весть, для нее новую, *с большим равнодушием*. (ПД)

(8') [...] *выслушала* эту новость с большим вниманием; *восприняла* эту новость с большим равнодушием.

В контексте (9) глагол *выжидать* управляет винительным падежом существительного *минуты*, в то время как по современным нормам при сочетании с обозначениями временных отрезков типа *секунды, минуты, часы, дни* требуется конструкция с кванторным словом, нечто вроде (9').

(9) [...] и *выжидая* остальные *минуты*. (ПД)

(9') *выжидать* *несколько секунд/минут/часов/дней*.

Интересно, что обозначения таких отрезков времени, как *месяцы, годы, десятилетия, века* допускают аккузативное употребление без кванторного слова, ср. *он ждал ее годы*.

В примере (10) нестандартной оказывается глагольная группа *нашла его непоколебимым*.

(10) На другой день она велела позвать мужа, <...>, но *нашла его непоколебимым*. (ПД)

В современном русском языке глагол *найти* в данном значении (нечто вроде 'обнаружить, открыть для себя, что кто-л./что-л. является каким-л.')

имеет управление *Н_{вин.} А/Р_{твор.}* – т.е. *найти кого-л./что-л. каким-л.* – лишь в отдельных случаях. Так, при явной неудачности ?? *найти кого-л. непоколебимым* (как и большинства других подобных словосочетаний с одушевленным объектом) современные нормы вполне допускают отдельные исключения, например, *найти кого-л. спящим*. Такая избирательность имеет место и в сочетании с обозначениями неодушевленных объектов; ср. неудачность ?? *найти телевизор неисправным* или ?? *найти стол занятым*⁷ при допустимости *найти завтрак нетронутым*. Возможно, эти различия в оценке отдельных словосочетаний с точки зрения их приемлемости связаны с семантическим классом соответствующего существительного, но выявить здесь однозначные зависимости представляется затруднительным. Интересно, что в значении 'считать кого-л./что-л. каким-л.' глагол *находить/найти* имеет стандартное управление *Н_{вин.} А/Р_{твор.}*; например, *находить/найти чьи-л. аргументы убедительными*,

⁷ Ср. также приводимый в МАСе пример из «Накануне» И.С. Тургенева: <Берсенева> *нашел ее <дверь> запертой*. Этот контекст позволяет предположить, что в русском языке XIX века данная модель управления глагола *найти* допускала более свободное лексическое наполнение.

притом что в позиции N_{вин.} при глаголе в СВ могут находиться только обозначения неодушевленных существностей. Если позицию N_{вин.} занимает обозначение одушевленных объектов, в современном языке возможен только НСВ: *Я нахожусь/*нашел ее красивой и умной.*

К области глагольного управления относятся также случаи варьирования в употреблении предлогов, связанные с изменением модели управления. Приведем несколько примеров (в скобках даются современные аналоги).

- (11) *На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание **над ним** подействовало, <...>. (ПД)*
(его наказание / **на него** подействовало)
- (12) – *Это писано верно **не ко мне!** – И разорвала письмо **в мелкие кусочки.** (ПД)*
(мне; **на мелкие кусочки**)
- (13) *<...> и он успел **вытребовать от нее** ночное свидание! (ПД)*
(**потребовать от кого-л. что-л.** или **вытребовать (себе) у кого-л. что-л.**)
- (14) – *Да где ж он меня видел? – В церкви, может быть, – на гулянье!.. Бог его знает! может быть, в вашей комнате, во время вашего сна: **от него станет...** (ПД)*
(с него **станет/станется**)

В последнем случае мы имеем дело с идиоматизированным словосочетанием, следовательно данная особенность употребления предлога может быть описана в рамках рассмотрения коллокаций (см. раздел 1). Ср. также контекст (15).

- (15) *Тройка, семерка, туз – **не выходили из его головы и шевелились на его губах.** (ПД)*
(**не выходили у него из головы; шевелились у него на губах**)

Подобные изменения в управлении, видимо, связаны с категорией отчуждаемой-неотчуждаемой принадлежности⁸. Не исключено, что эта семантическая категория получила

⁸ О.Б. Сиротинина обратила наше внимание на то, что в допушкинскую эпоху для подобных конструкций (и, возможно, для русского языка в целом) была характерна постпозиция притяжательного местоимения, т.е. предложение (15) звучало бы как [...] *не выходили из головы его и шевелились на губах его.* У Пушкина притяжательные местоимения встречаются в постпозиции только там, где это мотивировано актуальным членением предложения [Сиротинина 1965]. Перенос притяжательного местоимения в препозицию в конструкциях подобных (15) был, по-видимому, одной из значимых синтаксических предпосылок для закрепления в узусе современной формы с расщепленной валентностью.

относительно регулярное языковое выражение в более позднее время. Сегодня конструкции типа *Он сломал себе ногу* однозначно противопоставлены конструкциям типа *Он сломал свою ногу*. Последние осмысляются скорее как ‘он сломал свой протез’, так как имена, предваряемые в подобных конструкциях притяжательными местоимениями, воспринимаются как обозначения отчуждаемых сущностей⁹.

Интересный пример нестандартного управления содержится в контексте (16).

(16) *Он проснулся уже ночью <...>. Сон у него прошел; он сел на кровать и думал о похоронах старой графини.* (ПД)

Он сел на кровать понимается сегодня как ‘сел из положения стоя’. Для передачи смысла ‘сел из положения лежа’ в аналогичной ситуации используется сочетание *он сел на кровати*, т.е. выбор падежа существительного выполняет в современном языке смысловозначительную функцию. В этом предложении представлена еще одна нестандартная особенность: *сел* (СВ) и *думал* (НСВ) вряд ли сочетались бы сегодня как однородные члены предложения в перечислительной конструкции. В этом случае предпочтительнее употреблять глаголы одного вида. Соответственно в данном случае сказали бы нечто вроде *сел и подумал* или *сел и начал думать*.

4. К рассмотренным в предыдущем разделе случаям варьирования предлога, употребление которого диктуется глагольным управлением, примыкают случаи нестандартного употребления предлога, непосредственно не связанного с глагольным управлением.

(17) *<...> смотря на нее, можно было подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма.* (ПД)
(*по ее воле; под действием*)

Здесь перед нами нетривиальный случай изменения лексической сочетаемости: предлог *по* в сочетании *по действию* обозначает, в терминах аппарата лексических функций (см. [Жолковский, Мельчук 1967], пассивный Adv от *действия*. Эта лексическая функция понимается как смысл, эксплицитно выражаемый пассивным деепричастием; ср. *по действию скрытого гальванизма* vs. *будучи подверженным действию скрытого гальванизма*. Сегодня пассивный Adv от *действия* выражается предлогом *под*, а не *по*. Причем эта замена явно не носит системного характера, поскольку данная лексическая функция выражается сегодня и с помощью *по* и с помощью *под*; ср. *по приглашению*

⁹ Есть также примеры, в которых обе конструкции семантически эквивалентны, ср. *Он поцеловал ее руку* vs. *Он поцеловал ей руку*. В таких случаях выбор регулируется другими факторами, некоторые из которых рассматриваются в [Кибрик 2000].

(‘будучи приглашенным’) и *под управлением* (‘будучи управляемым’). Таким образом, мы имеем дело с чистым случаем лексической сочетаемости. Языковая система как бы предоставляет свободу выбора между способами выражения одного и того же смысла. Почему в определенный момент узус отказывается от одной из возможностей в пользу другой, остается тайной.

Аналогичным образом может быть описано сочетание *от ее воли*. Предлог *от* в данном случае – это *Caus*, который в принципе и сегодня выражается с помощью *от* (ср. *от боли, от голода*). Как и в предыдущем случае, здесь изменился узус: по каким-то причинам со словом *воля* для выражения лексической функции *Caus* стал употребляться предлог *по*. Анализ некоторых художественных произведений первой половины XIX века позволяет предположить, что в то время предлог *от* в функции *Caus* обладал более широкими сочетаемостными возможностями.

Интересен контекст употребления словосочетания *во всю жизнь* (18). Словосочетание *во всю жизнь* встречается сегодня крайне редко. Так, в выборке из корпусов современной художественной литературы, содержащей 600 контекстов употребления выражения *всю жизнь* (с различными предлогами и без них), встретились только три употребления словосочетания *во всю жизнь* (19). Все они представляются в той или иной степени необычными, что, возможно, связано с решением определенных художественных задач.

(18) *Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду, – но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил и чтоб во всю жизнь уже после не играл.* (ПД)¹⁰.

(19) а. К тому же, думали они, девочка из нищей семьи (мать – бухгалтер, отца нету и не было, больная бабка на шее) **во всю жизнь** не забудет оказанное ей благодеяние <...>. (Е. Козловский. *Мы встретились в Раю...*); б. Едва ли потом, **во всю остальную жизнь**, доведется увидеть что-нибудь похожее. (В. Распутин. *Прощание с Матерой*)
в. Вытирая слезы, старуха подумала, что, быть может, оттого она и не умерла ночью, что не простилась с Миронихой, со своей единственной **во всю жизнь** подружкой <...>. (В. Распутин. *Последний срок*)

¹⁰ Этот контекст обнаруживает еще два отклонения от современного узуса. В современном языке словосочетание *с тем условием, чтобы...* или *с тем условием, что...* в контекстах типа (18) предпочтительнее, чем словосочетание *с тем, чтобы...*, а вместо выражения *чтоб <...> уже после не играл* следовало бы употребить нечто вроде *чтобы <...> уже после этого не играл*. Интересно, что само по себе выражение *с тем, чтобы...* в современном языке вполне нормативно, но понимается исключительно в значении цели (как синоним *для того, чтобы*), а не условия. Видимо, в пушкинскую эпоху это выражение было стандартным для условных конструкций; ср. еще один контекст из «Пиковой дамы»: *Прощаю тебе мою смерть, с тем чтоб ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне...*

Сегодня в большинстве подобных случаев скорее употребили бы выражение *всю жизнь* (ср. (19а) и (20б)) или (в зависимости от значения самого выражения и контекстных условий) *за всю жизнь* (ср. (19б, в) и (20а)), причем в контекстах типа (18) стилистически более удачным выглядело бы нечто вроде *больше никогда*. Выражение *всю жизнь* (как и, видимо, употреблявшееся в пушкинскую эпоху квазисинонимичное выражение *во всю жизнь*) может означать (i) ‘время жизни данного человека от рождения до смерти’, (ii) ‘отрезок жизни от рождения до определенного момента времени’ и (iii) ‘остаток жизни, считая от определенного момента времени’. Именно это последнее значение имеется в виду в контексте (18), а также (19а, б). С точки зрения норм современного узуса употребление *во всю жизнь* в этом значении представляется более удачным при наличии конкретизирующего определения: *во всю оставшуюся жизнь*. В этом смысле контекст (19б) кажется более стандартным, хотя форма прилагательного *оставшую* в этом сочетании менее узуальна, чем причастная форма *оставшаяся*. Употребление выражения *во всю жизнь* в других значениях, бывшее, судя по контекстам (20), нормативным в пушкинскую эпоху, производит впечатление еще более сильного отклонения от норм современного узуса, ср. (19в). Представляется, что данные диахронические сдвиги не объясняются чисто семантическими причинами. Например, предлог *в*, наряду с *за*, вполне употребим в сопоставимых по семантике выражениях (ср. квазисинонимичные словосочетания *в последний год* и *за последний год*). Правда, появление кванторного слова меняет ситуацию: ср. *за весь последний год*, но ?? *во весь последний год*.

- (20) а. <...> заставить замолчать тех, которые недостойны Вашего уважения, ибо, получая от Правительства все средства, не успели *во всю свою жизнь* сделать то, что я сделал, без всяких средств, в четыре года. (Письмо А.А. Орлова министру народного просвещения С.С. Уварову) б. Что могло усладить мою последнюю минуту, что? разве беспаянство, то есть продолжение того же состояния, в котором я находился *во всю мою жизнь*? (Одоевский. Бригадир)

5. Нестандартность узуса проявляется далее в относительно частом употреблении конструкций с глаголом *иметь* в тех случаях, где в соответствии с современными нормами употребляются бытийные предложения типа *у X-а (есть/был/будет) Y*.

- (21) Графиня ***, конечно, *не имела* злой души; но была своенравна, как женщина, избалованная светом <...>. (ПД)
- (22) *Он имел* сильные страсти и огненное воображение <...>. (ПД)
- (23) *Имея* мало истинной веры, *он имел* множество предрассудков. (ПД)

С одной стороны, эти изменения могут объясняться влиянием французского и других европейских языков (так называемых *have-languages*), сила которого менялась от эпохи к эпохе. Русский язык, будучи по природе скорее *be-language*, со временем отказался от этих конструкций (см. работы А. В. Исаченко). С другой стороны, известно, что в древнерусском языке, формировавшемся под влиянием древнегреческого, было больше конструкций с глаголом *иметь*, чем в современном (ср. *Мертвые сраму не имут*). Обсуждаемые здесь случаи отклонений от норм современного узуса, видимо, скорее следует интерпретировать как результат характерного для рассматриваемой эпохи влияния французского языка.

Особенно важно отметить, что ни одно из объяснений в терминах системных изменений недостаточно для выявления причин подобных узуальных сдвигов, т.е. обсуждаемые изменения, видимо, не могут быть исчерпывающим образом описаны в терминах семантических классов. Очевидно, что в современном русском языке *иметь* плохо сочетается с конкретными именами (ср. [?]*Он имел много книг / хорошую квартиру*). Но сочетания с обозначениями абстрактных сущностей в целом вполне допустимы. Высказывание *Он имел много возможностей, но не воспользовался ими* звучит столь же приемлемо, как и *У него было много возможностей, но он не воспользовался ими*. Иными словами, контексты (21-23) воспринимаются как нестандартные не потому, что русский язык отказался от конструкции с глаголом *иметь* в принципе, и не потому, что глагол *иметь* сузил свою сочетаемость, исключив из нее определенные классы существительных, а потому, что те или иные вполне конкретные существительные и именные группы, которые нормативно сочетались с *иметь* ранее, сегодня для выражения того же смысла сочетаются с *быть*.

Рассмотрим еще один, несколько более сложный пример.

(24) Он верил, что мертвая графиня могла *иметь вредное влияние* на его жизнь, и решил явиться на ее похороны, чтобы испросить у ней прощения. (ПД)¹¹.

В контексте (24) словосочетание *иметь влияние* воспринимается как неuzuальное по двум причинам: из-за того, что в современном языке коллокация *оказывать влияние*, которую сегодня с наибольшей вероятностью употребили бы в аналогичном случае, строго фиксирована по лексическому составу (ср. раздел 1), а также из-за того, что – как было показано – глагол *иметь* существенно изменил сферу своего употребления. Хотя сегодня и возможно сказать *она имела (большое) влияние*, это словосочетание имеет другое значение и

¹¹ Контекст (24) содержит еще одно нестандартное словосочетание: *решился явиться*. Сегодня сказали бы *решил явиться* или *решился прийти*.

интерпретируется как синонимичное выражениям *она была влиятельной, она пользовалась (большим) влиянием*.

6. В заключение проанализируем группу контекстов, содержащих расхождения с современным узусом, которые можно несколько условно объединить под рубрикой «странный глагол». Иногда это связано с несоблюдением действующих сегодня аспектуальных или акциональных ограничений (25), но чаще всего речь идет об изменении лексико-сочетаемостных конвенций.

(25) Лизавета Ивановна сидела в своей комнате, еще в бальном своем наряде, погруженная в глубокие размышления. Приехав домой, она *спешила отослать* заспанную девку [...]. (ПД)

С точки зрения современных норм словосочетание *спешила отослать* воспринимается как нестандартное. В этом случае сказали бы *поспешила отослать* (хотя и это выражение ощущается как несколько устаревшее) или просто *отослала*, т.е. в любом случае был бы выбран глагол совершенного вида. Иной по сути, хотя и внешне схожий случай имеет место в контексте (26).

(26) Неведомая сила, казалось, *привлекала* его [Германа] к нему [к дому графини]. (ПД)

По современным нормам здесь требуется глагольная форма *влекла*, а не *привлекала*, причем *влекать* может в известном смысле рассматриваться как акциональный коррелят глагола *привлечь* – хотя, безусловно, не во всех значениях – но никак не соотносится с *привлекать*. Таким образом, дело здесь явно не в предпочтительности того или иного вида или способа действия, а в замене одного слова другим. Более сложный случай представляет собой контекст (27).

(27) Служба *совершилась* с печальным приличием. (ПД)

С точки зрения современного русского языка нестандартным оказывается не только словосочетание *с печальным приличием*, но и употребление глагольной формы *совершилась*. Сегодня в этом смысле употребили бы нечто вроде *прошла*. Форма *совершилась* воспринимается как отмеченная и в лексическом, и в грамматическом отношении. Так, даже в сочетаниях, допускающих употребление глагола *совершить* (типа *совершить обряд*), возвратная форма вряд ли приемлема, ср. ^{??}*обряд совершился*. Интересное объяснение при обсуждении этого предмета было предложено Е. В. Падучевой. Возвратные формы глаголов СВ в подобных конструкциях воспринимаются сегодня исключительно как деказуативы, что и придает выражениям типа *обряд совершился* определенную аномальность. В эпоху Пушкина такие формы имели значение пассива, т. е. выражение *обряд совершился* понималось как ‘обряд был совершен’. Исходя из этих соображений, было бы более

правильно рассматривать контексты типа (27) как реализации одной из форм глагола *совершить*, а не *совершиться*. В СЯП такие контексты помещаются в словарной статье СОВЕРШИТЬСЯ ‘произойти, осуществиться’, что затрудняет интерпретацию глагольной формы как пассива. В прозе Пушкина встречаются и другие примеры подобного словоупотребления (ср. (28)), что является (по крайней мере, косвенным) свидетельством распространенности данного глагола в сочетании с обозначениями обрядов.

(28) Похороны *совершились* на третий день. (Дубровский)

Это предположение подтверждается и описанием глагола *совершиться* в МАС, где один из вариантов значения ‘произойти, осуществиться’ толкуется как ‘быть произведенным, исполненным (обычно о каком-л. обряде)’. Заметим, что это толкование несколько противоречит современным нормам, так как узуально допустимыми являются формы типа *обряд был совершен*, а не ^{??}*обряд совершился*. Кроме того, указание на семантический класс ‘обычно о каком-л. обряде’ вводит читателя в заблуждение. Обозначения далеко не всех обрядов допускают сочетаемость с *совершить* (не говоря уже о *совершиться*), ср. ^{??}*похороны были совершены* вместо современного *похороны состоялись* или *прошли без особых эксцессов*.

Особенно интересен с семантической точки зрения контекст (29).

(29) Свечи вынесли, комната опять *осветилась* одною лампадою. (ПД)

В современном русском языке СВ глагола *осветиться* передает изменение состояния ‘из (относительно) темного в более светлое’. Описываемая в (29) ситуация рисует противоположную картину. При замене СВ *осветиться* на НСВ *освещаться* (и удалении наречия *опять*) в фокус вводится не изменение состояния, а само состояние, и высказывание воспринимается с современной точки зрения как более приемлемое; ср. (29'). Однако смысл его при этом меняется.

(29') Свечи вынесли, комната *освещалась* одною лампадою.

Вряд ли разумно предположить, что глагол *осветиться* обладал ранее значением, антонимичным современному, т.е. указывал на изменение состояния ‘из (относительно) светлого в более темное’: ср. *осветить* ‘излучая на что-н. свет, сделать светлым, видимым’ (СЯП). Скорее перед нами либо нестандартное употребление, либо переинтерпретация, связанная с изменением значений возвратной формы глаголов СВ (*осветилась* не в смысле ‘стала более светлой’, а в смысле ‘была освещена’). В пользу пассивно-декаузативной переинтерпретации говорит аналогия с контекстами (27-28). Однако в прозе Пушкина есть контексты, в которых пассив СВ образован стандартно, т.е. по действующим и в современном языке правилам; ср., например, (30).

(30) Я вошел в избу, или во дворец, как называли ее мужики. Она *освещена была* двумя сальными свечами. (Капитанская дочка)

При анализе подобных примеров необходим учет широкого контекста. В частности, для интерпретации примера (29) следует учесть, сколь важную роль играет описание световых эффектов в III главе «Пиковой дамы», ср. (31).

(31) Погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями; *фонари светились тускло*; улицы были пусты. <...> Швейцар запер двери. *Окна померкли*. <...> Ровно в половине двенадцатого Германн ступил на графинино крыльцо и взошел в *ярко освещенные сени*. <...> Зала и гостиная *были темны*. *Лампа слабо освещала* их из передней. Германн вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, *теплилась* золотая *лампада*. <...> В доме засуетились. Люди побежали, раздались голоса и *дом осветился*. (ПД)

Возможно, что выбор формы *осветилась* в (29) – а не *освещалась* или *была освещена* – был продиктован чисто художественными соображениями.

7. Данное исследование проведено на весьма ограниченном материале, соответственно его результаты не могут претендовать на обобщающий характер. Однако подобный подход представляется перспективным.

Попробуем сформулировать некоторые ограничения, свойственные исследованиям такого рода. Ясное представление об ограничениях является одной из наиболее существенных предпосылок для получения надежных научных результатов, предохраняя от неоправданных экстраполяций. Во-первых, встает вопрос, в какой степени язык художественных произведений одного автора (в нашем случае, язык прозы Пушкина) может считаться репрезентативным для языка эпохи. Во-вторых, что такое язык эпохи? Существует ли он как нечто единое, основанное на системе общепринятых и универсальных норм? Заметим, что, видимо, с бóльшими основаниями можно говорить о неких узувальных нормах применительно к современному русскому языку (по крайней мере, к его литературному стандарту), хотя и здесь видно – в особенности, при работе с большими корпусами – насколько зыбкими оказываются многие лексические нормы. Это наблюдение подводит нас к формулировке самого существенного – хотя и тривиального – ограничения. Для языковых эпох, подобных пушкинской, в принципе невозможно использование понятия репрезентативного корпуса. Все устные сферы языковой коммуникации не документированы и навсегда останутся за пределами эмпирической базы любого исследования.

При дальнейшей работе в рамках данного подхода необходимо иметь в виду, что мы всегда будем иметь дело с этими ограничениями. При этом условии может быть намечена

некоторая исследовательская программа, предполагающая, в первую очередь, существенное расширение эмпирической базы исследования, в частности привлечение материала публицистических текстов, писем, дневниковых записей самых различных авторов (ср. опыт такого подхода в [Добровольский в печати (а)]). Наиболее значимым результатом подобных исследований могло бы стать выявление всех тех случаев, когда определенные изменения в узусе приводят к постепенной перестройке лексической системы. В качестве системных следует трактовать изменения, затрагивающие целые классы слов. В этих случаях допустимо ставить вопрос о причинах произошедших в языке изменений. Во многих случаях они связаны с развитием определенных семантических категорий, повышением или понижением их коммуникативной значимости.

Осмысленной представляется также гипотеза, согласно которой в лексической системе есть «слабые места», т.е. некоторые фрагменты системы легче расшатываются узусом, в то время как другие обнаруживают удивительную устойчивость. Проанализированные здесь узусальные сдвиги, по-видимому, могут рассматриваться в качестве подобных «слабых мест» лексической системы. Интересно, что для одного и того же явления степень «узусальной подвижности» оказывается различной в разные эпохи развития языка. Например, лексический состав коллокаций, будучи столь подвижным в первой трети XIX века, фиксирован сегодня весьма жестко. С другой стороны, варьирование в сфере глагольного управления характерно и для современного языка; ср. наблюдаемое сегодня в устной речи ненормативное расширение сферы употребления глагольного управления с предлогом *о* (типа *утверждать о чем-л.*), которое может быть проинтерпретировано как определенная устойчивая тенденция, способная расшатать узусальные нормы.

Сокращения

НСВ – несовершенный вид

СВ – совершенный вид

А/Р_{твор.} – прилагательное или причастие в творительном падеже

N_{вин.} – существительное в винительном падеже

Литература

Апресян 1974 – Ю.Д. Апресян. Лексическая семантика. М., 1974.

Виноградов 1935 – В.В. Виноградов. Язык Пушкина: Пушкин и история русского литературного языка. М.; Л., 1935.

Виноградов 1980 – В.В. Виноградов. Стиль «Пиковой дамы» // В.В. Виноградов. О языке художественной прозы. М., 1980. С. 176-249.

Гак 1977 – В.Г. Гак. Сопоставительная лексикология. М.: Международные отношения, 1977.

Гак 1999 – В.Г. Гак. Пушкинская проза и ее французский перевод // Вестник МГУ. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 1999. № 2. С. 18-29.

Добровольский, в печати (а) – Д.О. Добровольский. Лексическая сочетаемость в диахронии (к динамике узуальных норм) // Русский язык сегодня. 2: Доклады IV Шмелевских чтений (23-25 февраля 2000 г.) [В печати].

Добровольский, в печати (б) – Д.О. Добровольский. О языке художественной прозы Пушкина: аспекты лексической сочетаемости // Материалы международной пушкинской конференции. Трир, октябрь 1999 г. [В печати].

Еськова 1999 – Н.А. Еськова. Хорошо ли мы знаем Пушкина? М., 1999.

Жолковский, Мельчук 1967 – А.К. Жолковский, И.А. Мельчук. О семантическом синтезе // Проблемы кибернетики. Вып. 19. М., 1967. С. 177-238.

Земская 1997 – Е.А. Земская. Заметки о русском языке, культуре и быте рубежа XIX-XX вв. (по материалам семейного архива Булгаковых) // Облик слова / Отв. ред. Л.П. Крысин. М., 1997. С. 333-353.

Кибрик 2000 – А.Е. Кибрик. Конструкция с внешним посессором в русском языке // Linguistische Arbeitsberichte. 75. Leipzig, 2000. S. 49-65.

МАС – «Малый академический словарь» Словарь русского языка: В 4 т. М., 1985-1988.

Падучева, в печати – Е.В. Падучева. Русский литературный язык до и после Пушкина // Материалы Международной пушкинской конференции. Трир, октябрь 1999 г. [В печати].

Пеньковский 1999 – А.Б. Пеньковский. Нина. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. М., 1999.

Сиротинина 1965 – О.Б. Сиротинина. К вопросу о роли Пушкина в становлении современных норм порядка слов // Вопросы теории и методики изучения русского языка. Саратов, 1965. С. 137-148.

СЯП – Словарь языка Пушкина. Т. 1-4. М., 1956-1961.

Томашевский 1990 – Б.В. Томашевский. Вопросы языка в творчестве Пушкина // Б.В. Томашевский. Пушкин: Работы разных лет. М., 1990, С. 484-568.

**Сопоставительное изучение неопределенных местоимений-
прилагательных в русском и испанском языках
в рамках референциального подхода**

1. Референциальный подход

к анализу категории определенности/неопределенности

Определенность/неопределенность является категорией референциальной, т.е. связанной с референциальными признаками термовых слов. С изучением категории определенности связаны непосредственно классические работы по теории референции. Описание этой категории опирается на такие лингвистические понятия, как коннотативные и неконнотативные значения [Mill 1970], теория дескрипции [Рассел 1982], различие между понятиями «предложение» и «высказывание» [Строссон 1982].

«Референция – это отношение актуализированного, включенного в речь, имени или именного выражения (именной группы) к объектам действительности» [Арутюнова 1982: 6]. Именно поэтому, когда мы говорим о референции, объектом нашего анализа являются не предложения, а высказывания. Обращаясь к истории данного вопроса, можно отметить, что анализ языка с помощью референциальных механизмов начинается в конце XIX – начале XX века. Интерес к референции – продукт «расширения языковой базы логического языка за счет включения в нее материала обыденной речи, рассматриваемой не только как реальность мысли, но и как орудие коммуникации, а также за счет привлечения фактов, относящихся к построению связного текста» [Арутюнова 1982: 6].

В русской лингвистике вышеуказанные теории получили свое отражение в работах таких авторов, как И.И. Ревзин [1978], Н.Д. Арутюнова [1975, 1982], Е.В. Падучева [1985], А.Д. Шмелев [1985, 1996].

При референциальном подходе в качестве основных признаков берутся следующие: *референтное/нереферентное употребление именной группы* (далее – ИГ) и *известность/неизвестность референта*. Поясним значение следующих референциальных признаков:

Под **денотативным пространством** понимается любой фрагмент внеязыковой действительности.

* Керо Хервилья Энрике - кандидат филологических наук, доцент Отделения славянских языков Гранадского университета (Испания).

«Для всякого языкового выражения, употребляемого в речи, релевантным является то денотативное пространство, в котором фиксируется референт данного языкового выражения» [Шмелев 1996: 23].

Под **референтным** понимается употребление, при котором референт фиксируется в конкретном денотативном пространстве. Вид внеязыковой действительности, на которую указывают данные ИГ, - индивиды [Булыгина 1977: 113]. Под **нереферентным** понимается употребление, при котором референт не фиксируется в конкретном денотативном пространстве [Шмелев 1996: 85]. Вид внеязыковой действительности, на которую указывают данные ИГ, - класс или абстрактный индивид [Булыгина 1977: 113].

Что касается признака **известность/неизвестность референта**, то референт является известным, если до момента речи он попал в денотативное пространство говорящего, например: *Мы провели на вокзале два часа, и наконец поезд пришел* – и неизвестным, если до момента речи он не попал в денотативное пространство говорящего: *На молу стоял какой-то человек, курил, плевал в море* (Булгаков, Мастер и Маргарита).

В результате взаимодействия названных референциальных признаков различаются следующие референциальные статусы. Объект может быть (ср. [Падучева 1985]).

Объект может быть:

1) **референтным и известным** говорящему: имеется в виду референт, который зафиксирован в конкретном денотативном пространстве, и известен говорящему:

Вчера туристы пришли в бассейн на час позже.

2) **референтным, но неизвестным** говорящему: имеется в виду референт, который зафиксирован в конкретном денотативном пространстве, но неизвестен говорящему:

Вчера мой брат был в гостях у друзей: там его познакомили с какими-то девушками.

3) **референтным, известным говорящему, но неизвестным слушающему**: имеется в виду референт, который зафиксирован в конкретном денотативном пространстве, известен говорящему, но неизвестен слушающему:

У тебя есть книги на французском языке? – Кое-какие книги имеются, но мало.

4) **нереферентным**: имеется в виду референт, который не зафиксирован в конкретном денотативном пространстве. В данном случае дифференциальный признак известности/неизвестности не является релевантным:

Иногда слышался из какого-нибудь уединенного озера крик лебедя и, как серебро, отдавался в воздухе (Гоголь, Тарас Бульба).

Объектом нашего анализа являются последние 3 референциальных статуса, потому что в рамках названных референциальных статусов реализуют свое значение те неопределенные местоимения-прилагательные, которые рассматриваются в данной статье.

2. О необходимости классификации предикативных выражений

при сопоставительном анализе

При применении вышеописанного референциального аппарата к сопоставительному анализу двух языков требуется адекватная классификация предикативных выражений, применимая к обоим языкам. Такая классификация должна позволить локализовать именные группы обоих языков в одинаковых временных, пространственных и модальных координатах, и, таким образом, установить параллельные отношения между синтаксическими структурами русского и испанского языков: «Обращение к предикатам, создающим благоприятную обстановку для употребления дескрипции в характеризующей функции, ставит важную для теории референции проблему внутреннего контекста, то есть контекста, ограниченного рамками высказывания» [Арутюнова 1982: 31].

Не останавливаясь на различиях между классификациями, изложим принятую в данной статье концепцию.

Из разных существующих классификаций предикативных выражений мы будем использовать в качестве основы классификацию Т.В. Булыгиной [1982], но с некоторыми дополнениями, идею которых мы взяли из работы Е.В. Падучевой [1985]. Обе эти классификации восходят к известной работе З. Вендлера [1987]. Отметим, что первую попытку в данном направлении сделал У.О. Куайн [1982], а Вендлер выявил различие между предложениями, обозначающими события, и предложениями, обозначающими факты.

Предикат определенного характера формирует высказывание определенного типа. Поэтому в данном исследовании мы сочли возможным говорить не о разных типах предикатов, а о разных типах высказываний.

3. Классификация высказываний

Вслед за работой Т.В. Булыгиной [1982] для сопоставительного анализа различаются следующие виды высказываний:

Утвердительные высказывания

Утвердительные высказывания делятся на два класса. Рассмотрим каждый из них:

а. Утвердительные высказывания с эпизодическим значением

«При эпизодическом употреблении предикативные выражения представляют процессы и события как конкретные, происходящие или произошедшие в некоторый момент или период времени, либо описывают ситуации или состояния, приуроченные к конкретному временному отрезку» [Булыгина, Шмелев 1977: 118]. Например:

На вечере один из гостей рассказывал о какой-то статье, опубликованной в журнале «Наука и Жизнь».

Высказывания, содержащие предикативные выражения с эпизодическим значением, мы будем называть эпизодическими высказываниями.

б. Утвердительные высказывания с квалификативным значением

«При квалификативном употреблении предикативные выражения описывают признаки, не связанные с конкретным моментом времени. Например: быть пьяницей, быть молчаливым» [Булыгина 1997: 118]. Высказывания, содержащие предикативные выражения с квалификативным значением, мы будем называть квалификативными высказываниями.

Эти высказывания не описывают конкретные события или процессы. Выделяются следующие разновидности высказываний с квалификативным значением:

б.1. Высказывания, в которых именная группа соотносится со всем множеством своих денотатов (с экстенционалом). В данных высказываниях имеется в виду представитель класса. Действие имеет вневременной характер. В данном типе высказывания характер ИГ с точки зрения определенности/неопределенности детерминируется самим высказыванием. Например: *Нарезать – Разделять каким-либо режущим инструментом* (БАС, цит. по [Кузьмина 1989: 179].

б.2. Высказывания, в которых именная группа обозначает участников, распределенных по некоторому множеству однотипных событий. В каждом событии участник, вообще говоря, свой, но может быть в каких-то событиях одним и тем же [Падучева 1985: 94; Шмелев 1996: 85]:

Твой брат всегда приносит какие-то интересные журналы.

Высказывания со снятой утвердительностью.

Под высказываниями со снятой утвердительностью мы вслед за работой Е.В. Падучевой [1985], понимаем высказывания, в которых встречаются «модальные слова типа *может, хочет, должен, необходимо*, а также повелительное наклонение и будущее время глаголов, условие, цель, неуверенность предположительность, нереальность; многие пропозициональные установки: *хочет, считает, думает*, и перформативные глаголы – *приказывает, просит*» [Падучева 1985: 94]. Например:

Возьми какой-нибудь лист бумаги и запиши мой номер телефона.

Итак, тип высказывания полностью определяет референциальный статус ИГ. Первые три референциальных статуса встречаются в эпизодических высказываниях, а четвертый референциальный статус встречается в квалификационных высказываниях и высказываниях со снятой утвердительностью.

4. Сопоставительный анализ неопределенных

местоимений-прилагательных в русском и испанском языках

При сопоставительном анализе категории неопределенности первым делом нужно определить факторы, которые необходимо учитывать при переводе неопределенных местоимений-прилагательных с русского языка на испанский.

Объектом нашего анализа являются неопределенные местоимения-прилагательные в русском языке с частицами *кое-, -либо, не-, -нибудь, -то* в единственном и множественном числе, а также лексема *один*, в функции неопределенного местоимения-прилагательного, а не количественного числительного. За рамками нашего анализа остаются неопределенные местоимения-прилагательные, выражающие идею принадлежности (*чей-то, чей-нибудь, чей-либо*).

Вышеперечисленным неопределенным местоимениям-прилагательным соответствуют в испанском языке следующие неопределенные местоимения, прилагательные и словосочетания: *un, algún, cierto, cualquier, un/una + существительное (исчисляемое) + cualquiera* в единственном числе и *unos, algunos, ciertos, unos + существительное (исчисляемое) + cualquiera во множественном числе*. Выбор испанского эквивалента зависит от ряда условий, которые будут рассмотрены ниже. Здесь анализируются только те референциальные признаки, которые являются релевантными для перевода названных местоимений-прилагательных с русского на испанский. Проведенный анализ показывает, что некоторые референциальные признаки не являются релевантными для испанского языка. Объем данной статьи не позволяет подробнее рассмотреть признаки релевантные для испанского языка.

Для проведения описания нами был составлен инвентарь значений (смыслов), выражаемых неопределенными местоимениями в русском языке. За основу были взяты толкования этих слов в толковых словарях русского языка (БАС) и в литературе (ср. [Кузьмина 1989]). Этим толкованиям мы пытались дать более единообразный вид, используя один и тот же метаязык. Для каждого из этих значений мы привели в качестве примера соответствующие выражения на русском и на испанском языках.

Ниже перечислены значения, реализуемые неопределенными местоимениями-прилагательными в русском и испанском языках. Сначала дается общая формула, а потом предлагается формулировка, определяющая основные характеристики каждого частного значения. Нужно отметить, что внутри каждого значения отдельно анализируются лексемы в единственном и во множественном числе. Это оправдывается тем, что разные формы числа одного и того же неопределенного местоимения-прилагательного не одинаково выражают одно и то же значение в русском и испанском языках.

Таким образом, число оказалось важным инвариантом при выборе подходящего неопределенного местоимения-прилагательного в обоих языках. Внутри каждого значения так же анализируются факторы, ограничивающие выбор неопределенных местоимений-прилагательных.

Следует оговорить, что в этой части рассматривается только наиболее простой тип референции: это референция к конкретным объектам (т. е. исчисляемые существительные – одушевленные и неодушевленные).

Не являются объектом нашего анализа значения типа ‘похоже на, вроде’, требующие конкретного референта и имеющие сопоставительный характер. Например:

*Лизевата Прокофьевна становилась с каждым годом все капризнее и нетерпеливее, стала даже **какая-то чудачка**, но так как под рукой все-таки оставался весьма покорный и приученный муж, то излишнее и накопившееся изливалось обыкновенно на его голову, а затем гармония в семействе восстанавливалась опять, и все шло как не надо лучше.// Lisaveta Prokofievna cada año se volvía más caprichosa e impaciente, se volvió **una mujer excéntrica**,... (Достоевский, “Идиот”).*

4.1. Подход к описанию семантики

неопределенных местоимений-прилагательных

Для сопоставительного анализа внутри каждого из вышеописанных значений предлагается следующая схема анализа:

1. Определение референциальных параметров значения.
2. Анализ типов высказываний, характерных для каждого значения.

С этой целью будет использована классификация высказываний, описанная выше.

4.2. Анализ значений

неопределенных местоимений-прилагательных

4.2.1. Конкретный референт, неизвестный говорящему в момент речи.

Референциальные параметры данного значения следующие: говорящий имеет в виду конкретный референт, который зафиксирован в конкретном денотативном пространстве. Референт неизвестен говорящему, поскольку первый раз попадает в его денотативное пространство.

Данное значение встречается в эпизодических высказываниях. При наличии данного значения в высказываниях со снятой утвердительностью, говорящий указывает на конкретный и неизвестный ему референт, зафиксированный в конкретном денотативном пространстве: *Саша вышла замуж за **какого-то араба**. //Sasha se casó con **un árabe**.*

ИГ в единственном числе

Стандартным способом для выражения данного значения в артиклевых языках является неопределенный артикль *un*, а в русском языке неопределенное местоимение *какой-то*

При употреблении какой-то «говорящий понимает, что может потребоваться более точная характеристика, но не может описать объект точнее» [Шмелев 1996: 115]. Другими словами, с помощью *какой-то* говорящий показывает, что у него не хватает знаний, чтобы

точнее охарактеризовать референт. «Неполнота сообщаемой слушателю информации определятся недостатком знаний говорящего» [Селиверстова 1988: 60].

В это время вдруг отворилась дверь из кабинета и какой-то военный, с портфелем в руке, громко говоря и откланиваясь, вышел оттуда. // En ese preciso instante se abrió la puerta del despacho y salió un militar con una cartera en la mano, hablando en voz alta y asintiendo con la cabeza (Достоевский, Идиот).

Сняв с себя одежду, Иван поручил ее какому-то приятному бородачу, курящему самокрутку возле рваной белой толстовки и расшнурованных стоптанных ботинок // Iván se quitó la ropa y se la dio a un barbudo de aspecto agradable, que fumaba tabaco liado al lado de una t o l s t o v k a (prenda de vestir típica rusa) raída de color blanco y de unos zapatos con ia suela destrozada y con los cordones sueltos (Булгаков, Мастер и Маргарита)

ИГ во множественном числе.

Во множественном числе данное значение в русском языке способно выражать неопределенное местоимение *какие-то*, а в испанском языке ему могут соответствовать два неопределенных местоимения во множественном числе – *unos* и *algunos*:

На столе лежат какие-то книги. Убери их и накрой стол. // En la mesa hay algunos (unos) libros. Recógelos y pon la mesa.

Данные неопределенные местоимения-прилагательные – *unos* / *algunos* – при одинаковых референциальных характеристиках употребляются одинаково, хотя у *algunos* обнаруживается количественный партитивный оттенок, который не выражается у *unos*. *Algunos* по своей семантике ближе к местоимению *некоторые* или *несколько*, чем к местоимению *какие-то*. *Unos* всегда выражает бóльшую степень конкретности по отношению к референту, чем *algunos*:

Город уже жил вечерней жизнью. В пыли пролетали грузовики, на платформах коих, на мешках, раскинувшись животами кверху, лежали какие-то мужчины // La ciudad ya vivía su vida nocturna. Los camiones pasaban a gran velocidad entre el polvo, y en los andenes, sobre los sacos, estaban tumbados unos (algunos) hombres или había tumbados algunos hombres (Булгаков, Мастер и Маргарита).

Между тем господин Голядкин-младший, захватив из кареты толстый зеленый портфель и еще какие-то бумаги, приказав, наконец, что-то кучеру, отворил дверь, почти толкнув ею господина Голядкина-старшего... // Entre tanto el señor Goliadkin hijo, tras coger del carruaje una carpeta verde y gruesa y algunas (unas) hojas y ordenar algo al cochero, cerró la puerta dando un ligero empujón al señor Goliadkin padre... (Достоевский, Двойник).

Единственный случай, когда в испанском языке нет эквивалента для местоимения *какой-то*, - это появление *какой-то* в сопровождении числительного:

Одинокий, хриплый крик Ивана хороших результатов не принес: две каких-то девицы шарахнулись от него в сторону, и он услышал слово «пьяный» // El grito ronco y solitario de Iván no trajo ningún resultado positivo. Dos chicas se echaron a un lado bruscamente y entonces se oyó la palabra «borracho» (Булгаков, Мастер и Маргарита).

Таким образом, в отличие от русского языка, где есть способ передать неопределенный характер референта при наличии числительного, в испанском языке это оказывается невозможным.

4.2.2. «Точно не определяемый, известный говорящему, но сохраняемый в фоне его знания». Референциальные характеристики: референт известен говорящему, но говорящий умышленно скрывает от адресата его отличительные черты. Характеристики референта не эксплицируются в тексте, но остаются в зоне говорящего. Данное значение можно встретить в эпизодических высказываниях. При наличии его в высказываниях со снятой утвердительностью говорящий указывает на конкретный и известный ему референт, фиксированный в конкретном денотативном пространстве.

ИГ в единственном числе

Лексемы, способные выражать данное значение в единственном числе в русском языке, - *один, кое-какой, некий*, а в испанском – *un, cierto, algún* (ограниченное употребление).

В русском языке *один* употребляется, когда говорящий собирается дальше охарактеризовать референт: «говорящий использует местоимение *один* в тех случаях, когда располагает какими-то дополнительными сведениями о референте, но предполагает, что референт не может быть идентифицирован адресатом речи» [Шмелев 1995: 98]:

Наконец, сцена опять переменяется, и является дикое место, а между утесами бродит один цивилизованный молодой человек, который срывает и сосет какие-то травы, и на вопрос феи: зачем он сосет эти травы?...// Y por fin cambia el escenario y aparece un lugar salvaje y entre las rocas deambula un joven educado que va arrancando y chupando algunas hierbas y una hechicera le pregunta: ¿Para qué chupa esas hierbas?...(Достоевский, Бесы).

Однажды, еще при первых слухах об освобождении крестьян, когда вся Россия вдруг взликовала и готовилась вся возродиться, посетил Варвару Петровну один проезжий петербургский барон, человек с самыми высокими связями и стоявший весьма близко у дела // Una vez, cuando corrían los primeros rumores sobre la liberación de los campesinos, ...visitó a Várvara Petrovna un barón de San Petersburgo que estaba de paso, una persona con los contactos al más alto nivel y que conocía muy bien el asunto (Достоевский, Бесы).

Я тебе привез одну книгу из Испании, но никак не могу ее найти // Te he traído un (cierto) libro de España pero no lo encuentro por ninguna parte.

Один чаще всего употребляется в интродуктивной функции, и именно поэтому переводится на испанский с помощью неопределенного артикля *un*. Известно, что имя в интродуктивных предложениях обладает особым типом референции: оно относится к объекту, известному говорящему, но еще не известному адресату. Как отмечается в работах Гака [1998], Федоровой [1994], оно ориентировано на адресата: в именных группах обычно выражена неопределенность, говорящий как бы принимает точку зрения адресата.

У меня был один приятель...// Yo tenía un amigo...

Жил-был один король...// Érase una vez un rey...

Один также может добавлять к основному значению значение уникальности референта. В этом случае ИГ переводится на испанский язык с помощью *sólo (solamente)* + существительное:

А ведь он еще, пожалуй, всех вас умнее был! Вы мало того что просмотрели народ, - вы с омерзительным презрением к нему относились, уж по тому одному, что под народом вы воображали себе один (только) французский народ, да и то одних парижан, и стыдились, что русский народ не таков.// Y es que él todavía, al parecer, era más inteligente que vosotros! Vosotros con un repugnante desprecio os dirigíais a él, solamente porque por pueblo vosotros os imaginábais sólo al pueblo francés, y de entre los franceses sólo a los parisinos, y os daba vergüenza de que el pueblo ruso no fuera así. (Достоевский, Бесы).

Некий также может выражать данные референциальные характеристики, но при этом добавляет некоторую интригу по отношению к названному референту. Разница между *некий* и *один* заключается в том, что при употреблении *некий* говорящий дальше не характеризует референт.

Однажды мне случилось присутствовать на занятиях литературного кружка, где – по выражению Маяковского – некий профессор «учил молотобойцев анапестам» // Una vez tuve la posibilidad de asistir a las clases del círculo literario, donde según palabras de Maiakovsky, un (cierto) profesor enseñaba anapestos a los martilladores (Маршак, Статьи и заметки о мастерстве).

Не было ли похоже на лихое сочинение чеховского Егора некое писмецо – тоже от имени деревенской бабы, но почему-то в стихах, за подписью известного поэта? // No se parecía a la intrépida redacción del personaje de Chejov Egor, una (cierta) carta, también al parecer de una mujer de pueblo pero por algún motivo en verso... (Маршак, Статьи и заметки о мастерстве).

Кое-какой может встретиться в данном значении только по отношению к неисчисляемым существительным. В контексте местоимения *кое-какой* существительное часто употребляется в уменьшительной форме, что как бы говорит об определенном уровне интимизации референта со стороны говорящего. Неопределенный характер референта, при переводе на испанский, с точки зрения его количества делает невозможным употребление *un* и возможным употребление *algún*. Чаще всего это встречается в разговорной речи:

Пришел кое-какой товарец. И наш и зарубежный // Nos ha llegado cierta (alguna) mercancía procedente tanto de nuestro país como del extranjero (И.Штемлер, цит. По [Кузьмина 1989: 181]).

Можешь мне верить, я располагаю кое-какой информацией.// Me puedes creer tengo (alguna/cierta) información.

Употребление *кое-какой* в квалификативных высказываниях, в которых ИГ обозначает участников, распределенных по некоторому множеству однотипных событий, возможно только в том случае, если это всегда один и тот же референт:

Он всегда приносит кое-какой товарец // Siempre trae alguna mercancía (всегда один и тот же).

В испанском языке для передачи данного значения используется *un*. *Cierto* употребляется в тех случаях, когда говорящий хочет внести элемент интриги по отношению к характеру референта. *Un* и *cierto*, как показывают все проанализированные примеры, взаимозаменяемы во всех вышеперечисленных контекстах. *Un* выражает данное значение только в высказываниях от первого лица, а *cierto* в высказываниях и от первого и от третьего лица.

ИГ во множественном числе.

Во множественном числе в русском языке данное значение выражает местоимение *кое-какие*:

Итак, успокоив теперь вполне свою совесть, взялся он за трубку, набил ее и, только что начал порядочно раскуривать, - быстро вскочил с дивана, трубку отбросил, живо умылся, обрился, пригладился, натянул на себя вицмундир и все прочее, захватил кое-какие бумаги и полетел в департамент.// De esta forma, tras haber tranquilizado completamente su conciencia, cogió la pipa, la llenó, y no había hecho más que ponerse a fumar tranquilamente cuando pegó un salto del sillón, tiró la pipa, se aseó rápidamente, se afeitó, se arregló, se puso el uniforme, cogió (algunas/ciertas) hojas y se fue al departamento (Достоевский, Двойник).

Некоторое время еще мелькали кое-какие лица кругом кареты, уносившей господина Голядкина; но мало-помалу стали отставать-отставать и наконец исчезли совсем.// Durante algún tiempo más aparecían y desaparecían (algunas/ciertas) caras alrededor del carruaje; poco a poco iban desapareciendo hasta que desaparecieron del todo (Достоевский, Двойник).

В испанском языке есть три возможных эквивалента для *кое-какие*: *unos*, *algunos* и *ciertos*. *Unos* и *algunos* выражают данное значение только в высказываниях от первого лица: *Я тебе привез кое-какие вещи из Испании.// Te he traído algunas (unas) cosas de España.* *Ciertos* употребляется в высказываниях от первого и третьего лица. *Unos*, *algunos* и *ciertos* взаимозаменяемы во всех вышеперечисленных контекстах:

Я тебе купил кое-какие вещи, которые тебе понравятся // Te he comprado algunas (unas, ciertas) cosas que te van a gustar.

У меня дома кое-какие книги, которые могут тебя заинтересовать // En casa tengo ciertos (algunos, unos) libros que a lo mejor te interesan.

4.2.3. «Точно не определяемый, но предполагаемый»: говорящий предполагает какой, но точно не определяет.

Данное значение встречается в контексте квазиасертивов *кажется, вроде*. Эти слова имеют особенную семантику, поскольку «не выражают предположение, а свидетельствуют, что говорящий не уверен в имеющихся у него сведениях. (В отличие от показателей гипотетичности *вероятно, наверно, возможно*)» [Шмелев 1995: 96]. Данное значение можно охарактеризовать как референтное, поскольку у говорящего нет точных сведений, свидетельствующих об осуществлении действия, но имеющиеся у него сведения позволяют ему думать, что действие на самом деле совершилось.

ИГ в единственном числе.

Наличие квазиасертивов в эпизодических высказываниях делает необходимым в данном случае употребление неопределенного местоимения-прилагательного *какой-то*: референтный характер, который приобретает ИГ в данных контекстах, исключает возможность употребления *какой-нибудь*. Е.С. Яковлева считает, что можно сказать: *Кажется, кто-то пришел*, - но нельзя: *Кажется, кто-нибудь пришел* [Яковлева 1983]. В испанском языке, несмотря на присутствие квазиасертивов, единственно возможным перевод – *algún*, так как говорящий не воспринимает референт как индивидуальный предмет:

Кажется, он взял какую-то книгу // Creo que ha cogido algún libro.

Какой-то нельзя перевести при помощи *un*, потому что в данном случае *un* будет восприниматься как числительное, а не как неопределенный артикль:

*Кажется, он взял какую-то книгу // *Creo que ha cogido un libro.*

В данных контекстах *un* является эквивалентом числительного *один*:

Кажется, он взял одну книгу (а не две) // Creo que ha cogido un libro.

ИГ во множественном числе.

Во множественном числе данное значение выражается местоимением *какие-то* в русском языке и *unos u algunos* – в испанском языке, причем *unos u algunos* являются взаимозаменяемыми:

По-моему, он взял какие-то книги // Creo que ha cogido algunos (unos) libros.

Как и в единственном числе, в том случае, если говорящий подразумевает существование референта, *какие-то* переводится на испанский язык как *unos*.

4.2.4. «Точно не определяемый, нереферентный, с дистрибутивным статусом»: говорящий не хочет определять характер референта; он называет не конкретный референт, а класс, объединяющий все известные ему референты.

Данное значение встречается в квалификативных высказываниях, в которых ИГ обозначает участников, распределенных по некоторому множеству однотипных событий. В каждом событии участник, вообще говоря, свой, но он может быть в каких-то событиях одним и тем же. Будут проанализированы именно эти два варианта одного значения. В данных высказываниях ИГ обозначает не индивидуализированный референт, а представителя класса «неперечислимого множества объектов» [Шмелев 1996: 43]. Именно поэтому О.Н. Селиверстова считает, что в таких высказываниях «обычно не реализуется информация о “неизвестности”». Однако указание на то, что каждый раз индивидуализированно охарактеризованный актант сохраняется, но при этом нет отсылки к какому-то отдельному лицу» [Селиверстова 1988: 61].

ИГ в единственном числе.

В случае, если референт известен говорящему по собственному опыту, но он по своей воле не определяет его, возможным эквивалентом для русских *какой-то, какой-нибудь* является в испанском *algún*.

Каждый день он мне приносит какую-нибудь (какую-то) новую книгу // Todos los días me trae algún libro.

Конечно, кое-когда, в продолжение сезона, появится вдруг какой-нибудь чудак, или англичанин, или азиат какой-нибудь, турок, как нынешним летом, и вдруг проиграет или выиграет очень много; остальные же все играют на мелкие гульдены, и средним числом на столе всегда лежит очень мало денег // Por supuesto, de vez en cuando durante la temporada aparece algún tipo excéntrico, o algún inglés, asiático o turco, como ocurrió este verano y de pronto gana o pierde mucho dinero (Достоевский, Игрок).

По целым часам она поднимала князя на смех и обращала его чуть не в шуту. Правда, они просиживали иногда по часу и по два в их домашнем садике, в беседке, но заметили, что в это время князь почти всегда читает Аглае газеты или какую-нибудь книгу // Lo cierto que se pasaban en el jardín conversando unas veces una hora y otras dos pero se dieron cuenta que durante ese tiempo el príncipe casi siempre leía a Aglae periódicos o algún libro (Достоевский, Идиот).

В данном типе высказывания разнообразие возможных потенциальных референтов переводится на испанский язык только при помощи местоимения *algún*.

В высказываниях такого типа можно использовать как *un* в испанском, так и *один* в русском языках, но в этом случае они выступают как числительные:

Каждый день он мне приносит одну новую книгу // Cada día me trae un libro nuevo.

Подразумевается, что субъект каждый день приносит одну книгу и не больше.

В русском языке в данном значении неопределенные местоимения-прилагательные (*какой-нибудь, какой-то*) взаимозаменяемы. Однако они не совсем одинаково выражают обсуждаемое значение.

Представляет особенный интерес разница, существующая между местоимениями *какой-то* и *какой-нибудь* в высказываниях дистрибутивного характера. При употреблении *какой-нибудь* говорящий сообщает о существовании «множества качественно разнородных объектов» [Селиверстова 1965: 132]. Таким образом, говорящий делает обобщающее утверждение о разнородных известных ему референтах, называя их через класс, к которому они принадлежат. Именно поэтому нельзя употребить *какой-нибудь* по отношению к существительным, исключаяющим эту разнородность: нельзя сказать **Он всегда покупал какую-нибудь странную карточку*, но можно сказать *Он всегда покупает какую-то странную карточку*. Мы имеем дело с явлением, которое А.Д. Шмелев называет дистрибутивной неопределенностью: «Дистрибутивная неопределенность имеет в русском языке специальное средство выражения – местоимения на *-нибудь*» [Шмелев 1996: 86].

При употреблении *какой-то* в высказываниях такого типа говорящий подчеркивает однородный характер потенциального референта названного действия. «Группы на *-то* скорее предполагают неальтернативность, т. е. отсутствие смены участника события» [Селиверстова 1988: 84].

Кроме того нужно отметить, что в современном русском языке обнаруживается некоторая тенденция к употреблению *какой-то* в значении *какой-нибудь*.

ИГ во множественном числе.

Во множественном числе в русском языке лексема, способная выражать данное значение, - это местоимение *какие-то*. Ему соответствует в испанском языке нулевой артикль:

Он всегда тебе приносит какие-то интересные книги // Él siempre te trae libros interesantes.

Каждый раз, когда я его вижу, он всегда с какими-то девушками // Siempre que lo veo está con chicas.

4.2.5. Точно не определяемый, нереферентный с генерализованным статусом: говорящий не хочет определять характер референта; он называет не конкретный референт, а класс, имея в виду потенциальные случаи реализации событий.

Данное значение встречается в (квалификативных) высказываниях, в которых ИГ соотносится со всем множеством своих денотатов (имеется в виду представитель класса). В подобных высказываниях в русском языке можно использовать *какой-нибудь* или *какой-либо* (разница между *какой-нибудь* и *какой-либо* заключается в том, что *какой-либо* употребляется в научном стиле речи [Кузьмина 1989: 179]), а в испанском – *ин*. В них говорится о понятии безотносительно к определенному денотативному пространству. Именно поэтому в русском языке в этом случае практически невозможно употребить *какой-то*. Например:

Чтобы начать какой-нибудь хороший бизнес, нужно найти хорошее помещение // Para montar un buen negocio es necesario encontrar un buen local.

Нарезать – Разделять каким-либо режущим инструментом // Cortar: Seccionar con un instrumento cortante. (БАС, цит. по [Кузьмина 1989: 179]).

Существует, однако, тип обобщенных высказываний, в которых возможно употребить местоимение *какой-то*. Семантическая структура подобных высказываний следующая: ‘Если, когда имеет место что-то, то существует то-то’. Особенностью данных высказываний является то, что они «по своей структуре близки к многократным» [Селиверстова 1988: 93].

Если какая-то работа тебя увлекает, ты ее делаешь с удовольствием // Cuando al hacer un trabajo te resulta entretenido, lo hacer con gusto.

Интересно отметить, что употребление *какой-либо* здесь невозможно: **Если какая-либо работа тебя увлекает, ты ее делаешь с удовольствием.*

4.2.6. «Безразлично какой»: говорящему все равно, какой. Имеет исключительно нереферентное употребление. Данное значение выражается в высказываниях, где референт отсутствует, потому что он не выбран [Селиверстова 1964].

Данное значение встречается в высказываниях со снятой утвердительностью.

ИГ в единственном числе.

Это значение в русском языке выражает лексема *какой-нибудь*, а в испанском языке – *algún*. Употребление *un* и *один* в названных высказываниях возможно, но оно отличается от употребления *algún* и *какой-нибудь*.

Неопределенный характер референта больше подчеркивается при употреблении *какой-нибудь/algún*, чем *un*. Даже создается впечатление, что *какой-нибудь* и *algún* оставляют открытой возможность существования более, чем одного референта при осуществлении действия. Употребление *какой-нибудь/algún* показывает большую степень безразличия говорящего по отношению к выбору референта:

Успели вы что-нибудь в самом деле сделать? Не послали ли какого-нибудь письма по глупости? // Le ha dado tiempo de hacer algo en realidad? No habrá mandado alguna carta por casualidad? (Достоевский, Бесы).

Если козак проворовался, украл какую-нибудь безделицу, это считалось уже поношением всему козачеству: его, как бесчестного, привязывали к позорному столбу и клали возле него дубину, которою всякий проходящий обязан был нанести ему удар, пока таким образом не забивали его насмерть // Si un cosaco robaba alguna bagatela se consideraba una ofensa a toda la sociedad cosaca... (Гоголь, Тарас Бульба).

Да, убежим, убежим от этих людей, от этого света в какой-нибудь далекий, прекрасный, свободный край // Si, huyamos, huyamos de esta gente, de este mundo a alguna tierra lejana preciosa y libre (Тургенев, Дым).

ИГ во множественном числе.

Единственные неопределенные местоимения-прилагательные, способные выражать данное значение, - это местоимение *какие-нибудь* в русском языке и местоимение *algunos* – в испанском:

Купи мне какие-нибудь книги // Cómprame algunos libros.

4.2.7. «Какой бы то ни было»: говорящий дает пренебрежительную оценку классу объектов: «ничем не выдающийся, средний, обычный».

Исключительно нереперентное употребление, которое особенно часто встречается в отрицательных высказываниях. По отношению к тем существительным, которые являются объектом нашего анализа, используется очень редко. Чаще всего употребляется в контексте противопоставления и постпозиции.

ИГ в единственном числе.

Слова, выражающие данное значение в русском языке, - это местоимение *какой-нибудь*, а в испанском языке - *cualquier*, или *un* + существительное + *cualquier/a*:

Купи себе не какую-нибудь машину, а Mercedes. // Cómprate no un coche cualquiera sino un Mercedes.

Пейоративный оттенок особенно заметен в постпозиции по отношению к имени:

Наконец, серый осенний день, мутный и грязный, так сердито и с такой кислой гримасой заглянул к нему, что господин Голядкин никаким уже образом не мог более сомневаться, что он находился не в тридесятom царстве каком-нибудь, а в городе Петербурге, в столице, в Шестилавочной улице, в четвертом этаже одного весьма большого, капитального дома, в собственной квартире своей. // Goliadkin no podía ya dudar de ninguna manera que se encontraba no en un reino cualquiera sino en la ciudad de San Petersburgo, en la capital, en la calle Shastilavoslaia, en la cuarta planta de un enorme y sólido edificio, en su propia casa (Достоевский, Двойник)

ИГ во множественном числе.

Во множественном числе данное значение выражается с помощью местоимения *какие-нибудь* и *какие-либо* в русском языке, в испанском - с помощью *unos* + существительное + *cualquiera*.

Это тебе не какие-нибудь машины, а Mercedesы // Estos no son unos coches cualquiera, son Mercedes.

4.2.8. «Не все» «Часть целого». [Николаева 1983].

Неопределенные местоимения-прилагательные, способные выражать данное значение, - местоимение *некоторые* - в русском языке, и *algunos* - в испанском языке:

Семейка эта, повторяю, сошлась тогда вся вместе в первый раз в жизни, и некоторые члены ее в первый раз в жизни увидели друг друга // La familia esta, repito, se

reunió por primera vez en la vida entonces y, algunos de sus miembros se vieron por primera vez en la vida (Достоевский, Братья Карамазовы).

Некоторые из распавшихся банковых билетов еще валялись на полу; я их подобрал.// Algunos de los billetes que habían quedado esparcidos por todo el suelo todavía estaban allitrados; y yo los cogí (Достоевский, Игрок).

Партикативный характер данного значения делает возможным употребление соответствующих местоимений в референтных и нереферентных высказываниях, поэтому они могут встречаться во всех рассмотренных выше типах высказываний.

5. Выводы

Многочисленные существующие до сих пор теории, определяющие характер ИГ с точки зрения ее определенности/неопределенности, частично решали только проблему характеристики именной группы как определенной или неопределенной. Проблема заключается в том, что эти теории изучали частные проблемы в рамках данной категории, не учитывая ее комплексный характер. Именно поэтому необходимо найти подход, позволяющий сопоставлять языки, разные с типологической точки зрения. Референциальный подход, как показал проделанный анализ, по своему универсальному характеру создает необходимую базу для изучения данной категории. Однако референциальный подход – не единственный критерий при анализе категорий определенности/неопределенности, поэтому, при анализе неопределенных местоимений-прилагательных, в рамках каждого значения были выделены, кроме референциальных характеристик, другие факторы грамматического и стилистического характера, позволяющие определить эквивалент русских неопределенных местоимений-прилагательных в испанском языке.

Литература

Арутюнова 1976 – Н.Д. Арутюнова. Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы. М., 1976.

Арутюнова 1982 – Н.Д. Арутюнова. Лингвистические проблемы референции // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII. Логика и лингвистика. М., 1982.

Арутюнова – Н.Д. Арутюнова. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М., 1988.

Булыгина 1982 – Т.В. Булыгина. К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов. М., 1982.

Булыгина, Шмелев 1997 – Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев. Языковая концептуализация мира. М., 1997.

Вендлер 1987 – З. Вендлер. Факты в языке // Философия, логика, язык. М., 1987.

- Гак 1998 – В.Г. Гак. Языковые преобразования. М., 1998.
- Куайн 1982 – У.О. Куайн. Референция и модальность // Новое в зарубежной лингвистики. Вып. XIII. М., 1982.
- Кузьмина 1989 – С.М. Кузьмина. Семантика и стилистика неопределенных местоимений // Грамматические исследования. Функционально-стилистический аспект: Суперсегментная фонетика. Морфологическая семантика. М., 1989.
- Николаева 1983 – Т.М. Николаева. Функциональная нагрузка неопределенных местоимений в русском языке и типология ситуаций // ИАН СЛЯ. 1983. Т. 45. №4.
- Падучева 1985 – Е.В. Падучева. Высказывание и его соотношение с действительностью. М., 1985.
- Рассел 1982 – Б. Рассел. Дескрипции // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII. М., 1982.
- Ревзин 1978 – И.И. Ревзин. Структура языка как моделирующей системы. М., 1978.
- Селиверстова 1964 – О.Н. Селиверстова. Опыт семантического анализа слов типа **все** и типа **кто-нибудь** // ВЯ. 1964. №.4. С. 80-90.
- Селиверстова 1988 – О.Н. Селиверстова. Местоимения в языке и в речи. М., 1988.
- Строссон 1982 – П.Ф. Строссон. О референции // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII. М., 1982.
- Федорова 1994 – Типология средств интродукции референта: Автореф. дисс... канд. Филол. Наук. М., 1994
- Шмелев 1984 – А.Д. Шмелев. Определенность-неопределенность в названиях лиц в русском языке: Автореф. дисс. ... канд. Филол. Наук. М., 1984.
- Шмелев 1996 – А.Д. Шмелев. Референциальные механизмы русского языка. Helsinki, 1996.
- Яковлева 1983 – Е.С. Яковлева. Значение и употребление модальных слов, относимых к разряду показателей достоверности/недостоверности. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1983.
- Mill 1970 – St. Mill. Of names // Theory of Meaning. Prentice-Hall, 1970.

Redactions of the Primary Chronicle

At the outset, the Primary Chronicle (the Tale of Bygone Years) states its mission – «**повѣсти времена ныѣ лѣтъ. ѿкуда єсть пошла рѹскаѧ зємѧ**»—and leads us through the history of Rus, from origin myths through the conversion to Christianity and a century of internecine conflict to Vladimir Monomakh’s ascension to the throne of Kiev in 1113.

It is not self-evident how the chronologically complex and layered text of the Primary Chronicle came into being. The relevant facts have long been known; the arguments have been formulated. Any further discussion is condemned to repeat these familiar facts and observations. And yet there seems to be no satisfactory synthetic account of the history of the Primary Chronicle. The discussion below takes as a point of departure the hypothesis of A. A. Shakhmatov that the Primary Chronicle resulted from a series of four editorial events (redactions or compilations) over the period from the 1090s through the 1110s. Shakhmatov’s analysis merits attention in part because all subsequent work on the chronicles has been written in his shadow, whether that work is orthodox [Priselkov 1940; Likhachev 1947; Cherepnin 1948; Likhachev 1950, 2], heretical [Istrin 1922<1924>; Bugoslavskii 1941; Aleshkovskii 1969; Kuz’min 1977], cautious [Tvorogov 1987, Lur’e 1990], or skeptical [Cross and Sherbowitz-Wetzor 1953]¹. But more than that, Shakhmatov’s hypotheses still merit attention because they are perhaps not so far from the truth. If one sorts through Shakhmatov’s observations, selecting those that are motivated and avoiding less motivated constructs, it may be possible to articulate a coherent reconstruction of the processes whereby the Primary Chronicle took shape in that decisive period.

It will be useful to have a preliminary conception of how chronicles were written. Shakhmatov, as is well-known, viewed the history of chronicles primarily in terms of punctual events in which editorial operations were applied to self-contained texts: a single lineage of text might be edited (редакция) or heterogeneous source texts might be compiled (свод). (Below I use «editorial event» or «editorial act» as a general term to refer to either type of activity.) In the following, it will be valuable to think not only in terms of editorial events but also in terms of the activity of the individual who was responsible for the chronicle. The primary task of such an individual was to serve as an annalist – to compose yearly annals that would be appended to the end of the existing manuscript.

* Алан Тимберлейк – профессор Отделения славянских языков и литератур Калифорнийского университета в Беркли

In this respect chronicles were a textual tradition that was «open» (in the sense of [Picchio 1981; Picchio 1991: 46–47; Goldblatt 1997: 84–85]). Chronicles were occasionally open in another, more profound sense as well. On some exceptional occasions, a chronicler might edit the chronicle, revising the inherited text or interpolating external texts (chronographs, oral tales, homilies), or comparing and compiling multiple versions of related texts. When a chronicle was edited, it was copied. Not all activities—composition, editing, compiling, copying—occurred at all times, or to the same extent. Still, one individual was responsible for the chronicle at a time, and that individual—the «scribe» (etymologically, one who writes) or the «chronicler,» to use broad terms—could act not only as annalist but sometimes also as editor, compiler, and copyist.

The chronicle in Novgorod, as analyzed by Gippius [1996], can serve as a parallel. In the manuscript of the older redaction of the First Novgorod Chronicle from 1118 to 1330, although it is a fair copy written in exactly two hands [Gippius 1992], one can discern twelve segments of varying lengths, from seven to thirty-five years, that differ in terms of grammatical and lexical usage. Each segment was evidently composed by a different individual. After 1136, the boundaries between segments usually coincide with a change of archbishops, a coincidence suggesting that the scribe was appointed by the archbishop: the chronicle was an episcopal chronicle and the chronicler was the episcopal amanuensis. The most prominent example is one Timofei, who maintained the chronicle from 1230 to 1274 and whose hand can be identified in six other documents [Gippius 1992]. The episcopal amanuensis was responsible for maintaining the chronicle, above all for composing annalistic entries. Occasionally, one or another individual might edit and copy a limited portion of the chronicle, but this was the exception rather than the rule. (Of the twelve scribes, four or five edited some portion of the chronicle [Timberlake 2000].) Except for the obvious difference that the Kievan chronicle was kept in a monastery, not under the auspices of the archbishop, the Kievan chronicle was analogous. In both Kiev and Novgorod, the chronicle at any time was the responsibility of one scribe, who was above all the annalist, but who might perform other activities as well. The Novgorod chronicle, then, suggests that we look at the history of chronicles not only in terms of editorial events (redactions, compilations) but also in terms of the activity of the individuals who assembled the chronicles.

Let us now turn to Shakhmatov's hypotheses about the Primary Chronicle. Shakhmatov [1908: v] believed that a chronicle was kept in Kiev from the first half of the eleventh century. Shakhmatov hypothesized that the chronicle was edited early on, around 1039 and again in 1073. (These early editorial events will not be discussed below.) Shakhmatov noticed that the entry of 1093 offers a homily on the defeat of Rus by the invading Polovtsi. In some lost texts used by Tatishchev, the homily ended with «amen» [Shakhmatov 1908: 11]. In this «amen» Shakhmatov detected a seam in the text. A seam for Shakhmatov meant an editorial act, which he dated to 1093–1095. Shakhmatov believed that this act involved compilation of multiple chronicles, and he

termed this act and the text that resulted the «Nachal'nyi svod» or, as I will call it here (there is no standard English term), the «Base Compilation.»

Shakhmatov thought that such an editorial act marked the end of one scribe's career and the beginning of a new scribe's activity. (This tacit axiom of Shakhmatov's is curious, for it presumes that a scribe could anticipate the end of his career. One might suggest that it would be more natural to expect that a chronicler would engage in significant editing at the beginning of his career, if at all.) After the Base Compilation in 1095, a new scribe took over and was active until the beginning of the 1110s. Again, as this scribe approached the end of his career, he undertook the task of editing the inherited text of the chronicle. Shakhmatov judged that the chronicle, which was composed in the Crypt Monastery, reflects a favorable attitude on the part of the monastery to Sviatopolk Iziaslavich, but not to his competitor, Vladimir Monomakh [Shakhmatov 1940: 35]. Therefore, reasoned Shakhmatov, this scribe must have completed his redaction before Sviatopolk's death and Monomakh's accession in 1113. As a date, Shakhmatov proposed 1113 [1908: 2] or 1112 [1916: xi] or 1111 [1916: xviii]. Shakhmatov confidently identified the chronicler as Nestor, known independently as the author of two hagiographic works: «не сомневаюсь в том, что нам известно имя того автора, который около 1111 года составил в Киевопечерском монастыре Повесть временных лет. Это был Нестор» [1916: xviii]. (The question of whether Nestor the hagiographer was also a chronicler will not be treated below.) This editorial act and the resulting text Shakhmatov termed «first redaction» of the Primary Chronicle. After the first redaction, Shakhmatov hypothesized two more redactions occurring in quick succession, the second in 1116, the third in 1118.

Let us now consider the evidence for these four editorial acts – the Base Compilation and then the three redactions of the Primary Chronicle – going in reverse chronological order from the last redaction, Shakhmatov's so-called third redaction. Shakhmatov's reason for positing a third redaction was that the character of the narrative, expansive and detailed in 1116 and 1117, becomes more laconic in 1118, and he took this to mean that a new scribe had begun to work. For Shakhmatov, a change of scribes meant that the previous scribe had undertaken a redaction of the chronicle. In addition to the change in the quality of narrative at 1118, Shakhmatov [1916] offered four arguments to justify the third redaction of 1118. These arguments are not especially compelling [Müller 1967]. It will nevertheless be instructive to examine the most plausible of the four.

That argument concerns two entries relating to the North. The first, under 1096, begins, «се же хощю сказати· ꙗже слышахъ преже си хъ ·ѿ· лѣтъ· ꙗже сказа ми Гүрлата Роговичь» [ур 224; Laur 234]. The chronicler then recites Giuriata's tale of an exotic people who dwell in inaccessible mountains to the North and trade furs for iron. The chronicler responds to Giuriata by identifying these people as one of the unclean people shut away by Alexander the Great, in accordance with the Revelations of Methodius of Patara, which the chronicler quotes at length

[Cross 1929; Shakhmatov 1940: 92–103]. This passage follows immediately after another passage in 1096 that quotes Methodius and identifies the invading Polovtsi as descendants of Ishmael. There are differences in the way these two successive passages quote Methodius, implying that there are two chronologically distinct layers of text here composed (or copied) by two different scribes. Evidently the second passage was inserted by a later chronicler in response to the first [Shakhmatov 1940: 103]. In fact, the second passage ends with «НО МЫ НА ПРЕДНАМІА ВЗВРАТИ^МСА» [Laur 236], a formula that might well mark an insert. The second passage, as a later insert, has no temporal connection to 1096. When the chronicler says that he heard the tale from Giuriata four years ago, those four years have to be reckoned from the time of writing, which was *not* 1096.

In the other northern entry occurs under 1114, the chronicler gives a factual report of construction in the North and then intrudes, much as he did in 1096: «ПРИШЕДШЮ МИ В ЛАДОГУ ПОВѢДАША МИ ЛАДОЖАНЕ ...» [Hyp 277]. He then reports some surprising natural events and mentions again the Yugra and the Samoyede. Citing an unnamed «chronograph» as an authority, he goes on to discuss the exotic mores of Egyptians.

Shakhmatov [1916: vi–vii] guessed that the two northern entries of 1096 and 1114 were written by the same scribe at the same time, four years after he returned from a journey to the North. Shakhmatov reasoned that if 1114 was the time of the journey, the writing would have taken place four years later, in 1118 (or perhaps more accurately, in the fourth year after 1114, in 1117 – [Aleshkovskii 1969: 24]. If so, a scribe writing in 1118 (or 1117) could have added the comment under 1096 only by inserting it in the process of editing. Hence, argues Shakhmatov, there must have been an editorial act in 1118, which was the last in the series of three redactions of the Primary Chronicle.

Shakhmatov had good reason for believing that the two northern entries of 1096 and 1114 were written by the same scribe [1940:26]: they refer to the same exotic tribes, the Yugra and the Samoyede; there is a similarity in the structure of the entries, which progress from recounting a personal source to quoting a Byzantine source; both entries reveal a fascination with exotic peoples. There is, however, no reason to think that the scribe's journey took place in 1114. The 1114 entry was prompted by construction in Ladoga. The connection between that annalistic entry and what the chronicler heard from the inhabitants is «rein assoziativ» [Müller 1967: 176]. It is a connection on the order of, speaking of Ladoga, here's something amazing the locals told me when I went there once. In the same way, the conversation with Giuriata Rogovich under 1096 was prompted by association with the reference to unclean peoples and Methodius of Patara in 1096. The fact that the chronicler put the information under 1114 does not mean that his journey took place in that year. Rather, it is reasonable to take 1114 at face value: 1114 is the year when the entry of 1114 was written. The journey that he recalls occurred in the fourth year before 1114, in 1111. The chronicler, as he composed the entry for 1114 in 1114, also acted as editor and inserted the 1096 anecdote.

Thus, even Shakhmatov's best argument for the third redaction is less than persuasive. Shakhmatov perceived a change in style, from expansive to laconic, from 1117 to 1118, and assumed that any textual boundary meant an editorial act—a redaction or compilation. But such a change in style need not mark an editorial act. It means only that one scribe replaced another, for whatever mundane reason, as happens repeatedly in the Novgorod tradition [Gippius 1996]. I conclude, along with Istrin [1922<1924> :225] and Müller [1967] and Tvorogov [1997], that there are no grounds for positing a redaction in 1118.

The second redaction has a more obvious justification. It has to do with the form in which what we conventionally call the Primary Chronicle – the text into the 1110s – is known. As is familiar, the Primary Chronicle is attested not in its original form, but only in two younger traditions of chronicling that developed out of the Kievan tradition, one «northeastern» (Laurentian chronicle, cited by column here as «Laur», and the younger Radzivil and Academy texts), the other «southern,» which was Kievan until it moved to Galicia-Volhynia at the beginning of the thirteenth century (the fifteenth-century Hypatian text, cited by column as «Hyp» here, and the Khlebnikov text).

The two traditions are quite similar. The Laurentian text of the northeastern tradition is overall more archaic than the southern texts in matters of grammar and orthography. The southern tradition, however, often maintains more expansive readings [Aleshkovskii 1969: 16; Lunt 1988: 261]. It is self-evident that, as texts are transmitted over time, textual traditions can either eliminate text or they can add material, and there is no a priori way of knowing whether expansion or deletion is more probable. With respect to the two traditions of the Primary Chronicle, however, a pattern can be identified. To illustrate, under 1015 both traditions quote the first verse of Psalm 51 and then the first half of the second verse: **«БЕЗАКОНЬЕ ОУМЫСЛИ ПАЗЫКЪ ТВОИ»** [Hyp 123–24; Laur 137]. The northeastern texts break off at this point, halfway through the verse [Tvorogov 1997: 208]. The southern tradition gives the second half of the verse, **«КАКО БРИТВА ИЗОСТРЕНА СТВОРНАЪ [ЕСИ] ЛЕСТЬ»** [Hyp 124], and continues with three more verses of Psalm 51 and two quotations from Solomon (Proverbs 1:26, 1:31). Which reading is original? If one supposed that the shorter version of the northeastern tradition were original, one would have to suppose that some later scribe of the southern tradition, on reading the first verse and a half of Psalm 51, first identified the quotation (not likely) and then found it in need of emendation (why?). Both steps are improbable. The longer reading here must be the original reading, which the northeastern tradition truncated. To generalize from this example, the richer readings, as a rule – not an absolute rule with no exceptions, but a rule of thumb—are original, and, again as a rule, the richer readings are likely to be found in the southern tradition, while the northeastern tradition tends to simplify. The differences between the two traditions in general are no more significant than such occasional simplifications [Tvorogov 1997: 205]. The similarity of the two traditions means it should be

possible to reconstruct the original text common to both traditions (as proposed by Ostrowski 1981, 1999). The similarity also suggests that the later transmission of the Primary Chronicle has been largely faithful. Accordingly, such differences as there may be quite old.

The most significant difference between the two traditions occurs in the text of the 1110s. In the northeastern tradition, the entry of 1110 reports a pillar of fire hovering over the Crypt Monastery, and then one Silvestr makes the statement [Laur 286] that he wrote («написах»), or presumably copied, this text in 1116 when he had been abbot at St. Michael's Monastery («миѣ в то время игуменѣцю»).

Silvestr's statement must have been at the end of the copied manuscript at one time. Indeed, after this colophon, the narrative starts afresh at 1111 and goes on from there. Silvestr's colophon is found only in the northeastern tradition. The southern tradition lacks the colophon and has instead a longer narrative in 1110 and continuous annalistic entries thereafter. That suggests that the southern tradition continues the original chronicle. The copy made by Silvestr eventually became the basis for the northeastern tradition. Silvestr's original colophon is maintained and transmitted in the northeastern tradition, through however many occasions of editing or copying the tradition subsequently underwent, eventually until 1377. The two traditions remained separate after 1116; there was no occasion on which any scribe sat down with texts from both traditions and systematically reconciled differences – otherwise, Silvestr's colophon would be present or absent in both traditions. By extension, it is conceivable that other differences between the two traditions — in particular, places where the northeastern tradition has a briefer reading — go back to 1116. For example, it is conceivable that it was Silvestr himself who, in copying, omitted some passages like part of Psalm 51. But these differences — in the colophon after 1110, and here and there in some (Biblical) passages — are the extent of the differences between the two traditions. Silvestr did little editing. At most, he deleted some passages, if those deletions should be attributed to him, as is plausible though not certain. Shakhmatov termed Silvestr's copy the «second» redaction, but it was minimal as an editorial act.

Prior to Silvestr's act of copying, there must have been a text to copy, a text that contained all material that is common to both traditions. That brings us to Shakhmatov's hypothesis of the first redaction of the Primary Chronicle: the hypothesis that, in the first years of the 1110s, a scribe edited the material that had accumulated to that point and produced the text we now call the Primary Chronicle.

Two facts, both noticed by Shakhmatov, establish the existence of the first redaction and its date, but the date is not one of those Shakhmatov had in mind for the first redaction (1111, 1112, 1113). The entry under 852 promises to survey the history of Rus up to the death of Sviatopolk Iziaslavich. Sviatopolk died on 16 April 1113 [Hyp 275]. In addition, under 1097 an extended narrative describes the blinding of Vasilko. The end of the conflict is given at the end of 1097 and

again under 1100, which tell us where David Igorevich settled and spent the rest of his days: «**ДАША ЕМУ ДОРОГОВУЖЬ В НЕМЖЕ И ОУМРЕ**» [Laur 273, 274]. David did not die until 25 May 1112 [Hyp 273 — Shakhmatov 1916: xxxiv; Likhachev 1950, 2: 466]. Thus the comment under 1097 and 1100, which reflects knowledge of David's death in 1112, was inserted later. As is generally agreed, the Vasilko episode was composed as a separate tale by Vasilko's intimate Vasilii and was inserted later than 1097 [Shakhmatov 1940: 27].

If, then, the entries of 852 and 1100 are anachronisms that were inserted, there must have been an editorial act in which they were inserted. Since the entries are shared by both traditions, that act was by definition the first redaction, the event during which the inherited text was revised and became the common text of the Primary Chronicle. Inasmuch as the tradition fragments into two traditions thereafter when Silvestr copied and signed the Primary Chronicle in 1116, this redaction must have taken place before Silvestr's act of copying. The first redaction, then, can be dated to a precise interval: after the deaths of David Igorevich in 1112 and Sviatopolk Iziaslavich in 1113, but before Silvestr's act of copying in 1116. The possibility of modifying Shakhmatov's chronology for the first redaction was recognized shortly after Shakhmatov published his edition of the Primary Chronicle [1916]. M. D. Priselkov [1923: 89] dated the first redaction to 1114 – 1116 in a popular book about Nestor, though he later retreated to 1113 [1940: 16]. Istrin [1922<1924>:220], citing these very anachronisms, dated the first redaction to a time after Sviatopolk's death. Some have linked the redaction to the translation of Boris and Gleb's relics in 1115 (for example, [Cherepnin 1948]).

Shakhmatov was aware of the anachronistic character of 852 and 1097/1100, and he was aware that these entries conflicted with his attempt to date the first redaction to a time before Sviatopolk's death. His response was to try to use such anachronistic entries to prove that the second and third redactions were indeed substantive editorial acts. Shakhmatov supposed that the proleptic reference to Sviatopolk's death under 852 was inserted by Silvestr in the *second* redaction, which guarantees that it appears in the northeastern tradition. But since that entry also appears in the southern tradition, Shakhmatov has to hypothesize that the text of the second redaction subsequently contaminated the third [1916: xxvii, 1940: 24]. And as discussed above, Shakhmatov believed that the northern entry of 1096 was inserted during the *third* redaction of 1118, but since it is attested in both traditions, the third redaction must have contaminated the second. The other insert mentioned above, Vasilko's tale of the blinding of Vasilii, is found in both traditions. Regardless of which redaction the tale was originally inserted into — whether it was the second, as Shakhmatov thought originally [1940:28; 1916: xxxiv–xxxv], or the third, as he thought towards the end of his life [1938: 363–64] — that redaction will have to influence the other in order for the tale to appear in both traditions. Thus, because Shakhmatov dates the first redaction to a time before Sviatopolk's death in 1113, to account for the fact that these unambiguous inserts are found in both

traditions he has to suppose that the second and third redactions each contaminated the other. That undermines the very idea of the first redaction: the first redaction was to be the editorial act that fixed all material common to the two traditions. Allowing one tradition to influence the other «существенно ослабляет его гипотезу,» as Tvorogov [1987: 341] comments succinctly [Istrin 1922<1924>: 229–231; Müller 1967:178; Tvorogov 1997:204]. This methodological impasse disappears if the first redaction is dated to a time after David's death in 1112 and after Sviatopolk's death in 1113. It is unproblematic to suppose that these inserts (852, 1096, 1097/1100) were made in the interval of 1113–1116. Thus, Shakhmatov's hypothesis of the first redaction is plausible, indeed necessary, as an account of the anachronistic inserts of 852 and 1097/1100, but the redaction occurred later than Shakhmatov supposed.

This brings us to Shakhmatov's hypothesis of the Base Compilation. In a minimal sense, the hypothesis of the Base Compilation is simply the idea that a chronicle existed before the first redaction. After all, if there was a first redaction during which inserts were made, there had to be a prior text that could be edited. Moreover, argued Shakhmatov, that prior stage is actually visible in the First Novgorod Chronicle's younger redaction (abbreviated «Novg1» below). This chronicle reflects the Kievan chronicle in two discontinuous segments. The first extends from the pre-annalistic cosmology to near the end of the Boris and Gleb cycle in 1016, the second from 1045 through 1074 (on the initial date of 1045, see [Gippius 1997: 34–38]. Shakhmatov claims that the Kievan chronicle reflected in Novg1 is not the Primary Chronicle, but the Base Compilation. In support, we may consider one example from each segment.

In the second of the two segments, the interval 1045–1074, the entries seem quite similar to those of the Primary Chronicle, yet a handful of differences can be detected. For instance, 1067 discusses how Iziaslav violated an oath of safe conduct: «Изяславу же в шатеръ преди идушу, [Всеславу по немъ идушу,] тако Всеслава яша на Рши у Смоленьска, преступивше крестъ» [Novg1 186]. The entry has this form in Novg1, where it includes the bracketed phrase about Vseslav. The Primary Chronicle lacks this dative absolute phrase. The form of this entry in Novg1 must be older than that of the Primary Chronicle, since it is unlikely that such a phrase would be invented and added by a scribe in Novgorod. Moreover, the second phrase is necessary to explain what the nature of Iziaslav's treachery was. Thus, the dative absolute phrase was in the source text. It was omitted by a scribe in Kiev as he copied the text. The phrase is missing from both traditions of the Primary Chronicle [Laur 167; Hyp 156], from which it follows that it was missing from the common antigraph for the two traditions, the first redaction of the Primary Chronicle. The inattentive scribe who omitted the dative absolute phrase was the scribe who created the first redaction of the Primary Chronicle. Because the phrase is preserved in Novgorod, we know that the phrase must have been in the some earlier text prior to the first redaction. That is, there was a Base Compilation, in the minimal sense that there was a chronicle text prior to the first redaction.

A more complex instance occurs in the pre-annalistic introduction (briefly mentioned, with a different focus, by Tvorogov [1976: 7–8]). In its version of the introduction, Novg1 refers to the myth that Kiev was named for Kii the ferryman: «яко в нашей странѣ званъ бысть градъ великий Киевъ во имя Кия, егоже нарицают древле перевозника бывша» [Novg1 511–12] — to cite the Troitskii copy of the 1560s, since the fifteenth-century manuscripts are defective here). The contemporary inhabitants of Kiev trace their origin back to pagans: «И бѣша мужии мудрии и смыслении, нарицахуся Поляне, от нихже суть Киеви Полянѣ и до сего дни, бяху же погани, жруще озеромъ, колодяземъ, рощеньемъ, якоже прочии погании» [Novg1 513]. In contrast, the Primary Chronicle in its introduction mentions but derides the myth of Kii the ferryman: «**Ини же не свѣдуще рекоша· тако Кии есть перевозникъ былъ**» [Laur 9]. The Poliane are said to be the ancestors of the inhabitants of Kiev, but nothing is said about their ever having been pagan.

What is the relationship between the two versions of the legend of Kii? In order to mock those who believe that Kii was a ferryman, the chronicler must have been working with an existing text that expressed that belief. That is to say, the original version of the legend is preserved in Novg1, and the Primary Chronicle must be newer, inasmuch as it responds to that older version.

In the two versions of the legend of Kii, then, we can discern two layers of text and, correlatively, two distinct worldviews. The earlier chronicler of the older version of the Kii myth is not embarrassed that his ancestors were pagan or that his city was founded by a mere ferryman. All that matters is that his people are now Christian: «Великъ бо есть промысль божию, еже яви в послѣдняя времена: куда же древле погании жряху бѣсомъ на горахъ, туда же нынѣ святаа церкви златоверхие каменозданныя» [Novg1 512]. The later scribe of the Primary Chronicle has a less naive attitude. He looks at his own people as he imagines, or fears, the Byzantine world might look at them. He structures his discourse to anticipate, and potentially to deflect, an imagined Byzantine reaction [Zhivov 1998]. He allows that the city was founded by Kii, but he presents Kii not as a ferryman but as a prince who was received by the Byzantine emperor. His clinching argument is: «**аще бо бы перевозникъ Кии,**»—as some ignorant people believe—«**то не бы ходилъ Црюгороду**» [Laur 10]. He avoids mentioning that his ancestors were pagan, recognizing that if they had been pagan, their status would be compromised; they would be a neophyte folk, inferior to genuinely apostolic nations. To deflect this potential objection, he provides Kiev with an apostolic origin by tracing its founding back to a journey Andrew made through the East Slavic lands, when he raised a cross on the future site of Kiev [Laur 8]. At the same time, to solidify the status of his own Kievan people, he expresses scorn for the exotic ways of his Slavic brethren, such as the Drevliane and the Krivichi. Their culture is idiosyncratic, for they developed their customs «**не вѣдуще закона Бжїа· но творяще сами собѣ законъ**» (Laur 14). They are chaos, disorder, the barbarian Other, from which the scribe

distances himself and his own Christianized people, who participate in universal culture: «**МЫ ЖЕ Х^СЕГАНЕ ... ЗАКОНЪ ИМАМЪ ЕДИНЪ**» [Laur 16].

There is another indication that Novg1 is based on an older version of the Kievan chronicle in 1015. In Novg1, Gleb's abandoned corpse emits light and is discovered undecayed, as the faithful are promised by Psalm 33:20 [Novg1 173–74]. At the same spot in the Primary Chronicle (both traditions), this narrative and the Psalm are missing, and we read instead a prayer to the two martyrs. Is it possible to say which version is older, which derived? Strikingly, exactly the version of Novg1 is also found in Anonymous's *Skazanie o Sviatykh muchenikakh Borise i Glebe* [Abramovich 1916: 43–44]. The *Skazanie*, composed in Kiev, was not, as far as we know, influenced by the early tradition of Novgorod nor vice versa. Hence the Novg1 version of the recovery of Gleb's relics cannot have arisen on Novgorod soil. The *Skazanie* and the Novg1 version must go back to a common source, to an older stage of the Kievan chronicle, that is, to the Base Compilation [Shakhmatov 1908: 36].

All this is just as Shakhmatov's hypothesis of the Base Compilation would predict: according to his hypothesis, a stage of the Kievan chronicle, similar to but older than the Primary Chronicle, found its way to Novgorod and was incorporated there into the local tradition of chronicling. (Shakhmatov thought this happened in the fifteenth century, but Gippius [1997: 43–47] demonstrates it happened in the late 1160s.) In Kiev, this chronicle from the 1090s was edited, and the result—what we call the Primary Chronicle – has some readings that differ from those of Novg1. The most significant difference occurs in the introduction, where, as just discussed, the scribe who revised the Base Compilation prefixed a different cosmology, but there are other differences. Tvorogov [1976] presented 26 detailed and generally persuasive arguments that, indeed, Novg1 reflects a stage of the chronicle older than the Primary Chronicle. It is worth insisting on the point that the version of the Kievan tradition reflected in Novg1 is older – not merely different, but older – because some scholars are skeptical of the Base Compilation and the idea of chronological layering in the chronicle. Samuel Hazard Cross dismissed the idea out of hand: «In the absence of more substantial countervailing testimony than the hypotheses of Shakhmatov and Istrin, the *Povest'* should for the present be viewed as a homogeneous work» [Cross and Sherbowitz-Wetzor 1953]. Istrin [1922<1924> :64–78] argued that the Novgorod chronicle was based on a text close to the Primary Chronicle; differences between the Primary Chronicle and Novg1 arose within Novgorod by simplifying the original text. Bugoslavskii states [1941:19] that copies of the Novgorod chronicle «не восходят к летописному тексту, более древнему, чем ПВЛ,» and his stemma has Novg1 closer to the southern tradition than to the northeastern. But no scribe could have taken the legend of Kii (introductory cosmology), or Iziaslav's violation of safe conduct (1067), or the prayer to Boris and Gleb (1015), as these texts are

attested in the Primary Chronicle, and modified them to become the text of Novg1. The version of Novg1 must be older.

For Shakhmatov, the hypothesis of the Base Compilation was not only the idea that there was a chronicle prior to the first redaction, but also the idea that the older text was itself the result of an editorial act applied to a tradition of chronicling that existed before that; that editorial act Shakhmatov dated specifically to 1093–1095. It is indeed likely that there was a prior tradition of chronicling. From the 1060s we find continuous annals — entries written with the month and the day, which are therefore entries written contemporaneously with the events themselves [Shakhmatov 1940: 36; Priselkov 1940: 24]. It is more difficult to show that this continuous tradition was subjected to a significant editorial act in the 1090s. Yet there are some indications, which also help to date the period of time over which the scribe of the Base Compilation flourished as the chronicler.

One indication occurs in the extended homily under 1068 in which the invasions of foreign marauders and other woes are blamed on «our sins.» 1068 derives from a homily in the collection of Zlatostrui [Shakhmatov 1940:105–8]. In Zlatostrui, man's sins are blamed for famine, pestilence, drought, and plagues of insects. In the homily under 1068, the main innovation over this Byzantine source was to add the incursions of heathens to the punishments provoked by «our sins»: **«Наводитъ бо Бѣ по гнѣву своему иноплемьники на землю [Laur 167] ... да сего ради казни приемлемъ ѿ Ба всачскыа· и нахоженье ратныхъ по Бжью повелѣнью· приемлемъ казнь грѣхъ ради нашихъ»** (Laur 170). Punishment is an instruction to man to mend his sinful ways: **«[Radz sie] слышашце· въстагнѣмъса на добро»** [Laur 169]. The themes of 1068 are repeated throughout the 1090s, extensively in a long homily under 1093 (**«се бо на ны Бѣ попусти поганы [Radz я]· ... насъ кажа да быхомъ са востагнѣли ѿ злыхъ дѣлъ· симъ казнить ны нахоженьемъ поганыхъ»**) [Laur 222]), and more elliptically in 1092 (**«се же наведе на ны Бѣ· велм на имѣти покаанье· и въстагнѣтиса ѿ грѣха»**) [Laur 215]) and 1096 (**«безбожнии снѣвѣ Измаилеви· пущени бо на казнь хъганомъ»**) [Laur 234]). Thus, the chronicler of the 1090s relied on the same view of history articulated under 1068: we have sinned, and God punishes us through the incursions of pagans, with the aim of teaching us to recoil from our evil ways (**«въстагнѣтиса ѿ грѣха»**) and achieve salvation.

There are two possibilities: the discourse of 1068 might have been put in place contemporaneously in 1068, or it might have been inserted later. There are indications that the homily of 1068 is an insert. The homily of 1068 is placed right after a terse, matter-of-fact account of the battle. Embedded in the battle narrative is a brief comment, cited here in brackets: **«Придоша иноплемьники· на Русьскѣ землю· Половци мнози· Изславъ же и Стѣславъ· и Все^{во}лодъ· изидоша противу имъ· на Лѣто· и бывши ноци подѣидоша противу собѣ· [грѣхъ же ради нашихъ пущи Бѣ на ны поганыа·] и повѣгоша Русьскыи князи· и повѣдиша Половци»** [Laur 167]. This comment interrupts the battle narrative and anticipates the homily that follows [Shakhmatov 1940: 104]. Evidently this comment and the homily were inserted together into the chronicle into an existing, concise, military report.

The homily is closed by the phrase «**МЫ ЖЕ НА ПРЕДЪЛЕЖАЩЕЕ ВЪЗВРАТИ^МСА**» [Laur 170], a formula that could mark the end of an insert. Thus the homily of 1068 seems to be an insert. The inserted text, which differs little from the Zlatostrui except for the introduction and conclusion, might have been an already existing composition (of Feodosii?) or it might have been assembled by the scribe as he inserted it. Unless one wishes to hypothesize other redactions (like Shakhmatov's redaction of 1073), the most likely time for this editorial event is the 1090s, when we see the chronicler using the same sentiments extensively. In short, the homily of 1068 is most likely an insert, and it is probably an insert made during the Base Compilation. If so, the Base Compilation did involve an editorial act.

A second consideration is the role of the voevoda Ian in the chronicle, an issue that deserves further attention than it has received (see [Shakhmatov 1908: 443–44; Priselkov 1940:18–20; Likhachev 1950, 2: 14–16; Kuz'min 1977: 161–62]). The death of Ian, at the impressive age of 90, is reported with sympathy under 1106. In his necrology of Ian, the chronicler states, «**Ѡ НЕГОЖЕ И АЗЪ МНОГА СЛОВЕСА СЛЫШАХЪ. ЕЖЕ И ВПИСАХЪ ВЪ ЛѢТОПИСАНЬИ СЕМЬ**» [Laur 281]. References to Ian occur after 1095, but some also date back before 1095. Under 1093, he is identified by name as one of the «**СМЫСЛЕННИ МУЖИ**» who opposed Sviatopolk's folly [Laur 219]; this report of the war council must have come from Ian. 1091 discusses the death of Ian's wife and her burial place (near Feodosii, whose words were relayed to the chronicler by Ian). Under 1089, the chronicler reports on the dedication of a chapel at the Crypt Monastery [Laur 207–208]. In reporting the ceremony, the chronicler surveys the landscape of Kiev and reminds us who was prince (Vsevolod), who was abbot of the Crypt Monastery (Ioann), and even who was voevoda: Ian. This remarkable attention to Ian in 1089, who is mentioned in the same breath with prince, abbot, bishop, and metropolitan, must come from the person who wrote his necrology in 1106.

There is another narrative about Ian earlier under 1071. Ian, out on an expedition to collect tribute for his prince Sviatoslav Iaroslavich, has to deal with two sorcerers. The dramatic moment is: «**И РЕЧЪ ИМА ІААНЬ. ЧТО ВА^М БЪИ МОЛВАТЬ. УН^А ЖЕ РѢСТА СИЦЕ НАМА БЪИ МОЛВАТЬ НЕ БЫТИ НА^М ЖИВЫ Ѡ ТОБЕ. И РЕЧЪ ИМА ІААНЬ. ТО ТИ ВА^М ПРАВО ПОВѢДАЛИ**» [Laur 178]. This tale has no specific connection to 1071. It is said to have occurred vaguely «**БЫВШИ ВО ЕДИНЮ СКУДОСТИ**» [Нур 164]. The level of eyewitness detail, not to mention the vivid style, indicates that this is the transcript of a polished oral narrative. Most probably, it was inserted under 1071 in an editorial act, by the chronicler who learned so much from Ian, voevoda and raconteur.

Thus, the entries of 1068 and 1071 seem to have been inserted into the chronicle in an editorial event. There is little evidence for an editorial event in the 1070s or 1080s (Shakhmatov's hypothesis of 1073 notwithstanding). The themes of the entries—heathen incursions as punishment

for man's sins in 1068, Ian's derring-do in 1071—are prominent themes in the 1090s. These probable inserts, then, point to the conclusion that there was an act of editing the prior chronicle in the 1090s, as Shakhmatov believed. The editorial event, however, might have occurred somewhat earlier than Shakhmatov supposed. Under 1092 (briefly) and 1093 (expansively), the chronicler wrote of the punishments visited on Rus, suggesting that he already knew 1068 when he composed 1092 and 1093. The editing occurred by 1092, perhaps in 1090–1091.

From the evidence relating to Ian, we can also derive another conclusion about the activity of chroniclers in this period. Shakhmatov tacitly assumed that a redaction would culminate and end a scribe's career. On his view, in 1093–1095, the chronicle was not only edited, but thereafter, a new scribe replaced the former scribe. As a consequence, Shakhmatov cannot allow that the same chronicler could have written about Ian both before 1095 and again in 1106, even though 1106—«**ѿ негоже и азъ многа словеса слышахъ**»—provides an explanation for the origin of the entries of 1071, 1091, and 1093, in which the eyewitness source was Ian. In addition, 1106 could also explain the origin of the entry recording Volodimer's excursion against Constantinople in 1043. That entry has the feel of the report of an eyewitness, who must have been the vovoda Vyshata. Only he could have reported how he and his comrades were separated from Prince Volodimer and held captive by the Greeks for three years. In the entry of 1043 Vyshata is identified as Ian's father, not for the benefit of contemporary readers, but for a later audience that was more familiar with Ian than with Vyshata. We could then entertain this thought: the eyewitness of 1043 was Vyshata; the chronicler's immediate source was his son Ian; and the chronicler who composed 1043 was the chronicler who acknowledged quoting Ian. Shakhmatov anticipated yet could not allow this speculative but plausible conclusion: «я не допускаю и мысли о том, что вставки сделаны под влиянием рассказов Яня тем летописцем, которому принадлежит сообщение о его кончине, ибо, конечно, вставки относительно участия Вышаты в походе Владимира читались уже в Начальном своде» [1908: 443–444]. This impermissible thought would be inconsistent with Shakhmatov's belief that two different scribes were active in this period, the scribe of the Base Compilation and a different scribe thereafter.

M. Kh. Aleshkovskii has provided a valuable corrective to Shakhmatov's thinking on this point. Aleshkovskii [1969: 37] suggested that the scribe who was responsible for the Base Compilation was active before and after the editorial event of the Base Compilation, from the early 1090s through the first decade of the 1100s, perhaps even—in Aleshkovskii's view—all the way to 1115.

How long in fact was the scribe active, and which entries can be attributed to him? The references to Ian discussed above suggest that one scribe was at work both before and after 1095—on the one hand, in 1089, 1091, and 1093, and, on the other, at least until Ian's death in 1106. On the analogy of Gippius's analysis [1996] of the First Novgorod Chronicle, in which the scribe often

changes with a new archbishop, we might suspect that this scribe began to work at the transition between abbots in the monastery, at the point when Nikon died and Ioann took over, in 1088 or 1089. This scribe was active through Ioann's term as abbot and he probably continued into the term of Feoktist (first mentioned under 1108) through 1107, 1108, and 1109. The chronicler could have lasted as long as 1112, when Feoktist left Kiev to become the archbishop of Chernigov [Priselkov 1923: 89]. Thus one scribe—the scribe who was responsible for the act of editing the Base Compilation—was active from 1089 certainly to 1106, probably to 1109, and possibly to 1112.

From 1110 on, however, the chronicle changes in character. One consideration is the attitudes towards omens at various points in the chronicle. Back in 1065, the chronicle mentions a portent, a star with bloody rays. For the scribe who wrote this entry, there is no ambiguity: «**СЕ ЖЕ БЫВАЮТЬ СИЦА ЗНАМЕНЬЯ НЕ НА ДОБРО**» [Laur 164]. The scribe then cites as parallels a series of famous historical portents taken from a Byzantine source, the chronicle of Hamartolos or a synopsis incorporating Hamartolos [Shakhmatov 1940: 58–60]. The ethos of 1065 is the same as the ethos of the Base Compilation: omens portend ill, and Rus has brought punishment on itself through its sinful ways. This interpretation is made most explicit in 1092 [Laur 215] and 1091 [Laur 214]; heavenly portents are mentioned elsewhere, though they are not always linked with disastrous consequences: 1104 [Laur 280], 1105 [Hyp 257], 1106 [Hyp 258] and 1107 [Laur 281]. The entry of 1065 is attested in Novg1. On these grounds, the entry of 1065, with its conviction that omens portend ill, was in place no later than the Base Compilation. (It is even conceivable that this discourse, based on a Byzantine source, was inserted by the editor who was responsible for the Base Compilation.) In the middle of 1102, however, we see a different, more flexible attitude. Omens are still said to portend momentous events, but «**ЗНАМЕНЬЯ БО БЫВАЮТЬ ШВА НА ЗЛО• ШВА ЛИ НА ДОБРО.**» In 1102 in particular, the omen was favorable, inasmuch as «**НА ПРИДУЩЕЕ ЛѢТѢ• ВЛОЖИ БѢ МЫСЛЬ ДОБРУ В РУСЬСКИѢ КНАЗИ**» and then, in reference to 1103, «**ЕЖЕ И БЫСѢ• ... В ПРИШЕДШЕЕ ЛѢТѢ**» [Laur 276]. Thus, the narrative of 1102–1103 reveals an attitude towards omens that differs from that of the Base Compilation.

As Shakhmatov pointed out [1916:xxviii–xxx], the narrative of 1103 is quite similar to the narrative of 1111. In both 1103 and 1111, Vladimir Monomakh and Sviatopolk hold a war council in the same place, and Monomakh on both occasions uses the same argument—that the peasants will suffer if the Polovtsi are given a chance to invade—to persuade a reluctant Sviatopolk to undertake an expedition against their common enemy. Both expeditions are foretold by a favorable omen in the preceding year. Moreover, when the omen appears, its favorable outcome, which does not occur until the following year, is already known. Thus, one and the same scribe—the editor of the first redaction—was responsible for writing the annalistic entries of 1110–1111 [Shakhmatov 1940: 22] and for inserting 1102–1103 in the first redaction.

Moreover, 1110 and 1111 discuss angels extensively, but the angels differ from those of the Base Compilation. In the Base Compilation angels are abstractions: they figure in theological disputations; choirs of them adore God; they interfere in human affairs only in the distant Old Testament tales of the Philosopher's Speech. Angels are forces of good: «АНГЛЪ БО ЧЛВКУ ЗЛА НЕ СТОРАЕТЬ· НО БЛГОЕ МЫСЛИТЬ ЕМУ ВСЕГДА· ПАЧЕ ЖЕ Х^СЪАНОМЪ ПОМАГАЮТЬ· И ЗАСТУПАЮТЬ Ѡ С^ВПРОТИВНАГО ДЬАВОЛА.» says the chronicle [Laur 135]. This passage of 1015, because it occurs in Novg1 (p. 172), must have been in place in the Base Compilation. In 1110–1111 [Нур 262–268], however, angels are not simply forces of good. Following its source St. Epiphanius of Constantia [Vaillant 1957], the chronicle asserts that angels are in everything – in the pillar of fire above the monastery, in snow, in fog, in the spirit of any creature. In this vein, even as the chronicle allows that the Polovtsi have visited Rus as chastisement for man's sins, it claims that these heathens were led here by angels on God's orders [Нур 262–263]: even heathens are attended by angels, who in effect bring harm to Christians! These are not the abstract, intrinsically beneficent angels of the Base Compilation that only render help to Christians.

Next, 1113 begins by repeating one phrase of the discourse on omens from 1065, «СЕ ЖЕ БЫВАЮТЬ ЗНАМЕНЬА· НЕ НА ДОБРО» [Нур 274], which in this case is Sviatopolk's death [Нур 275]. Then the scribe continues in a way that undercuts 1065: «БЫВАЮТЬ ЗНАМЕНЬА ВЪ СЛНЦИ И В ЛУНѢ· ИЛИ ЗВЕЗДАМИ НЕ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛѢ· НО В КОТОРОИ ЛЮБО ЗЕМЛѢ· АЩЕ БУДЕТЬ ЗНАМЕНЬЕ· ТО ТА ЗЕМЛА И ВИДИТЬ· А ИНА ЗЕМЛА НЕ ВИДИТЬ» [Нур 274–75]. The scribe of 1113 goes out of his way to emphasize that one of the portents from 1065, when mounted soldiers coursed through the air for forty days over Jerusalem, was visible only there: «ТО СЕ БЫШЕ ВЪ ИЕРУСОЛИМѢ ТОКМО.» In 1065, in contrast, no geographical restrictions were placed on omens.

Thus the treatment of omens under 1113, though it starts by quoting 1065, is more reminiscent of 1102 than of 1065. The principle stated under 1113 is not exactly the same as that of 1102 («ЗНАМЕНЬА БО БЫВАЮТЬ ѠБА НА ЗЛО· ѠБА ЛИ НА ДОБРО»), but there is a similarity in the attempt to articulate variable principles for interpreting portents: they are sometimes favorable, sometimes ill; they are sometimes universal, sometimes visible only in specific locales. Even if the beginning of 1113 with its quotation from 1065 is due to the previous scribe, the final text of the entry as a whole was not composed by the scribe of the Base Compilation, but by the same scribe who composed 1102–1103 and 1110–1111.

1114 likewise belongs to the first redaction rather than to the older Base Compilation: if the «northern» notices of 1096 and 1114 were composed by the same individual, and if 1096 was inserted in the first redaction, then 1114 also was composed by the scribe who edited the first redaction. 1115, the translation of Boris and Gleb's relics, connects to the Boris and Gleb narrative under 1015. As noted above, there are two chronological layers in 1015. The newer layer of the Primary Chronicle has an extended prayer addressed to Boris and Gleb, who give «ИЦѢЛЕННА ДАРЫ РУСЬКОИ ЗЕМЛѢ» [Нур 124] and who «ИЦѢЛЕННЕ ПОДАЕТА· ПРИХОДАЩИМЪ К ВАМЪ ВѢРОЮ· И ЛЮБОВЬЮ» [Нур 125].

It is not clear what the source of the prayer of 1015 is; some echoes, though only partial, can be detected in other texts: the oldest church service published in Abramovich [1916:136] includes «ицѣлениа дары» though not «(с) вѣрою приходѣщимъ»; the Skazanie says «отъ всѣхъ бо странъ ту приходѣще туне почъреплють ицѣление» [Abramovich 1916: 50]. Whatever the source of 1015, it is clear that 1015 is the source for the panegyric of 1115, in which it is said that through their martyrdom Boris and Gleb have received «даръ ицѣлениа» which «подаваетъ недоужнымъ с вѣрою приходѣщимъ въ стѣни храмъ ею» [Нур 282]. Thus, the panegyric of 1115 is composed of devotional formulae taken from the prayer of 1015. Evidently, the prayer of 1015 was inserted during the first redaction, and the chronicler who composed 1115 made selections from this already edited text of 1015. In short, the annalist of 1115 was also the editor of 1015.

After 1115, the entries of 1116 and 1117, which are factual narratives of events, display few tell-tale signs, but they are probably due to the same scribe who had just written the previous annals of 1114 and 1115. The one problematic entry is 1112.

1112 is a series of generally short entries: two campaigns, two deaths, and a longer episode in which Feoktist is appointed archbishop in Chernigov and he is replaced as igumen of the Crypt Monastery. These notices are more succinct than the exposition of adjacent entries, such as the campaign of 1111, the translation of relics of 1115, and Vladimir Monomakh's campaign against Gleb Vseslavich of 1116, which involve numerous acts and countermoves. Furthermore, the entries adjacent to 1112 all display some interpretive leaps – angels in 1110–1111, variable omens in 1113, Egyptians from a Byzantine chronicle in 1114. In contrast, 1112 lacks any displays of erudition or fascination with angels or exotic peoples. It could be that 1112 is succinct and bland because nothing in 1112 excited the scribe's fancy, if 1112 was written by the same scribe as the adjacent entries. Or it could be that 1112 is succinct and bland because it was written by the previous scribe, by the scribe who was active over the 1090s and 1100s. The entries of 1107, 1108, and 1109 are similarly laconic and factual. In that case, it would mean that the earlier scribe wrote through to 1112 (and possibly even the initial treatment of omens in 1113, which starts off like 1065), but his work from 1110 on was rewritten by a new scribe. In this connection, it is relevant to recall that the scribe who wrote the northern entry of 1096 states that he wishes to write about something he heard four years ago. If, as Shakhmatov argues, that comment of 1096 was written at the same time as 1114, then it follows that he wrote both entries in 1114. Therefore he made his trip in the fourth year before 1114. That would put the scribe in the North in 1111, when he could not have been the chronicler in the Crypt Monastery. But he could have returned to Kiev by 1113 to write and edit the chronicle. Thus, the scribe of the first redaction is responsible for 1110, 1111, 1113, 1114, and 1115 in their final form, and probably 1116–1117, and possibly not 1112. The scribe of the Base Compilation worked from 1089 at least through 1106 and probably 1109, possibly as long as 1112.

The scribe of the first redaction took over in, probably, 1113, but with the possible exception of 1112, the chronicle from 1110 on in the form we see it now belongs to this later scribe.

Let us now take stock of the argument above.

There was a Base Compilation. The Base Compilation was in part what Shakhmatov understood it to be, and in part not. In the 1090s, there was an event that involved editing and emending and enriching the chronicle inherited to that point (as Shakhmatov supposed), though it may have occurred earlier by a few years than Shakhmatov supposed (in 1090–1091 rather than 1095). The First Novgorod Chronicle is indeed based on this older stage of the tradition of chronicling in Kiev (as Shakhmatov supposed). This editorial event of the 1090s did *not*, however, mark the end of one chronicler's activity (contrary to Shakhmatov). Rather, the chronicle was maintained continuously by one scribe from the beginning of 1090s until the 1110s (as suggested by Aleshkovskii), more specifically from 1189 through 1109 or possibly 1112 (but not all the way to 1115, contrary to Aleshkovskii).

After the Base Compilation, there was one and only one more editorial act of any significance, namely Shakhmatov's «first redaction,» though it did not occur when Shakhmatov thought it did. It came between the death of Sviatopolk Iziaslavich in April 1113 and Silvestr's copying of the text in 1116 (Istrin). The first redaction, like the Base Compilation, was also an event in which there was substantial editing. The initial cosmology was recast. There were small changes off and on in the early part of the chronicle up through the Boris and Gleb cycle. Two narratives about the Crypt Monastery could be inserts made in the first redaction: Anthony's founding of the Crypt Monastery under 1051 («что ради прозвася Печерьскыи манастирь»), which is not attested in Novg_{1KA}, and tales of the wondrous brothers immediately following Feodosii's death in 1074 («ѿ ниуже намѣню нѣколко мѹжь чудныѹ»). Vasilii's tale of the blinding of Vasilko, in which Monomakh is the hero and David Igorevich's death in 1112 is already known, was inserted during this editorial act. It has long been assumed that the treaties with the Byzantine empire under the years of 912, 945, 971 were inserts into the first redaction, since they are missing from Novg1 [Shakhmatov 1916: xxiv, Shakhmatov 1940: 111–23]. The scribe who undertook this first redaction was not the one who had been functioning as annalist in the second half of the 1090s and in the 1110s (on this point, contrary to Shakhmatov), but a scribe who had just begun his career after returning from a journey he made to the North in 1111.

Shakhmatov's «second redaction»—Silvestr's act of copying the first redaction—was minimal as a redaction. It involved few editorial changes, except for adding the colophon and abridging the text here and there. Silvestr's copy is significant in that it defines the end of the shared text of the Primary Chronicle and the beginning of two distinct traditions that do not communicate thereafter. There is no justification for positing a third redaction (Istrin, Müller), though one scribe may have replaced another at the between 1117 and 1118. Shakhmatov's

attempts to find evidence of insertions made in the second and third redactions lead to a methodological impasse.

With the reconstruction developed above – based on judiciously selecting ideas from Shakhmatov, Istrin, Priselkov, Müller, Aleshkovskii, Tvorogov – the chronological paradoxes disappear. A coherent picture results. Examining how the chronicle was assembled prompts further observations about the role of scribes in the chronicle over 1089–1117 and their view of man, God, and history.

For Shakhmatov, the history of the chronicle lay in the dates of its redactions and the list of sources utilized in compilations, not in the day-to-day (or year-to-year) activities of scribes. That focus, I would suggest, is what led Shakhmatov sometimes to put too much faith in redactions and propose some dubious constructs, like the «Vladimir polychron» [Shakhmatov 1938], now discounted (Lur'e 1990: 191). It was his focus on editorial events that led him to think that editorial events mark the end of chronicler's career. In the discussion above, the composition of chronicles was viewed as a continuous dynamic involving multiple tasks—above all, composition of annalistic entries, but occasionally and selectively also editing (redaction, compilation) and copying. Evidence was cited that the chroniclers were also editors. The annalist throughout 1090s and the first decade of the 1100s was evidently the editor who inserted or modified entries of the 1060s and 1070s. Then later, in the Primary Chronicle, a single individual was responsible for pairs of related entries, one he inserted, the other he composed and appended to the end of the chronicle: omens and military expeditions under 1102–1103 and 1110–1111, the northern entries of 1096 and 1114; and the prayer of 1015 and the homily of 1115.

Although in principle any chronicler could function both as annalist and as editor, the proportion of activities of chroniclers differs at different times. In the twelfth through fourteenth centuries, chroniclers seemed content to act as annalist and add yearly entries, preserving faithfully the now sacred text of the *Povest' vremennykh let*. By the fifteenth century, one finally sees the technique of compilation of distinct sources practiced extensively, the technique that Shakhmatov thought was typical of the history of chronicling. This early period of 1089–1117 may be unique in the history of chronicling. In this period, the chroniclers were remarkably active as editors. It is possible to distinguish two significant editorial acts, two intervals of scribal activity, two scribes – who functioned not only as annalists but also as editors — and two worldviews expressed by the two scribes.

The last point is important because people often speak informally of *the* attitude towards history in the chronicles, as if one and the same attitude held at all times in all chronicles. (An example of such thinking is [Trubetskoi 1973: 58]. Over the period of 1089–1117 there were two chroniclers who expressed two different views of history. The earlier scribe — the scribe responsible for the Base Compilation — had a naive and linear (monologic, if you will) view of the

world: if we suffer, it is because God punishes us for our multitudinous sins; it is our obligation, and not the least the obligation of princes, to learn from these tests and not to err. We once were blind pagans, but now we see the light: «куда же древле погании жряху бѣсомъ на горахъ, туда же нынѣ святаа церькви златоверхие каменозданныя.»

The later scribe—the scribe of the Primary Chronicle—had a more flexible, more dialectic point of view, one that appreciates ambiguities and alternative points of view. He shows himself to be fascinated by the heathen Other, from whom he distances himself in order to align himself with universal Christian culture («мы же х^сетане ... законъ имамъ единъ»). Lest one think that his Christianity is not deep, he reminds us that the membership of Rus in universal culture was foreordained in apostolic times. God's interference in history is not linear. Omens and princes and angels are sometimes beneficent, sometimes malevolent.

It becomes possible to distinguish two chroniclers and two layers of thought when we analyze the evidence and the arguments brought forth by Shakhmatov and others and reconstruct the history of the Povest' vremennykh let as a dynamic process.

Notes

¹ There is no space to discuss all the alternatives and amendments to Shakhmatov's approach. Nevertheless it might be valuable to comment on two hypotheses that have inspired recent studies.

Sergei Bugoslavskii [1941], whose stemma is adopted by Ostrowski [1999], rejects the hypothesis of the Base Compilation and derives the Novgorod tradition directly from the Primary Chronicle, not from an older stage of the Kievan tradition. In his stemma (p. 34), the base node, which is the Primary Chronicle, branches to two lines: one leads to the northeastern tradition, the other to a node that then branches to become the southern tradition and the Novgorod tradition. Inasmuch as they have a common antigraph, the southern (Hypatian) and Novgorod traditions are in effect closer to each other than either is to the northeastern (Laurentian) tradition. The common node of the southern and Novgorod traditions implies an editorial event in which the original Primary Chronicle was modified. Bugoslavskii (p. 38) dates this event to the end of Vladimir Monomakh's reign, close to 1125.

As evidence, Bugoslavskii (pp. 18–19) cites 17 instances in which the southern and Novgorod traditions share readings as opposed to the northeastern tradition; these (usually longer) readings are interpreted as additions made in the hypothetical antigraph of the southern and Novgorod traditions. In general, the antigraph «отличается настойчиво проводимым в нем расширением текста» (p. 21). In principle, it is of course conceivable that a textual tradition might enrich the inherited text. In the case at hand, however, the differences involve words or phrases or short passages that are typically lost, not added, in the transmission of texts. For instance, Bugoslavskii's 14b is the phrase, «кто идетъ прелестить Ахава· и рече^ч вѣсь се азъ иду,» which is found in Hyp (col. 121) and Novg1 (p. 172) but not in Laur (col. 135). This quote makes sense if one already knows the context, which deals with spirits sent to incite evil, an Old Testament parallel for which is the spirit who volunteers to entice Ahab into a fatal battle (from Hamartolos [Istrin 1920: 92], ultimately from 1 Kings 22:20–21).

But given the context without this phrase, it is hard to understand why a chronicler would add this quotation out of the blue, as would be required under Bugoslavskii's hypothesis.

Significantly, this reference to Ahab is preserved in the *Skazanie o sviatykh muchenikakh* [Abramovich 1916:38]. The *Skazanie* as a whole was assembled in connection with the translation of Boris and Gleb's relics in May 1115, and its factual narrative about the martyrdom of Boris and Gleb is based on a stage of the Kievan chronicle dating to no later than 1115 [Shakhmatov 1908: 36]. To maintain the belief that the northeastern tradition is older than the southern and older than Novg1, one would have to hypothesize three events in rapid succession: creating the common text of the Primary Chronicle; editing and enriching specifically the southern tradition; and then using the revised southern tradition as the basis for the *Skazanie*. There is not enough time to do all that by May 1115, particularly if the middle event is dated to the 1120s. More likely, the Ahab text was original to the Base Compilation (and then reflected directly in the *Skazanie* and Novg1). It was kept in the first redaction of the Primary Chronicle (hence it appears in the Hypatian chronicle), but was subsequently deleted from the northeastern tradition (by Silvestr or some later scribe).

The differences among traditions, then, look like omissions within the northeastern tradition, not insertions in a hypothetical antigraph of the southern and Novgorod traditions. The reason why the southern and Novgorod traditions share readings as opposed to the northeastern tradition is that both have preserved older readings where the northeastern tradition has deleted phrases. What links the southern and Novgorod traditions is shared archaisms, not shared innovations. Shared archaisms are not grounds for positing a close genetic affiliation.

A second proposal deserving of attention is that of Aleshkovskii [1969], a proposal given new life in the recent study by Gippius [1997]. In brief, Aleshkovskii believes that one scribe composed annalistic entries from the 1090s all the way through 1115. All the substantive editing was done later, only in 1119. I have adopted here certain aspects of Aleshkovskii's hypothesis—the Base Compilation did not mark the end of one scribe's activity and there was a single scribe throughout the 1090s and the first decade of the 1100s. But I will argue below that that scribe's activity stopped before 1115 and that the substantive editing occurred in 1113–1116, hence earlier than 1119.

Aleshkovskii presents arguments to show that the text through 1115 was written by the earlier scribe, but the arguments are not persuasive. One argument (p. 23) concerns the omens of 1113, which he identifies with 1065 and 1092 rather than 1102 or 1110. I suggest below that the entry of 1113 quotes but departs significantly from 1065, and represents the later scribe who was responsible for 1102 and 1110. Another argument (p. 33) concerns the division of lands among Noah's sons, mentioned in the introduction and again in 1073. Aleshkovskii claims that both mentions are due to one scribe, and he links them to the extended competition between Vladimir Monomakh and the Sviatoslavichi throughout the 1090s and 1110s that culminated in the dispute over the translation of relics in 1115. If both passages were written by the same scribe, and if they were motivated by the events leading up to 1115, these entries would support Aleshkovskii's claim that one scribe was active from 1091 all the way through 1115.

There are, however, differences between the two references to Noah's family, suggesting that they were written by different scribes. In the introduction the sons themselves choose their dominions by lot and live in fraternal harmony, while in 1073 territories are assigned by paternal covenant and there are accusations of transgressions by Noah's descendants. The introduction spells Shem's name correctly as «Шимъ,» while 1073 has substituted the name of Adam's son «Симъ» [Gippius 1994]. The introduction we see in the Primary Chronicle, including the division of the world to Noah's sons, was put in place only during the first redaction of the Primary Chronicle (it is missing from Novg1). In contrast, 1073 was in the Base Compilation (it is found in Novg1). The two references to Noah, then, belong to different layers of the chronicle. As for the chronology, the reference under 1073 chides princes who transgress on their brothers' patrimony. The prince under scrutiny is Sviatoslav Iaroslavich, who had just driven his elder brother Iziaslav from Kiev. The entry is firmly rooted in 1073 and does not concern Monomakh and his rivals, the Sviatoslavichi.

Works cited

Aleshkovskii 1969 — М.Х. Алешковский. Первая редакция Повести временных лет // Археографический ежегодник за 1967 г. 1969. С. 13—40.

Bugoslavskii 1941 — С. Бугославский. «Повесть временных лет» (списки, редакции, первоначальный текст) // Старинная русская повесть: Статьи и исследования / Ред. Н. К. Гудзий. М.; Л.: АН СССР, 1941. С. 7—37.

Cherepnin 1948 — Л. В. Черепнин. Повесть временных лет, ее редакции и предшествующие ей летописные своды // Исторические записки. Т. 25. 1948. С. 293-333.

Cross 1929 — S.H. Cross. The Earliest Allusion in Slavic Literature to the Revelations of Pseudo-Methodius // Speculum 4. 1929. P. 329—339.

Cross and Sherbowitz-Wetzor 1953 – S.H. Cross, and O.P. Sherbowitz-Wetzor. Ed., transl. The Primary Chronicle. Mediaeval Academy of America, 60. Cambridge, Mass.: Mediaeval Academy of America, [1953].

Gippius 1992 — А.А. Гиппиус. Новые данные о пономаре Тимофее — новгородском книжнике середины XIII века // Информационный бюллетень МАИРСК. 1992. С. 59—86.

Gippius 1994 — А.А. Гиппиус. Ярославичи и сыновья Ноя в Повести временных лет // Балканские чтения. Т. 3.; Тезисы и материалы симпозиума. М.: РАН, Ин-т славяноведения и балканистики, 1994. С. 136-141.

Gippius 1996 – А.А. Гиппиус. Лингво-текстологическое исследование Синодального списка Новгородской первой летописи: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук / Ин-т славяноведения и балканистики РАН. М., 1996.

Gippius 1997 — А.А. Гиппиус. К истории сложения текста Новгородской первой летописи // Новгородский исторический сборник [№] 6. 1997. С. 3-72.

Goldblatt 1997 — H. Goldblatt. Confessional and National Identity in Early Muscovite Literature: The Discourse on the Life and Death of Dmitrii Ivanovich Donskoi // Culture and Identity in Moscow, 1359-1584 / Ed. A.M. Kleimola and G.D. Lenhoff. Moscow: ITZ-Garant, 1997. P. 84—115.

Нур = Полное собрание русских летописей. Т. 2. Ипатьевская летопись. 2-е изд. СПб., 1908. Репр. воспроизв. изд.: М.: Языки русской культуры, 1995.

Istrin 1920 — В. М. Истрин. Книги временные и образные Георгия мниха. Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе: Текст, исследование и словарь. Т. 1. Текст. Пг.: ОРЯС РАН, 1920.

Istrin 1921 <1923>; 1922 <1924> — В. М. Истрин. Замечания о начале русского летописания: по поводу исследования А. А. Шахматова в области древнерусской летописи // ИОРЯС РАН. №26. 1921<1923>. С. 45-102; №27. 1922 <1924>. С. 207-251.

- Kuz'min 1977 — А.Г. Кузьмин. Начальные этапы древнерусского летописания. М.: МГУ, 1977.
- Laur = Полное собрание русских летописей. Т. 1. Лаврентьевская летопись. 2-е изд. Л., 1926. Репр. воспроизв. изд.: М.: Языки русской культуры, 1997.
- Likhachev 1947 — Д.С. Лихачев. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л.: АН СССР, 1947.
- Likhachev 1950 – Д.С. Лихачев. Повесть временных лет. Т. 1. / Ред. Д.С. Лихачев, пер. Д.С. Лихачева и Б.А. Романова; Т. 2. Приложения. Статьи и комментарии. М; Л.: АН СССР, 1950.
- Lunt 1988 — Н. Lunt. On Interpreting the Russian Primary Chronicle: The Year 1037 // *Slavic and East European Journal*. № 32. 1988. P. 251-264.
- Lur'e — Я.С. Лурье. Схема истории летописания А.А. Шахматова и М.Д. Приселкова и задачи дальнейшего исследования летописей // *ТОДРЛ*. Т. 44. 1990. С. 185-195.
- Müller – L. Müller. Die 'dritte Redaktion' der sogenannten Nestorchronik // *Festschrift für Margarete Woltner zum 70. Geburtstag am 4. Dezember 1967 / Hrsg. Von Peter Brang*. Heidelberg: Carl Winter, 1967. P. 171-186.
- Novg1 = Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Под ред. и в пер. А. Н. Насонова. М.; Л.: АН СССР, 1950. Репр. воспроизв. изд.: Полное собрание русских летописей. Т. 3. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Вст. ст. Б.М. Клосса. М.: Языки русской культуры, 2000.
- Ostrowski 1981 — D. Ostrowski. Textual Criticism and the Primary Chronicle: Some Theoretical Considerations // *Harvard Ukrainian Studies* 5. 1981. P. 11-31.
- Ostrowski 1999 — D. Ostrowski. Principles of Editing the *Primary Chronicle* // *Paleoslavica* 7. 1999. P. 5-25.
- Picchio 1981 — R. Picchio. Compilation and Composition: Two Levels of Authorship in the Orthodox Slavic Tradition // *Cyrillomethodianum* 5. 1981. P.1-4
- Picchio 1991 — R. Picchio. Letteratura della Slavia ortodossa (IX-XVIII sec.). Storia e civiltà, 30. Bari: Dedalo, 1991.
- Priselkov 1923 — М. Д. Приселков. Нестор летописец: Опыт историко-литературной характеристики. Пб.: Брокгауз-Ефрон, 1923.
- Priselkov 1940 – М. Д. Приселков. История русского летописания XI— XV вв. Л.: ЛГУ, 1940.
- Shakhmatov 1908 — А.А. Шахматов. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб.: М.А. Александров, 1908. Репр. воспроизв. изд.: *Slavistic Printings and Reprintings*, 59. The Hague; Paris: Mouton, 1967.

Shakhmatov 1916 — А.А. Шахматов. Повесть временных лет. Вводная часть: Текст. Примечания. Пг.: А. В. Орлов, 1916. Репр. воспроизв. изд.: Slavistic Printings and Reprintings, 98. The Hague; Paris: Mouton, 1969.

Shakhmatov 1938 — А.А. Шахматов. Обзорение русских летописных сводов XIV—XVI вв. М.; Л.: АН СССР, 1938.

Shakhmatov 1940 — А.А. Шахматов. Повесть временных лет и ее источники // ТОДРЛ. Т. 4. 1940. С. 11-150.

Timberlake 2000 — А. Timberlake. Older and Younger Recensions of the First Novgorod Chronicle // Oxford Slavonic Papers 33. 2000. P. 1-35.

Trubetskoi 1973 – N.S. Trubetskoi. Vorlesungen über die altrussische Literatur // Studia historica et philologica. Sectio Slavica, 1. Florence, 1973.

Tvorogov 1976 – О.В. Творогов. Повесть временных лет и начальный свод (текстологический комментарий) // ТОДРЛ. Т. 30 1976. С. 3-26.

Tvorogov 1987 – О.В. Творогов. Повесть временных лет // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Т.1.: XI – первая половина XIV в. Л.: Наука, 1987. С. 237-243

Tvorogov 1997 – О.В. Творогов. Существовала ли третья редакция «Повести временных лет» // In Memoria: Сборник памяти Я.С. Лурье. СПб.: Феникс, 1997. С. 203-209.

Vaillant 1957 – А. Vaillant. Les citations des années 1110-1111 dans la chronique de Kiev // Byzantinoslavica 18. 1957. P. 18-38.

Zhivov 1998 – В.М. Живов. Об этническом и религиозном самосознании нестора Летописца // Слово и культура. Т.2. / Ред. Т.А. Агапкина, А.Ф. Журавлев и С.М. Толстая. М.: Ран, Ин-т славяноведения, 1998. С. 321-337.

Syntaxis verbi. Консекутивный имперфект в ранних восточнославянских летописях

1. Вводные замечания

(теоретические и методологические подходы)

Проблема употребления глагольных времен в древнерусских памятниках письменности – одна из самых интересных и сложных в истории русского языка. Интерес обусловлен тем, что, как правило, глагольные предикаты являются основными нарративными единицами текста, а следовательно, составляют языковой «костяк» повествования и в первую очередь характеризуют нарративную стратегию автора. Таким образом, речь здесь может идти об адекватном понимании не только тех или иных лингвистических фактов, но и механизмов языкового сознания средневековых восточнославянских книжников и древнерусской культуры в целом.

О сложности данной проблемы говорит тот факт, что ряд относящихся к ней основных задач до сих пор не решен. Так, в случае простых претеритов не удастся разграничить временную и видовую семантику и (очевидно, в связи с этим) установить принципы семантической дифференциации аориста и имперфекта в средневековых восточнославянских текстах. В настоящее время большинство исследователей уже не придерживается так называемой «видовой» теории, согласно которой различие между аористом и имперфектом сводится к разнице между СВ и НСВ видами. Однако попытки противопоставить оба претерита «как таковые» обычно приводят к тому, что аористу и имперфекту приписываются «основные» значения-«ярлыки», в сущности, перифразирующие значения тех же СВ и НСВ видов, типа «целостность» и «длительность», «статичность» и «динамичность» (см.: [Борковский, Кузнецов 1965: 272, 273; Горшкова, Хабургаев 1997: 319-323; Древнерусская грамматика XI-XII вв. 1995: 415, 432]). Получается порочный круг, не позволяющий продвинуться в решении указанных вопросов.

Как представляется, помочь разрушить этот порочный круг могло бы привлечение ряда выводов современной теоретической лингвистики. В последнее время в этой области произошли существенные сдвиги, в результате которых в значительной степени изменилась трактовка таких понятий, как «грамматическое значение» (см.: [Плунгян 1998]), вид и время глагола (см.: [Падучева 1996]), большее значение стало придаваться взаимосвязи

*Павел Владимирович Петрухин – аспирант Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.

морфологии и синтаксиса (ср. различные теории лингвистики текста), интенсивно ведутся исследования в области нарративной семантики. В связи с этим могут и должны быть пересмотрены многие аспекты истории русского языка. Использование новейших лингвистических теорий представляется здесь тем более оправданным, что во многих из них делается особый акцент на необходимости преодоления искусственного разделения синхронии и диахронии, и в этом смысле, как нередко отмечается, можно даже говорить о частичном возвращении к историко-филологическим традициям XIX в. В этих условиях появляется возможность существенно расширить (и частично обновить) теоретическую и методологическую базу историко-лингвистических исследований.

На протяжении последних десятилетий в работах по истории русского языка использовались в основном подходы и терминология, разработанные в рамках структурализма, что, разумеется, на определенном этапе оказалось достаточно плодотворным, но, в то же время, создает известные трудности и ограничения. Так, структуралистский принцип описания языка как системы значимых оппозиций предполагает, что «одному формальному показателю должен непременно соответствовать один элемент плана содержания» ([Плунгян 1998: 337]; В.А. Плунгян называет это «принципом изоморфизма формы и значения»). Отсюда – стремление определить «инвариантное», или «основное», значение любой грамматической формы, часто в ущерб различным «второстепенным», «контекстно обусловленным» значениям, которым уделяют значительно меньше внимания, а иногда просто игнорируют, видимо, считая чем-то случайным, «несистемным». В результате «основное» значение, охватывающее максимальное число возможных «модификаций», часто оказывается предельно абстрактным и далеким от конкретных употреблений, а многие важные аспекты функционирования языковых единиц упускаются.

Структурный анализ называют также формалистическим, поскольку за основу в нем берется языковая форма и этой форме сопоставляется одно значение. Формалистическому подходу в современных морфологических теориях противопоставляется функциональный подход, принимающий за точку отсчета значение, семантику, функцию. Соответственно, основным объектом изучения становится *функционирование* языковой единицы, основной задачей – максимально полное исчисление и описание функций (вполне равноправных), которые она может выполнять. Вместе с тем, одну и ту же функцию могут выполнять несколько языковых единиц, т. е. одному элементу плана содержания могут соответствовать несколько формальных показателей, – это еще один чрезвычайно привлекательный аспект функционального подхода, в том числе и с точки зрения изучения эволюции языкового (в частности, письменного) узуса.

2. Источники

Задача настоящей работы состоит в том, чтобы привлечь внимание к одной из особенностей функционирования древнерусского имперфекта в летописных памятниках раннего периода – Новгородской первой летописи по Синодальному списку (НПЛ) и Повести временных лет (ПВЛ) по Лаврентьевскому (Лавр., ПСРЛ, т. I) и Ипатьевскому (Ип., ПСРЛ, т. II) спискам¹; для сравнения будут привлекаться примеры из поздних летописцев – Пискаревского (ПСРЛ, т. XXXIV) первой трети XVII в. и Мазуринского (ПСРЛ, т. XXXI) последней четверти XVII в.

3. Консекутивный имперфект

История изучения славянского имперфекта может послужить хорошим примером ограниченности формалистического подхода к языку: в силу исключительного стремления выделить «релевантный признак» имперфекта в его оппозиции с аористом некоторые важные аспекты функционирования этой формы оказались отодвинутыми на второй план, а то и вовсе игнорировались. Основным значением имперфекта традиционно считается «фоновое» (значение одновременности с другим действием в данном контексте). Соответственно, принято считать, что сообщаемая им информация всегда (или почти всегда) относится к «заднему плану» повествования (background). Между тем, изучение русских летописей показывает, что, наряду с «фоновым», совершенно нормальным было и такое употребление имперфекта, при котором обозначаемое им действие продвигает повествование, тем самым относясь к «переднему плану» (foreground). Ср. следующие примеры:

(1) Въ лѣто 6647. Приде Гюрги князь и-Суждаля Смольнску и *зваше* новгородьце на Кыевъ на Всѣволодка, и не послушаша его (НПЛ, л. 20-20 об.)

(2) и затоциша Якуна въ Чюдь съ братомъ, оковавъше и руцѣ къ шыи. И последъ приведе я къ собе Гюрги и жены ея из Новагорода, и у себе я *държаше* въ милости (НПЛ, л. 21 об-22)

(3) и умоли брата Исакъ, и прияста извѣщение съ сыномъ, яко не помыслити на царство, и спущень бысть ис твърди и *хожашеть* въ своеи воли <...> и потом Исакъ помысливъ, и въсхотѣ царства, и *учяшеть* сына, посылая потаи <...> И въсхотѣ сынъ его, якоже учашеть его, и *мышляшьята*, како ему изити из града въ дальняя страны и оттолѣ искати царства (НПЛ, л. 64 об.-65)

(4) Приде Святославъ в Переяславецъ. и затворишася Болгаре въ градѣ. и излѣзоша Болгаре на сѣчу противу Святославу. и бысть сѣча велика. и *одалаху* Болгаре. и

¹ Ниже Лавр. и Ип. цитируются по ПСРЛ в упрощенной орфографии.

рече Святославъ во емъ своимъ. оуже намъ сде пасти. потягнемъ мужьски братья и дружино (Лавр., л. 21)

(5) и оубиша Святослава. и взяша главу его. и во лбѣ его съделаша чашню. окова(в)ше лобѣ его. и *пьяху* по немъ (Лавр., л. 23)

(6) и послуша ихъ Игорьъ. иде в Дерева в дань. и *примышляше* къ первой дани и насиляше имъ. и мужи его (Лавр., л. 14 об.)

(7) а Деревляне затворишася въ градѣ. и *боряхуся* крѣпко изъ града (Лавр., л. 16)

(8) Феодосии же увѣдавъ яко Антоний шель Чернигову. шедъ с братьею взя Исакия. и принесе и к собѣ в кѣлю. и *служаше* около его (Лавр., л. 65 об.)

(9) и поча жити ту (св. Антоний) моля Бога <...> посемъ же увѣдѣша добрии челоуѣци. и *приходяху*² к нему. приносяще же ему еже на потребу бѣ.(Лавр., л. 53)

Сюда же относятся случаи употребления имперфекта не только после аориста, но и после дательного самостоятельного и кратких действительных причастий прошедшего времени, ср.:

(10) В лѣто 6411. Игореви же възрастьшю. и *хожаше* по Олзѣ и слушаша³ его. и приведоша ему жену от Пьскова. именемъ Олену (ПСРЛ, т. I, л. 14 Р. об.)

(11) Исходящу лѣту, *слахуся* новгородьци къ Всѣволоду посадника дѣля Мирошке и Иванка и Фомѣ (НПЛ, л. 57-57 об.)

(12) Симъ же и Хамъ. и Афеть раздѣливше землю жребьи метавше. не преступати никомуже. въ жребии братень. и *живяхо* кождо въ своей части. (Лавр., л. 2 об.; на конце выделенной формы в Лавр. не дописан диграф *оу*)

² В исследованиях, посвященных развитию категории вида в восточнославянском, принято противопоставлять бесприставочные глаголы («симплексы») и префиксальные (см., например: [Bermel 1997; Nørgård-Sørensen 1997]). Ряд исследователей полагает, что симплексы «включились» в видовое противопоставление позже, чем префиксальные глаголы, и в раннем восточнославянском могли функционировать как неохарактеризованные по виду (ср., например: [Ruzicka 1957]). Этот вопрос требует отдельного рассмотрения. По-видимому, целесообразно группировать глаголы не только по наличию-отсутствию префикса, но и на основе семантического критерия, выделяя различные семантические классы. Так, следует различать глаголы, обозначающие события (*приходити*), и глаголы, обозначающие процессы или состояния (*держати, ходити, учити* и т. д.). Как бы то ни было, рамки настоящей работы не позволяют углубляться в данную проблематику, поэтому примеры с префиксальными глаголами и симплексами идут подряд.

³ В Троицком и Академическом списках – «слушаше». Этот текст в ПСРЛ, т. I приводится по Радзивилловскому списку, поскольку в Лавр. в этом месте пропуск.

(13) се бо Блудъ затворивъся съ Ярополком. *слаше* къ Володимиру часто. веля ему приступати къ городу бранью. (Ип., л. 30 об.)

Количество подобных примеров легко можно умножить: в НПЛ, например, по моим подсчетам, имперфекты, выступающие в данной функции, составляют около 10% от общего их количества. Но и приведенные примеры, кажется, достаточно убедительно демонстрируют, что с помощью имперфекта могут обозначаться не только фоновые действия или состояния, но и новые события в нарративной последовательности. Иными словами, рассматриваемые формы имеют консекутивное значение, поэтому их можно называть *консекутивными*, в отличие от форм, сообщающих фоновую информацию.

Нельзя сказать, что подобные случаи употребления имперфекта совершенно не привлекали внимания исследователей. Так, К. Сконefeld возразил против исключительно «синхронной» трактовки имперфекта, указывая, что передаваемое им действие может быть «независимым», «самодостаточным» («self-contained»), а в комментариях к ряду летописных фраз отмечал, что имперфект в них передает последовательные действия [Schooneveld 1959: 34-58]. Е.Н. Этерлей заметила, что в некоторых случаях между аористом и следующим за ним имперфектом «возникают хронологические отношения предшествования и следования» [Этерлей 1970: 15]. Тем не менее, даже в тех случаях, когда исследователи обращают внимание на подобные употребления, они не придают им большого значения, не выделяют в особый тип, очевидно, рассматривая их либо как одну из трансформаций «основного» значения имперфекта, либо как окказиональные. Между тем, само явление заслуживает более пристального внимания, поскольку, как представляется, его анализ может способствовать прояснению некоторых важных аспектов устройства и эволюции древней видо-временной системы оригинальной восточнославянской письменности, а также самих принципов построения древнерусского (в частности, летописного) повествования.

4. «Цепочечное нанизывание» предикатов

Следует сказать, что принципы синтаксического построения текста отнюдь не безразличны с точки зрения функционирования *консекутивного имперфекта* (далее – КИ). Дело в том, что в раннем русском летописании довольно строго соблюдается принцип линейного хронологического развертывания событий (слева направо), что находит своеобразное отражение в синтаксической структуре памятников. Так, для НПЛ и – в несколько меньшей степени – ПВЛ (как, впрочем, для любых письменных памятников, представляющих собой, по сути, «первые шаги» какой-либо молодой, неразвитой письменной традиции, где отсутствуют сюжет и интрига) характерен *паратаксис*, т.е.

наличие преимущественно сочинительной связи между простыми предложениями. Одной из первых на это обратила внимание Е.С. Истрина, писавшая о НПЛ: «Как на особенность Синодального списка, можно указать на повторяемость союзов «и» и «а» перед несколькими сочиняемыми предложениями, которые как бы нанизываются одно за другим вне указания на оттенки взаимоотношения» [Истрина 1923: 197]. «Цепочечное нанизывание» предикативных единиц (как иногда называют это явление) основано на принципе соблюдения строго линейной последовательности в изложении событий, где факты передаются в том порядке, в котором они происходили, каждое новое предложение (сказуемое) сообщает о последующем по времени событии (см.: [ИГРЯ 1979: 8, 27; Ринберг 1988; Преображенская 1991: 54-80])⁴. Простые предложения, включенные в «цепочку», имеют и внутренние структурные особенности: в них «сказуемое чаще всего предшествует подлежащему, оно ставится в начале предложения после союза *и*» [ИГРЯ 1979, 28].

Разумеется, изложенная характеристика в известной мере упрощает ситуацию, не учитывая таких весьма употребительных в славянской книжной письменности конструкций, как дательный самостоятельный и иные причастные обороты, различные типы придаточных предложений (впрочем, и они в большинстве случаев подчиняются принципу линейного логического развертывания событий). Тем не менее, в качестве своего рода упрощенной модели приведенное описание достаточно адекватно отражает то, что мы находим в ранних летописных текстах, и может быть использовано в целях настоящей работы. Наша задача состоит в том, чтобы показать, что имперфект может быть включен в летописную нарративную последовательность (сохраняя при этом ряд семантических особенностей).

5. Консекутивный имперфект vs. аорист

Традиционно принято считать, что основными звеньями нарративной цепочки являются аористы. Как показывают приведенные выше примеры, это не совсем верно: имперфект, следующий за аористом (причастием, дательным самостоятельным), может обозначать новое действие/событие, т.е. продвигать повествование, тем самым функционально пересекаясь с аористом.

⁴ Помимо того, что, как было сказано выше, такой способ изображения событий, при котором порядок следования предикатов непосредственно отражает порядок следования обозначаемых ими событий, вообще характерен для неразвитых письменных традиций, здесь играют существенную роль и иные культурные факторы, а именно – раннесредневековые представления о времени и истории, а также о смысле и задачах работы историка-летописца. Коротко их можно изложить так: для ранних русских летописцев история – функция времени, все события погружены в единый временной поток, имеющий, в соответствии с библейско-христианской доктриной, начало и конец, и задача летописца – запечатлеть их в Слове, по возможности не вмешиваясь в их ход и не привнося ничего своего (см.: [Гиппиус 2000, 454-455; Петрухин 1996; Петрухин 2000]).

Это может подтвердить, в частности, сравнение разных списков одной и той же летописи, в одном из которых глагол имеет окончание имперфекта, а в другом – аориста. Такие примеры можно найти в Лаврентьевском и Ипатьевском списках ПВЛ, причем, как правило, аористу в Лавр. соответствует имперфект в Ип., ср.:

(14) И при 9-мь часѣ испусти духъ Исусъ. и церковная запона раздрася надвое. и мертвии *въстаяху* мнози. имъже повелѣ в раи быти (Ип., л. 40 об.; Лавр., л. 35 об. – *всташа*)

(15) И ту абѣ повелѣ копати. преки трубамъ. и переяша воду. и людѣ *изнемогаху* жажею водною. и предашася (Ип., л. 41 об.; Лавр., л. 37 об. – *изнемогоша*)

(16) Избывъ же Володимѣръ сего. постави церковь. и *творяше* праздник великъ. варя 300 переваръ меду (Ип., л. 47; Лавр., л. 43 – *створи*)

(17) И приведоша я къ кладязю. идѣже цѣжь. и почерпоша вѣдромъ. и *ляху* в ладкы (Ип., л. 48; Лавр., л. 44 об. – *ляшаша*)

Эти примеры, на мой взгляд, довольно убедительно демонстрируют способность имперфекта не только выступать в консеквативной функции, но даже конкурировать с аористом в этом плане.

Однако было бы неверным утверждать, что имперфект может выступать в нарративной цепочке абсолютно на равных с аористом. Разницу хорошо обозначил К. Сконевельд: «whereas the aorist presents a process in the past (which either forms a link in a chain of events or stands by itself) allowing for the effects of the process continuing into the situation immediatly following, the imperfect presents a self-contained process in the past, the effects of which do not last beyond the duration of the process itself» [Schooneveld 1959: 58]. Из этого, по-видимому, следует, что, если в нарративной последовательности идут подряд два аориста, то действие, обозначенное первым из них, закончилось; если же аорист идет за имперфектом, то действие, обозначенное аористом, будет одновременным с действием, обозначенным имперфектом.

Примеры, в которых это правило нарушается, очень редки и являются типичными «исключениями, подтверждающими правило». Один такой пример имеется в Мазуринском летописце, в сообщении о посольстве (л. 269):

(18) Послы же *стояху и поидоша* от Смоленска, и посольство их не сталося.

То есть: стояли-стояли (имперфект передает долгое и бессмысленное «стояние» послов в Смоленске), ничего не добились и ушли. Таких примеров, действительно, мало, а этот к тому же встретился в тексте, составитель которого «был в лингвистическом отношении очень неизощренным книжником» [Живов 1995: 52]. Однако для современного

читателя бросающаяся в глаза «неправильность» этой фразы заключается не столько в том, что в ней не соблюдены книжные нормы употребления аориста и имперфекта, сколько в том, что здесь грубо нарушены *правила согласования видов*, в результате чего получается абсурд: «продолжая стоять, пошли». Отсюда становится очевиден серьезный недостаток объяснения Сконефельда: оно не дает решения поставленной самим же исследователем задачи «to distinguish clearly between the meaning of the tenses and the meaning of the aspects» [Schooneveld 1959: 5]. Ведь нетрудно заметить, что отмеченная им особенность функционирования аориста и имперфекта в равной мере свойственна и СВ и НСВ видам: глагол СВ, идущий в нарративной цепочке вслед за глаголом НСВ, также попадает в обозначенный последним временной интервал.

6. Консекутивный имперфект и правила согласования совершенного и несовершенного видов в связном тексте в современном русском языке

Судя по примеру (18), составитель МЛ, плохо владевший навыками книжного письма, очевидно, все же усвоил, что употребление аориста и имперфекта в чем-то отличается от употребления *л-форм* СВ и НСВ в его разговорном языке. Хотя, в чем именно состоят эти отличия, он, видимо, усвоил хуже – отсюда наблюдаемая «ошибка» (нестандартное употребление). Задача историка языка состоит именно в том, чтобы правильно определить эти отличия. Для этого необходимо сравнить принципы соположения аспектуальных форм прошедшего времени в «канонических» летописных текстах и текстах, написанных на современном русском языке.

Вопрос о правилах линейной сочетаемости претеритов в связном тексте – один из классических филологических вопросов, которому уделяли внимание еще античные риторы, сформулировавшие применительно к латинскому языку известный принцип «*Perfecto procedit, imperfecto insistit oratio*» (см.: [Маслов 1984: 191]). Применительно к русскому языку Е.В. Падучева сформулировала эти правила таким образом: «*Правило А. Соположенные или сочиненные формы СВ выражают последовательные события*»; «*Правило Б. Аналогичным образом соположенные или сочиненные формы НСВ обозначают одновременные процессы или состояния*» [Падучева 1996: 362].

При этом, как показала Падучева, в русском языке нужны «специальные средства» для того, чтобы нарушить эти правила. Так, «чтобы сделать последовательными длящиеся события, т. е. нарушить правило Б», нужен либо показатель начинательности, либо обстоятельство длительности, либо временное наречие. «Специальные средства необходимы и для того, чтобы «сдвинуть» время в ситуации, когда форма НСВ должна быть употреблена после формы СВ: при прямом соположении СВ и НСВ время, занимаемое имперфективной

ситуацией, скорее, синхронно тому моменту, который фиксируется предшествующей формой СВ. В текстах (8), (9), где это не так, ощущается изысканная нестандартность; так в (8) «нормально» было бы *Девушка стала уговаривать* или *Девушка долго уговаривала*:

(8) Она кинулась в кресло и *залилась* [СВ] слезами. Девушка *уговаривала* [НСВ] ее успокоиться. (Пушкин. «Метель»)

(9) Она *посмотрела* [СВ] на молодого царя... и выжидательно *молчала* [НСВ]. (Бунин. «Легкое дыхание»)

Примеры стандартных употреблении:

(10) *Пришел* [СВ] мужик в лес, *стал* [СВ] дрова рубить;

Привалов *поздоровался* [СВ] с девушкой и *несколько мгновений смотрел* [НСВ] на нее удивленными глазами. (Мамин-Сибиряк)”

[Падучева 1996: 363-364]

Таким образом, как пишет Е.В. Падучева, русскому НСВ прош. свойственно «сопротивление ингрессивной интерпретации» (там же). Широкое употребление в летописных текстах консекитивного имперфекта убедительно свидетельствует о том, что в данном отношении имеются серьезные расхождения между тем, как строилось древнерусское повествование, и нормами современного русского языка. В самом деле, в приведенных нами примерах КИ, образованные (по крайней мере, с точки зрения современной глагольной системы) от основ НСВ вида, присоединяются к глагольным формам СВ вида без всяких «специальных средств» (чаще всего при помощи союза «и», реже – бессоюзно), и при этом имеют ингрессивное значение.

Эту разницу хорошо иллюстрируют переводы летописных фраз, в которых употреблен КИ, на современный русский язык. Так, в переводе ПВЛ Д.С. Лихачева (ПВЛ 1996) КИ иногда соответствуют глаголы СВ, например: и *примышляше* къ первой дани (см. (6)) – «и *прибавил* к прежней дани новую» (с. 162). Ср. также:

(19) и минуше Треполь проидоша валь. и се Половци *идяху* противу (Лавр., л. 73) – «и вот половцы *пошли* навстречу» (с. 231);

(20) се слышавше людье с радостью *идяху* (Лавр., л. 40 об.) – «услашав это, с радостью *пошли* люди» (с. 190);

(21) голуби же и воробьева полетѣша въ гнѣзда своя <...> и тако *възгарахуся* голубьници (Лавр., л. 17) – «и так *загорелись*» (с. 165).

Используется также конструкция «стать + инфинитив», ср.: и *одалаху* Болъгаре (см. (4)) – «и *стали одолевать*» (с. 170), а также:

(22) Антонии же приде Кыеву. и *мысляше* кдѣ бы жити (Лавр., л. 53) – «и *стал думать*» (с. 206);

(23) а Мстиславъ приде Суждалю и съдя ту *посылаше* к Олгови мира прося (Лавр., л. 86) – «а Мстислав пришел в Суздаль и, сев там, *стал посылать* к Олегу, прося мира» (с. 247);

(24) и положиша и на одрѣ. и *служаше* около его Антонии (Лавр., л. 65) – «И положили его на постель, и *стал прислуживать* ему Антоний» (с. 221).

Здесь формы КИ явно интерпретируются как ингрессивные и соответственно переводятся на современный русский. Чаще, однако, Лихачев предпочитает переводить фразы с КИ при помощи глаголов НСВ, ср. (8) – «и принес его к себе в келью, и *ухаживал* за ним» (с. 221); (9) – «Потом узнали добрые люди и *приходили* к нему, принося все, что ему требовалось»; (10) – «Когда Игорь вырос, то *сопровождал* Олега и слушал его...» (с. 152). Ср. также:

(25) и пришедь Добрына Ноугороду. постави кумира надъ рѣкою Волховомъ. и *жряху* ему людье Ноугородстии. аки Богу (Лавр., л. 25 об.) – «И, придя в Новгород, Добрыня поставил кумира над рекою Волховом, и *приносили ему жертвы* новгородцы как богу» (с. 174);

Заметно, что в данном случае ради сохранения оригинальной конструкции в некоторой степени нарушаются нормы современного русского литературного языка. Так, по-русски скорее следовало бы сказать: «Узнали добрые люди и *стали приходить*»; «Когда Игорь вырос, то *стал сопровождать* Олега»⁵ и т.п.

Но в некоторых случаях непонимание функциональной и семантической специфики КИ приводит не только к грамматическим, но и к смысловым ошибкам, ср. перевод следующей фразы:

(26) В лѣто 6491. Иде Володимеръ на Явтяги. и побѣди Явтяги. и взя землю их. и иде (в Ип., Радз. и Акад. списках – «при(и)де къ») Киеву. и *творяше* потребу кумиромъ. с людьми своими (Лавр., л. 26) – «И пошел к Киеву, *принося* жертвы кумирам с людьми своими» (с. 175).

Используя в переводе деепричастие, Д.С. Лихачев дает понять, что, по его мнению, жертвоприношения совершались в процессе движения князя Владимира и его дружины по направлению к Киеву, но до прихода в Киев. Между тем, контекст самой фразы (дальнейшие события – убийство варягов-христиан – происходят в Киеве) заставляет усомниться в

⁵ В плане типологического сравнения любопытен английский перевод этой фразы у Сконефельда: «When Igor' had grown up, he *followed* Oleg and obeyed him, and they brought him a wife from Pskov called Ol'ga» [Schooneveld 1959, 48]. Как пишет Е.В. Падучева, «сопротивление ингрессивной интерпретации отличает русский НСВ прош. от многих претеритальных глагольных форм других языков, например, от простого прош. в английском; ср. пример из Carlson 1981: At sunrise I walked eastward – букв. «Когда солнце встало, я шел на восток»; по-русски надо сказать *я пошел на восток*» [Падучева 1996, 364].

правильности этого перевода и предпочесть иную интерпретацию: Владимир отправился в Киев и, по прибытии, начал совершать жертвоприношения языческим богам. Одной из жертв должен был стать сын варяга-христианина. Таким образом, в данном случае КИ имеет подчеркнuto ингрессивное значение, «открывая» рассказ о мученической кончине варягов.

Одной из причин, спровоцировавших ошибку Лихачева, могло быть отсутствие в этой фразе (с точки зрения современного читателя) одного «звена»: не зафиксирован момент прихода Владимира в Киев. Но несмотря на то, что в других списках ПВЛ этот «недостаток» исправлен (вместо «иде» стоит «приде»), необязательно видеть в Лавр. описку. Древнее летописное повествование состоит из более крупных и менее тесно связанных между собой «блоков», чем современные нарративные тексты. Для него характерно, что каждый претерит в нарративной цепочке может обозначать отдельное (целое) событие, а несколько претеритов могут быть скреплены между собой только отношениями хронологической последовательности и сочинительными союзами (*и*, *а*), без каких-либо специальных языковых средств, согласующих их между собой. В данном случае ситуация осложняется тем, что непонятен аспектуальный статус формы «иде»: означает ли она, что Владимир «отправился в путь» из земли ятвягов («инхoатив» – обозначена начальная точка пути; именно так трактует эту форму Лихачев), или же она сообщает о его перемещении из земли ятвягов в Киев (так сказать, «фактическое» значение – обозначен весь путь)? Но так или иначе, из контекста ясно, что события, обозначенные формами «иде» и «творяше», не происходят одновременно, а следуют одно за другим. Заслуживает особого внимания тот факт, что в «канонической» летописной нарративной цепочке именно контекст играет ту роль, которая в современном русском языке «отводится» категории вида (см. ниже).

Невнимание к контексту и ошибочное толкование видовременной семантики соответствующих форм и привело к ошибке Лихачева. Исследователь, по-видимому, исходил из распространенного представления о фоновом, синхронном «основном значении» имперфекта. Кроме того, перед нами очевидный результат интерпретации (*a priori*) семантики аориста и имперфекта через призму современной видовой семантики, что в принципе недопустимо⁶. Выше, со ссылкой на исследование Е.В. Падучевой, уже говорилось

⁶ Можно привести еще один пример подобной «модернизации». Во фразе: «и принесоша я на дворъ к Ользѣ. и *несъше вринуша* е въ яму и с лодьею» (Лавр., л. 15 об.) Лихачев видит некую игру слов: «И принесли их на двор к Ольге, *и как несли, так и сбросили* их вместе с ладьей в яму» (с. 164, курсив мой – П.П.). Действительно, если при интерпретации этой фразы опираться на нормы современного русского языка, то надо полагать, что действие, обозначенное формой *вринуша*, «вложено» во временной интервал, обозначенный формой *несъше*, то есть оба действия происходят одновременно; последняя форма оказывается в таком случае эквивалентной по функции деепричастию НСВ. Но здесь возникает трудность: в современном языке глагол *нести* обозначает процесс, с объектом которого (тем, *что* несут) может произойти только что-то неконтролируемое (и, как правило, нежелательное) – *неся*, можно что-то *уронить*, но нельзя *бросить*. Отсюда – очевидное затруднение Лихачева при переводе данной фразы и использование им специфически разговорной конструкции, «маскирующей» это противоречие. Между тем, опять-таки из контекста ясно, что обсуждаемые формы обозначают не одновременные, а *последовательные* события, и, следовательно, надо переводить просто: «поднесли их (к краю ямы) и бросили в нее вместе с ладьей». В пользу такого перевода, помимо контекста,

о том, что в современном русском нарративном тексте форма НСВ прош., следующая непосредственно за формой СВ прош., обозначает действие, одновременное с действием, обозначаемым последней. Поскольку употребление КИ (одним из примеров которого служит (26)) не является чем-то неординарным для летописного языка, ясно, что он в данном отношении устроен иначе, чем современный русский литературный язык. Ведь очевидно, что речь здесь не может идти о пушкинской или бунинской изысканности (ср. примеры, приводимые Е.В. Падучевой), поскольку: 1) употребления КИ регулярны – это скорее норма, чем «изысканная нестандартность»; 2) в употреблении простых претеритов решающую роль играли традиции средневековой книжной письменности, не допускавшие в данном случае никаких «изысков»: книжники должны были воспроизводить те употребления, которые имелись в образцовых текстах (см.: [Живов 1995]). Отсюда, как представляется, можно сделать важный вывод: *употребление аориста и имперфекта в ранних русских летописях не подчиняется правилам согласования видов, обязательным для современного литературного языка.*

7. Дискурсивные свойства аориста и имперфекта и развитие категории вида в восточнославянском языке

Кажется неслучайным, что рассматриваемое явление не привлекало внимания историков языка. Дело в том, что вплоть до недавнего времени категория вида рассматривалась в основном как грамматическое обобщение «способов глагольного действия», при этом вне поля зрения оставались многие важные особенности линейного, дискурсивного употребления вида. Напротив, в последнее время аспектологов едва ли не в первую очередь интересуют именно те качества, которые формы СВ и НСВ проявляют в связном тексте, в нарративе (см., например: [Барентсен 1998; Падучева 1996; Тимберлейк 1998a]). Одним из важных результатов применения этого подхода стало осознание того, что «временные соотношения в тексте выражаются грамматически не временем, а видом – чередованием форм СВ и НСВ» [Падучева 1996: 362]. Рассмотрение семантики вида в связи с понятием наблюдателя позволило объяснить ряд особенностей употребления СВ и НСВ видов в повествовательных текстах.

свидетельствуют и общие (пока скудные и гипотетические) современные представления о специфике видо-временной системы, представленной в древних восточнославянских текстах.

Наблюдатель задает «точку отсчета», которая вводится в толкование СВ и НСВ видов; таким образом, вопреки традиционным представлениям, вид может рассматриваться как дейктическая категория (см.: [Апресян 1986: 290]; Е.В. Падучева относит вид к области «вторичного дейксиса», в отличие от времени, ориентированного на говорящего и представляющего собой «первичный дейксис», см.: [Падучева 1996: 285-296]).

Традиционные представления о функциональных и семантических свойствах видовых и временных форм доминировали и в исследованиях по истории языка: именно на их основе трактовалась семантика простых претеритов. Так, например, И.К. Бунина писала: «собственное грамматическое значение форм имперфекта, как и форм аориста, лежит за пределами видовых значений, *характеризующих протекание действия вне его связей с другими действиями*, поскольку многочисленные поиски в этой области до сих пор не дали желаемого результата» ([Бунина 1959: 103-104]; курсив мой – П.П.). Этот подход столь же удобен (поскольку позволяет с кажущейся легкостью провести границу между функционированием временных форм с одной стороны и видовых – с другой), сколь и неверен. Исходя из того, что вид характеризует прежде всего внутреннее протекание действия, исследователи, стремившиеся дифференцировать временные и видовые значения, делали основной акцент на сочетаемостных свойствах аориста и имперфекта, и тут-то как раз они и попадали в «ловушку», приготовленную видом, поскольку в современном русском языке (носителями или знатоками которого являются исследователи) именно вид отвечает за сочетаемость предикатов в нарративе. В этом причина возникновения того порочного круга, о котором сказано выше.

В действительности, вряд ли стоит стремиться к четкому разграничению семантики и функций простых претеритов и видовых форм в древних славянских текстах. Более информативным представляется исследование особенностей *функционирования* глагольных словоформ и их способности или неспособности выступать в определенных типах контекстов. Так, очевидно, что в древнейший период аорист и имперфект выполняли не только временные, но и видовые (аспектуальные) функции, в том числе по координации действий в нарративе. Столь же очевидно и то, что они функционировали несколько иначе, чем СВ и НСВ виды в современном русском языке, а следовательно, *иными были и правила линейного соположения аориста и имперфекта в повествовательном тексте*. Одно из существенных отличий состоит в том, что имперфект (в отличие от форм НСВ в современных русских нарративных текстах) мог употребляться в консекutiveй функции. В дальнейшем, по мере формирования современной категории вида (надо полагать, она не возникла «сразу и вдруг» – это был постепенный процесс), часть временных и аспектуальных функций аориста и имперфекта, по-видимому, переходила к формам СВ и НСВ; их семантика и функции пересекались.

Это способствовало известному функционально-семантическому сближению между аористом и СВ видом, с одной стороны, и имперфектом и НСВ видом, с другой, и – как следствие – устойчивой корреляции в их употреблении.

Но, надо думать, одновременно с формированием грамматического противопоставления форм СВ и НСВ, формировались и правила согласования видов в нарративе. Отсюда возникала определенная асимметрия в употреблении СВ и НСВ видов, имеющих тенденцию к согласованию, и простых претеритов, которые подчиняются иным, собственным правилам линейного соположения. Закономерным следствием этого стало появление в употреблении простых претеритов ранее отсутствовавшей дифференциации. Так, в случае имперфекта стали различаться синхронное употребление (совпадающее с употреблением НСВ вида) и консекutiveное (противоречащее употреблению НСВ вида).

Вообще, если говорить об эволюции видо-временной системы в целом, нужно рассматривать не только простые претериты, но и другие глагольные формы, принимающие участие в формировании восточнославянского летописного повествования, – плюсквамперфект, перфект, причастия, обладавшие автономной предикативностью (ср. примечание 6). Развитие категории вида привело к перестройке всей восточнославянской видо-временной системы – утрате одних форм (плюсквамперфект), изменению функций у других.

КИ не является исключительной характеристикой восточнославянских текстов. Так, И.К. Бунина, исследовавшая старославянскую систему времен, пишет о том, что имперфект широко употреблялся «для обозначения действий, составляющих одно из последующих звеньев в цепи событий данного периода прошлого» (Бунина 1959, 107). Она приводит, в частности, следующий пример из Мариинского Евангелия: **Ин 6:3 възиде же на горѣ ѿс. і тоу сѣдѣаше съ оученикы своими** (то же: Ин. 4:6).

Если ставить вопрос шире, следует подчеркнуть, что, хотя, как неоднократно отмечалось (см.: [Маслов 1984: 191]), все языки, имеющие две аспектуальные формы прошедшего времени, обнаруживают в целом общие принципы построения связного повествования, имеются некоторые различия в употреблении этих форм в том или ином конкретном языке. Так, имперфект мог выступать в качестве ингрессива в древнегреческом (см.: [Соболевский 1948: 294-295]). Следовательно, к данному явлению можно подходить и с типологической точки зрения.

8. Прагматический контекст,

в котором употребляется консекutiveный имперфект

Судя по тому, как КИ употребляется в старославянских и ранних восточнославянских памятниках, он не мог выступать в составе изолированного высказывания.

Имперфект мог обозначать отдельное событие (при этом становясь функционально эквивалентным и даже взаимозаменяемым с «перфективом»-аористом), только в нарративной последовательности, где ему предшествовали аорист или причастие «СВ вида», то есть в той самой «канонической» нарративной цепочке с ярко выраженным паратаксистом, о которой говорилось выше. При этом, как правило, между действием, обозначенным КИ, и действием, обозначенным предшествующим ему аористом, имеется тесная связь, а именно: действие, обозначенное КИ, происходит как бы на фоне той ситуации, которую фиксирует аорист. Разница с «классическим» фоновым имперфектом в том, что КИ «сдвигает» ситуацию, зафиксированную аористом, обозначая новое действие/событие, которое интерпретируется как «длительное», и на фоне которого, в свою очередь, могут происходить дальнейшие события⁷. При этом события, обозначаемые аористом и КИ, могли быть как очень близкими (настолько, что между ними трудно провести границу, – они как бы «перетекают» друг в друга), так и более отдаленными друг от друга по времени; в последнем случае более заметную роль играли логические и хронологические отношения между ними. Ср. следующие две фразы НПЛ:

(27) Въ лѣто 6644. Индикта лѣта 14, новгородци призваша пльсковиче и ладожаны и сдумаша, яко изгонити князя своего Всѣволода, и всадиша въ епископлъ дворъ, съ женою и съ дѣтьми и съ тыщею, мѣсяця маия въ 28; и стражѣ *стрежаху* день и ночь съ оружиемъ, 30 мужъ на день. (л. 16 об.-17)

(28) а Святославлію прияша Новѣгородѣ съ лучшими мужи, а самого Святослава яша на пути смолняне и *стрѣжахуть* его на Смядинѣ въ монастыри <...> жидуше оправы Ярополку съ Всѣволодкомъ. (л. 19 об.-20)

Хотя и в том, и в другом случае имперфект имеет консекutiveное значение (ср. невозможность использования деепричастия при переводе на современный русский:

⁷ Так, КИ часто употребляется после формы “бысть” (ср. (4)), как правило, в таких случаях обозначающей начало состояния (см.: Живов и Успенский 1986, 271). Любопытно, впрочем, что ингрессивное значение может иметь не только форма “бысть”, но и “бѣше”, ср.:

Въ лѣто 6702. Зажъжесе пожаръ Новегородѣ въ недѣлю на Всѣхъ святыхъ, в говѣние, идуче въ заутрѣнюю: загоресе Савѣкине дворе на Ярышевѣ улицѣ, и *бѣше* пожаръ зълъ, съгорѣша церкви 10 <...> и уяша у Лукини улицы. (НПЛ, л. 53 об.-54)

а на волость Новгородскую наидоша Литва, Нѣмци, Чюдь, и поимаша по Лугѣ вси кони и скоть, и нелзѣ *бѣше* орати по селомъ и нѣчимъ, олна вда Ярославъ сына своего Александра опять. (НПЛ, л. 128 об.)

Видимо, имперфект от глагола «быти» также мог иметь ингрессивное (консекutiveное) значение (по крайней мере, в ранних летописях).

**посадили (схватили), содержа под стражей*), очевидно, что, в силу разных лексических значений слов *въсадити* и *яти*, различны и создаваемые ими ситуации: в (27) аорист фиксирует состояние, в котором Всеволода уже можно было «стеречь», но в (28) аорист и КИ обозначают более «дистанцированные» (как во времени, так и в пространстве) действия, хотя и логически взаимосвязанные.

Таким образом, в семантике КИ содержится некоторое противоречие, во многих случаях даже осложняющее интерпретацию соответствующих форм: с одной стороны, КИ обозначает действие, синхронное ситуации, фиксируемой предыдущим предикатом (в этом смысле, казалось бы, сохраняя верность своему «прототипическому» синхронному значению), с другой – новое звено в нарративной цепочке (что особенно заметно во фразах типа (28)). Оппозиция аорист/имперфект не равнозначна оппозиции событие/процесс (состояние) – в определенных контекстах процесс, обозначаемый имперфектом, мог одновременно являться новым событием в повествовании (процесс – в силу лексического значения соответствующего глагола, событие – в определенных контекстных условиях). Иначе – в современном русском языке, где (в нарративных текстах) подобные «комбинации», как правило, не встречаются.

Возможно, это свидетельствует о том, что в рассматриваемых летописных текстах представлен несколько иной, чем в аспектуальной системе современного русского языка, способ концептуализации действительности. Как пишут Анна А. Зализняк и А.Д. Шмелев, в русской языковой картине мира «все явления, которые происходят в мире, концептуализируются одним из трех способов: как состояния, события или процессы» [Зализняк, Шмелев 2000: 35]. Глаголы СВ всегда обозначают события, глаголы НСВ в «нарративном режиме» (см.: [Падучева 1996]) имеют «синхронное» значение. В таком случае, КИ представляет собой необычный, «четвертый способ» представления фрагментов действительности, не удовлетворяющий требованиям строгой дихотомии событие/не-событие.

Итак, имперфект мог составлять конкуренцию аористу только в контекстах (ситуациях) определенного типа. А. Тимберлейк предложил в подобных случаях говорить о «принятых прагматических стратегиях». По мнению ученого, особого внимания требует «употребление вида в контексте, его вариантные значения или, если угодно, те регулярные стратегии (или «трафареты», в смысле [Живов, Тимберлейк 1997]), которые используют говорящие, связывая вид с контекстом. Как бы ни называть этого рода соображения (возможен термин «принятые прагматические стратегии»), ясно, что должна существовать достаточно сложная сфера языка, имеющая дело с явлениями более частными, чем инвариантные значения, но при этом все же регулярными» ([Тимберлейк 1998б: 14]; см.

также [Тимберлейк 1997]). Особый вопрос – использование обсуждаемой «прагматической стратегии» восточнославянскими книжниками.

9. Консекутивный имперфект и летописная традиция

Тот факт, что в восточнославянских летописях КИ употребляется в тех случаях, когда по нормам современного русского языка следует употребить форму СВ, достаточно нетривиален, поскольку в большинстве случаев при переводе с древнерусского на современный русский аористу (неважно, образован ли он – с современной точки зрения – от основы СВ или НСВ) соответствует форма прошедшего СВ, а имперфекту – форма прошедшего НСВ. Почему же восточнославянские книжники продолжали использовать КИ не только в древнейших, но и в поздних памятниках, ко времени написания которых грамматическая оппозиция глагольных видов уже несомненно сформировалась?

Здесь нужно учесть специфику самой книжной летописной традиции. Как указывает В.М. Живов, характер обучения книжной грамоте на Руси обуславливал формирование двух нарративных механизмов, действовавших при порождении новых текстов: механизма ориентации на образцы и механизма семантической адаптации. «Это усвоение предполагало интерпретацию специфически книжных элементов и конструкций (т.е. элементов и конструкций, не имеющих прямого соответствия в разговорном языке автора) в тех семантических категориях, которые были автору доступны (прежде всего из его языкового опыта, связанного с разговорным языком)» [Живов 1995: 46]. Таким образом, логически рассуждая, следует предполагать, что книжники, в разговорном узусе которых имелись уже вполне современные СВ и НСВ виды и отсутствовали простые претериты, при употреблении последних должны были использовать обратный (по сравнению с современными переводами с древнерусского) «пересчет»: вместо л-формы СВ ставить аорист, а вместо л-формы НСВ – имперфект. Более того, можно утверждать, что в процессе написания поздних текстов подобный механизм, безусловно, действовал.

Но, как видно, он не на 100% «контролировал» употребление в них простых претеритов, – писцы употребляли КИ вопреки тому, что в их разговорном узусе НСВ вид в подобных контекстах не употреблялся. Чем же могли руководствоваться древнерусские книжники, решая, что в данном случае следует употребить именно КИ, а не аорист? Как представляется, единственный возможный ответ состоит в том, что, несмотря на семантическую сложность КИ, древнерусские писцы, начитанные в книжных текстах, умели определять именно тот тип прагматического контекста, в котором – по нормам книжного языка – допускалось (или требовалось) употребление КИ.

Впрочем, если в современном русском языке повествование в прошедшем времени в норме не допускает «событийного» употребления НСВ, то отсюда не следует автоматически, что такая же ситуация была и в раннем восточнославянском. В этом плане показательно

сравнение русского языка с другими современными славянскими языками (поскольку различия между диалектами и родственными языками часто оказываются «географической» проекцией диахронии). Так, в чешском формы НСВ вполне свободно используются в нарративе в тех случаях, когда в русском можно употребить только СВ (см.: [Stunová 1988, 1993; Барентсен 1998]). Аналогичные особенности можно обнаружить и в некоторых других славянских языках вне восточнославянского ареала. Следовательно, развитие вида в восточнославянском обладало определенной спецификой. Нельзя исключить, что на каком-то этапе этого развития употребление видов в раннем восточнославянском (в интересующем нас аспекте) было ближе к современному чешскому, чем к современному русскому языку.

Но эти проблемы лишь недавно стали привлекать внимание исследователей, и здесь еще много неясного. Поэтому, даже если допустить, что в период написания древнейших летописных сводов в разговорном языке восточных славян уже не было имперфекта, остается открытым вопрос: могли ли формы прошедшего НСВ в разговорном восточнославянском употребляться в консеквативной функции или древнерусские книжники встречали подобные употребления только в образцовых текстах, восходящих к кирилло-мефодиевской традиции? В настоящее время невозможно дать определенный ответ на этот вопрос.

Но даже в том случае, если ранний восточнославянский, подобно современному чешскому языку, допускал употребление формы прошедшего НСВ для передачи отдельного события в нарративной цепочке, ясно, что со временем КИ стал частью письменной традиции и уже в качестве такового продолжал употребляться в восточнославянских книжных текстах. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры употребления КИ в поздних летописных памятниках. Ср. следующие примеры из Пискаревского летописца первой трети XVII в.:

(29) И взяша князя Михаила и удариша им сильно и повергоша на землю и *бяху* нещадно (л. 265);

(30) Того же лета князь Олег рязанский приде ратью к городу Любутьску, граждане же затворишася и *бяхуся* с ними из города (л. 412).

В поздних текстах, написанных в период, когда видовая система в общих чертах приобрела уже современный вид, а простые претериты стали ассоциироваться исключительно с книжной письменной традицией, употребление КИ в определенной степени служило препятствием для полного функционально-семантического совпадения форм аориста и имперфекта с л-формами, образованными от основ СВ и НСВ видов.

В целом же развитие летописной традиции характеризовалось постепенным возрастанием роли СВ и НСВ видов (с их дискурсивными и прагматическими свойствами) в

построении связного текста и – в значительной степени в связи с этим – столь же постепенным разрушением старой видо-временной системы (с ее сложной системой времен).

Литература

Барентсен 1998 – А. Барентсен. Признак «секвентная связь» и видовое противопоставление в русском языке // Типология вида: проблемы, поиски, решения. М., 1998, с. 43-58.

Борковский, Кузнецов 1965 – В.И. Борковский, И.С. Кузнецов. Историческая грамматика русского языка. М., 1965.

Бунина 1959 – И.К. Бунина. Система времен старославянского глагола. М., 1959.

Гиппиус 2000 – А.А. Гиппиус. «Повесть временных лет»: о возможном происхождении и значении названия // Из истории русской культуры. Т. I. Древняя Русь. М., 2000, с. 448-460.

Горшкова, Хабургаев 1997 – К.В. Горшкова, Г.А. Хабургаев. Историческая грамматика русского языка: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. М., 1997.

Древнерусская грамматика 1995 – Древнерусская грамматика XI-XII вв. М., 1995.

Живов 1995 – В.М. Живов. Usus scribendi. Простые претериты у летописца-самоучки // Russian Linguistics, 1995. Vol. 19. № 1. P. 45-75.

Живов, Тимберлейк – В.М. Живов, А. Тимберлейк. Расставаясь со структурализмом // ВЯ. 1997. № 3.

Живов, Успенский – В.М. Живов, Б.А. Успенский. Grammatica sub specie theologiae. Претеритные формы глагола *быти* в русском языковом сознании XVI-XVIII веков // Russian Linguistics 1986. Vol. 10. P. 259-279.

Зализняк, Шмелев – Анна А. Зализняк, А.Д. Шмелев. Введение в русскую аспектологию. М., 2000.

ИГРЯ – Историческая грамматика русского языка: Синтаксис. Сложное предложение / Под ред. В.И. Борковского. М., 1979.

Истрина 1923 – Е.С. Истрина. Синтаксические явления Синодального списка I Новгородской летописи // ИОРЯС. Т. 24 (1919 г.). Кн. 2, 1923, С. 1-172; Т. 26 (1921 г.), 1923, С. 207-239.

Маслов 1984 – Ю.С. Маслов. Очерки по аспектологии. Л., 1984.

НПЛ – Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов / Под ред. и с предисл. А.Н. Насонова). М.; Л., 1950 (2-е изд.: М.: Языки русской культуры, 2000.).

Падучева 1996 – Е.В. Падучева. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996.

ПВЛ 1996 – Повесть временных лет. Т. 1-2 / Подготовка текста, пер. и прим. Д.С. Лихачева. М.; Л., 1950; (2-е изд.: СПб.: Наука, 1996).

Петрухин 1996 – П.В. Петрухин. Нарративная стратегия и употребление глагольных времен в русской летописи XVII века // ВЯ. 1996. №4.

Петрухин 2000 – П.В. Петрухин. Нарративные стратегии и изменение исторических «точек зрения» в русском летописании // Восточная Европа в древности и средневековье. Историческая память и формы ее воплощения: Материалы конференции. М., 2000. С. 15-18.

Плунгян 1998 – В.А. Плунгян. Проблемы грамматического значения в современных морфологических теориях (обзор) // Семиотика и информатика. Вып. 36. М., 1998. С. 324-386.

Преображенская 1991 – М.Н. Преображенская. Служебные средства в истории синтаксического строя русского языка XI-XVII вв.: Сложноподчиненное предложение. М., 1991.

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей, издаваемое Археографическою комиссиею. Т. I–XXXIX. СПб.; М., 1841-1994.

Ринберг 1988 – В.Л. Ринберг. К проблеме древнего связного текста в трудах А.А. Потебни // ИАН СЛЯ. 1988. № 6. С. 571-576.

Соболевский 1948 – С.И. Соболевский. Древне-греческий язык: Учебник для высших учебных заведений. М., 1948.

Тимберлейк 1997 - А. Тимберлейк. Динамика лексики, времени и дискурса: Замечания по поводу анкеты по аспектологии // Труды аспектологического семинара филологического факультета МГУ. Т. 3. М., 1997. С. 195-205.

Тимберлейк 1998а – А. Тимберлейк. (1998а) Вид глагола как история // Типология вида: проблемы, поиски, решения. М., С. 443-453.

Тимберлейк 1998б – А. Тимберлейк. Заметки о конференции. Инвариантность, типология, диахрония и прагматика // Типология вида: проблемы, поиски, решения. М., С. 11-27.

Этерлей 1970 – Е.Н. Этерлей. Древнерусский имперфект (значение и употребление). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1970.

Bermel 1997 – N. Bermel. Context and the lexicon in the development of Russian aspect // University of California publications in linguistics. 1997. Vol. 29

Nørgård-Sørensen 1997 - J. Nørgård-Sørensen. Tense, Aspect and Verbal Derivation in the Language of the Novgorod Birch Bark Letters // Russian Linguistics. 1997. Vol. 21 № 1. P. 1-21.

Ruzicka 1957 – R. Ruzicka. Der Verbalaspekt in der altrussischen Nestorchronik. Berlin, 1957.

Schooneveld 1959 – C.H. van Schooneveld. A Semantic Analysis of the Old Russian Finite Preterite System. The Hague, 1959.

Stunová 1988 – A. Stunová. Aspect and sequence of events in Russian and Czech: a contrastive study // Dutch Contributions to the Tenth International Congress of Slavists, Sofia, Linguistics. Amsterdam, 1988.

Stunová 1993 – A. Stunová. A contrastive study of Russian and Czech Aspect: Invariance vs. Discourse. Amsterdam, 1993.

ИНФОРМАЦИОННО-ХРОНИКАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Отчет о диалектологических экспедициях

Института русского языка им. В.В. Виноградова 2000 года

Сбор диалектного материала в полевых условиях, фиксация диалектной речи на магнитофонную ленту продолжает оставаться одной из главных задач отдела диалектологии и лингвогеографии и отдела фонетики Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН. На магнитофонных пленках содержится богатая информация не только о языке народа, но и о его истории, его обычаях, духовной жизни, морали. Эти записи послужат материалом для диалектологов и других исследователей не одного поколения.

2000 год, благодаря финансированию диалектологических экспедиций Академией наук и сотрудничеству с зарубежными научными центрами, был весьма плодотворным для сбора нового диалектного материала: состоялось 9 экспедиций в различные говоры, в результате чего хранящаяся в Институте фонотека русской диалектной речи пополнилась магнитофонными записями более чем на 500 часов звучания.

Самая продолжительная экспедиция (70 дней) работала под руководством А.К. Петровой в **Архангельской области**. Работа велась в с. Долгощелье (**Мезенский район**) и д. Явзоре (**Пинежский район**). Кроме сотрудников института А.К. Петровой и А.В. Копыловой, в экспедиции приняли участие и внештатные сотрудники. За время работы было сделано магнитофонных записей более чем на 260 часов звучания. При сборе и анализе материала делался акцент на изучении лексико-семантической и синтаксической системы говоров. При исследовании лексико-семантической системы говора особое внимание уделялось базовым общерусским глаголам движения, таким как *ходить – идти, бежать – лететь – летать, плавать – плыть* и их производным. Были сделаны наблюдения над собственно диалектными значениями общерусских глаголов и над диалектными особенностями значений, общих с литературным языком. В частности, выявлялись модели управления для каждого значения, отличия по семантическим компонентам внутри толкования одного и того же значения в литературном языке и в архангельских говорах, особенности видовременных значений исследуемых глаголов. В рамках изучения диалектного синтаксиса основное внимание было сконцентрировано на проблеме сочетаемости переходных глаголов определенных семантических групп (совершенного и несовершенного вида) с существительными в форме им., вин., род. падежей с целью установить частотность употребления им. и род. падежа объекта в исследуемых говорах и выявить факторы, которые определяют выбор той или иной падежной формы в конкретном контексте.

Целью экспедиции И.А. Букринской и О.Е. Кармаковой в **Кологривский район Костромской области** было изучение говоров центральной диалектной зоны, в которую входят владимирско-поволжские говоры и часть костромских. Говоры центральной диалектной зоны представляют чрезвычайный интерес, поскольку они восходят к так называемому «восточному диалекту», который рано обособился от других славянских языков, а потому сохранил много архаических черт. Именно эти говоры легли в основу русского литературного языка.

Для исследования были выбраны два соседних населенных пункта – деревни Церковное и Копьёво. Окающий костромской говор д. Церковное находится на границе с Чухломским окающим островом – окающим говором д. Копьёво, который картографирован в Диалектологическом атласе русского языка (ДАРЯ).

В говоре д. Церковное сохраняется ряд архаических черт: нафлексивное ударение в форме презенса старых *i*-глаголов (*косит, грузит*), наличие слова *елоха* 'ольха', составных наименований для обозначения радуги (*радуга-дуга*). В говоре широко употребляется давнопрошедшее время (*Сын был приходил к нам раньше; в Кострому уехала была жить; Никитина matka умерла была* и т.д.).

В традиционном слое говора достаточно полно представлена архаическая лексика (*жито, молотило, теребить лён и др.*), хотя лексический состав говора постоянно подвергается изменениям в силу утраты тех реалий, которые уходят из жизни, а также по социолингвистическим причинам: молодежь намеренно не употребляет многие слова из лексикона родителей, считая их непрестижными, деревенскими – *уповод, корчага, творить хлеб, пекчи, клыкá*. Изучение лексики говоров данного типа представляет определенную трудность. Изоглоссы множества лексических явлений, которые вошли и в литературный язык, на исследуемой территории захватывают то в большей степени то север, вологодские говоры, то юго-восток. Определить, где именно они первоначально возникли и из каких именно говоров вошли в литературный язык, представляется трудным и всякий раз требует специальных разысканий.

Фонетические черты данного говора в основном укладываются в выделенные К.Ф. Захаровой и В.Г. Орловой диагностические черты Костромской группы говоров.

Интересно отметить, что соседний акающий говор д. Копьёво ничем, кроме самого аканья, от окающего говора д. Церковное не отличается: все архаические диалектные черты ему также присущи.

Группа в составе Д.М. Савинова, Е.В. Щигель работала в **Губкинском и Прохоровском районах Белгородской области**. В течение шести рабочих дней были сделаны магнитофонные записи на 31 час звучания.

Первые три дня работа проводилась в Губкинском районе (по диалектному членению говоры этой местности относятся к Оскольским говорам межзональной группы Б южнорусского наречия). Экспедиционная группа выезжала в села Скородное, Присынок, Чуево и Толстое (села Присынок и Толстое были обследованы по программе ДАРЯ диалектологами Института русского языка в 50-х годах). Следующие три дня экспедиционная группа работала в соседнем Прохоровском районе (Курско-Орловская группа южнорусского наречия). Магнитофонные записи были сделаны в селах Беленихино, Береговое и Подольхи.

Одной из целей собирателей было пополнение фонотеки записями говоров тех районов, которые были обследованы в 50-ые годы и где Т.Ю. Строгановой был обнаружен новый тип диссимилятивного аканья, названный впоследствии *прохоровским*. Примеры данного типа аканья спорадически отмечаются у современных носителей говора и зафиксированы в магнитофонных записях этого года. Возрастной диапазон информантов достаточно широк – от 1907 до 1960 года рождения, но преобладают женщины 70 – 80 лет. Нужно отметить, что особенности местного говора не утратились и у некоторых молодых жительниц деревень, получивших среднее и среднее специальное образование.

Высокая продуктивность этой короткой экспедиции – результат большой помощи администрации Губкинского и Прохоровского районов, предоставившей транспорт, обеспечившей жильё, а также организовавшей содействие местных работников культуры.

Под руководством Е.В. Щигель состоялась экспедиция в **Старорусский район Новгородской области**, во время которой было сделано 16 часов магнитофонных записей. Группа выезжала в пять деревень: Бурег, Взвяд, Устреки, Святогоршу и Пинаевы Горки. Деревня Взвяд была ранее обследована по программе ДАРЯ.

По Старорусскому району проходит граница между окающими и акающими среднерусскими говорами, поэтому магнитофонные записи из Бурег, Взвада и Святогорши – это записи окающего среднерусского говора (новгородские говоры окающей части западных среднерусских говоров). Деревня Устреки, расположенная на территории окающих говоров, возникла относительно недавно, видимо, в XIX веке. По рассказам местных жителей, ее основали выходцы из Осташковского района Тверской области, т.е. носители акающих Селигеро-Торжковских говоров. Это аканье сохранилось у коренного населения деревни Устреки. Деревня Устреки, стоящая на берегу оз. Ильмень, и деревня Взвяд, расположенная на берегу р. Ловать в шести километрах от оз. Ильмень, – это старинные рыбацкие поселения, быт которых сильно отличался от быта земледельцев, поэтому записи из этих деревень интересны с лексической и этнографической точек зрения. Последний обследованный пункт, деревня Пинаевы Горки, находится на территории псковской группы западных среднерусских акающих говоров. Вокруг нее в лесу расположено еще несколько небольших деревень, изучение говора которых может стать задачей следующей экспедиции.

В ноябре 2000 года состоялась десятидневная экспедиция Н.Л. Голубевой в с. **Владимирское Воскресенского района Нижегородской области**. Говор этого села был обследован по программе ДАРЯ в 1947 году Д.А. Марковым (Орехово-Зуевский учительский институт) и включен в ДАРЯ.

Село Владимирское являлось и в настоящее время остается своеобразным «центром» среди менее крупных окрестных деревень, многие из которых по разным причинам исчезли в середине – конце XX века. По рассказам старожилов, в прошлом в с. Владимирское и окрестных деревнях были развиты всевозможные ремесла.

В селе восстановлен православный храм. В верованиях жителей села православие переплетается с элементами старообрядчества и язычества (ср., например: *ополтїи вокру́г свято́го о́зера на колéнях*).

История села и верования его жителей во многом связаны с озером Светлояр, в котором – по легендам – затонул Китеж-град. Со времен раскола на берегу озера собирались старообрядцы, и современники еще помнят их горячие споры. В середине – конце XIX века загадочное озеро привлекало внимание этнографов, поэтов, литераторов, приезжавших сюда; П.И. Мельников-Печерский называл озеро вулканическим. В 1969-1973 гг. здесь работала экспедиция археологов, геофизиков, гидрологов, изучавших феномен озера (по рассказам местных жителей, еще в начале XX века некоторые из них слышали колокольный звон, раздававшийся как будто из-под земли). Однако до настоящего времени не все его загадки считаются разрешенными, а многое спорным; полного взаимопонимания между историками и геологами не существует; согласно одной из точек зрения, озеро представляет собой карстовую воронку, по мнению некоторых специалистов, приуроченную к геологическому разлому.

Село издавна вызывало интерес приезжающих; по свидетельству людей, оно забываемо и «притягивает» к себе тех, кто однажды посетил его; возможно, что именно поэтому, помимо коренных жителей, здесь поселялись и поселяются приезжие – как из окрестных деревень, так и из других областей России. В последнее десятилетие интерес к озеру и селу особенно оживился. Здесь открыт этнокультурный центр «Китеж», руководителем которого создан музей предметов местного быта. В 1987 г. Нижегородский университет организовал в районном центре Воскресенском специальную конференцию, посвященную феномену легендарного озера Светлояр и истории с. Владимирское. В селе работали студенческие фольклорные экспедиции под руководством профессора МГУ Н.И. Савушкиной, однако специальными описаниями его говора диалектологи до сих пор не располагают, если не считать фрагментарных рукописных материалов 1947 г.

Н.Л. Голубева сделала в говоре магнитофонные записи монологической и диалогической речи – всего 33 часа от 13 носителей говора в возрасте от 60 до 90 лет, в том числе 3,5 часа мужской речи от двух местных жителей.

Речь жителей с. Владимирское характеризуется полным оканьем, при этом просодия слова не севернорусская, а близка к русской литературной. В речи жителей 60-90 лет достаточно регулярно произносятся особые рефлекс фонемы /ѣ/ ([e] перед твердыми и [u] перед мягкими согласными), а также, возможно, сохраняется и особый рефлекс фонемы *o* (средне-верхнего подъема) – изредка отмечаемый [o].

Единично отмечены следующие редкие и/или архаические явления: неоглушение звонких на конце слова (*дуб^б* и др.), формы перфекта и плюсквамперфекта (*вот как было жито*), формы повелительного наклонения с частицей *айдá* (ср. также отмечаемое в говоре сочетание частиц *А и...* в начале фразы), диалектные формы сравнительной степени прилагательных и сравнительных оборотов (*лучшáайше; пополúчие; лúчие, как у нéй*).

Яркими особенностями говора являются: стяжение в окончаниях глаголов и прилагательных, регулярное употребление предлога *по* в целевом значении и предлога *про* в значении 'для' (*по хлеб, по тебя; про него, про вас*); изменяемая (грамматически согласуемая) постпозитивная частица *-то*. В говоре отмечаются такие явления, как переход существительных среднего рода в женский (*повídла, прóса*).

Обращают на себя внимание глаголы, характеризующиеся разносторонними диалектными особенностями: словообразовательными и семантическими (*караться* 'страдать', *бóтать* 'стучать', *удéелать* – 'починить', *осмотрéть* 'навестить', *сохраняться* 'прятаться'), стяжением и ёканьем во флексиях (*несетё*), спецификой в сфере вида, проявляющейся в бесприставочных образованиях с суффиксом *-ыва-/-ива-* и с формантом *попо-*.

Отмечаются своеобразные частицы: *бúдя, чай, бы* (желательность и др. иррациональная модальность), *айда* (волеизъявление), *мол* (при передаче чужой речи), *так* (на месте *дак*, постпозитивной и непостпозитивной).

В 2000 г. продолжалось сотрудничество отдела диалектологии и лингвогеографии и отдела фонетики Института с **зарубежными научными учреждениями**. О.Г. Ровнова и Д.М. Савинов вместе с профессором Бернского университета Я.П. Лохером (Швейцария) и его группой обследовали говоры **Максатихинского и Удомельского районов Тверской области**. Экспедиция работала три дня и сделала записей на 8 часов звучания.

Основной целью было выявление финно-угорского субстрата в говорах Тверской области, поэтому члены экспедиции помимо русских деревень посетили также д. Ключевую Максатихинского района, которая исконно заселена этническими карелами. В ходе обследования было установлено, что диалектные особенности, отмеченные в речи русского населения соседних с Ключевой деревень Амосино и Плотники, характерны также для русской речи карел, которые являются билингвами.

Интересно отметить, что говоры Максатихинского района относятся к Белозерско-Бежецким межзональным говорам севернорусского наречия, тогда как говор д. Сытинó и д. Шíшелово Удомельского района, расположенных всего в пятидесяти километрах к западу от Максатихи, принадлежат уже к среднерусским акающим Селигеро-Торжковским говорам. Таким образом, на исследуемой территории проходит граница между севернорусскими акающими говорами и среднерусскими акающими, что практически не встречается в других местах (обычно севернорусское наречие переходит в среднерусские говоры с неполным оканьем).

Из Тверской области часть группы переместилась в южнорусское наречие и в течение двух дней под руководством Д.М. Савинова обследовала говоры **юго-западных районов Тульской области**. Экспедиция работала в деревнях Скоморошки и Сизенево Дубенского района, в с. Красное Одоевского р-на, а также в деревнях Болото и Богданово Белёвского района и сделала 8 часов записей. Основной целью было выявление типов вокализма первого предударного слога в юго-западных тульских говорах. В частности, было отмечено, что на территории Белёвского и Одоевского районов преобладающим типом вокализма после твердых согласных до сих пор остается жиздринское диссимилятивное аканье. При этом отдельные примеры свидетельствуют о былом распространении в этих говорах архаического диссимилятивного аканья. Вокализм после мягких согласных представлен умеренным яканьем, в котором фиксируются элементы иканья. Также не вызывает сомнения, что говоры исследованных территорий характеризуются менее архаичными системами, по сравнению с более южными говорами Белёвского района, обследованными Д.М. Савиновым совместно с О.Г. Ровновой ранее (в них отмечается архаическое аканье и архаическое диссимилятивно-умеренное яканье).

В течение уже нескольких лет с диалектологами Института сотрудничает профессор Рурского университета Кристиан Саппок (Бохум, Германия). При его содействии были организованы экспедиции в рамках двух совместных проектов. Первый из них связан с изучением русских говоров Заполярья.

В 1997 и 2000 годах К. Саппок и сотрудник отдела фонетики Института А.М. Красовицкий провели две экспедиции в расположенные в заполярной зоне Восточной Сибири русские старожильческие поселения. Поселок **Русское Устье** на р. Индигирке, находящийся примерно в 100 километрах от побережья Восточно-Сибирского моря (экспедиция 1997 года), и поселок **Походск** в устье р. Колымы (экспедиция 2000 года) были основаны, как принято считать, в начале XVII века русскими казачьими отрядами, начинавшими колонизацию Сибири. В то время по всей территории Восточной Сибири были разбросаны небольшие русские поселки, немногочисленное население которых активно контактировало с местным населением – палеоазиатскими и тунгусо-маньчжурскими племенами. Межэтнические браки привели к появлению на этих территориях особого типа смешанного населения. Можно предположить, что язык русских колонистов подвергся в то время существенным модификациям, приведшим как к заимствованию отдельных элементов, так и к существенным системным сдвигам.

Судьба первых русских поселений в Сибири складывалась по-разному. Массовая миграция крестьян из Европейской России, начавшаяся в XVIII и продолжившаяся в XIX веке, буквально растворила в себе население тех территорий, которые были более или менее благоприятны для земледелия. В других местах, где не существовало условий для традиционной хозяйственной деятельности русских, притока населения «с материка» не происходило, в результате население некоторых русских поселков было полностью ассимилировано местным населением. Исследователи прошлого века, путешествовавшие по Сибири, писали, что многие русские поселения на территории Якутии утратили русский язык и соседи-якуты воспринимают их просто как особые якутские наслеги. Подобную ситуацию наблюдали не так давно и диалектологи из Якутского университета, в 70-х годах обследовавшие исторически русские поселки в бассейне Лены. По данным историков, в «затундренных» районах к XIX веку только индигирцы и колымчане, несмотря на тесные хозяйственные и семейные связи с юкагирским, эвенским и якутским населением, сохранили русский язык и всегда идентифицировали себя как русских. В то же время ситуация языкового контакта привела к значительным сдвигам, закрепившимся в языке индигирцев и колымчан. Собранные данные свидетельствуют, в частности, о значительных фонологических изменениях в языке населения Походска и Русского Устья под влиянием юкагирского и эвенского языков. Исследование языка этих небольших русских сообществ, на протяжении нескольких веков находившихся в иноязычном окружении, ставит перед исследователями целый комплекс проблем: не только в области лингвистики, но и культурологии и истории.

Второй совместный проект связан с изучением говоров донских казаков. На протяжении трех полевых сезонов было обследовано 50 казачьих станиц и хуторов, расположенных по Среднему (1998-1999 гг.) и Нижнему (2000 г.) Дону (**Волгоградская** и частично **Ростовская область**). Кроме К. Саппока, во всех экспедициях участвовали Д.М. Савинов, Е.Н. Мошкина (Вятский государственный педагогический университет), а также М. Краузе (Рурский университет) – в 1999 и 2000 гг., О.Г. Ровнова – в 1998 и 2000 гг., В.Л. Строменко (Вятский государственный педагогический университет) – в 2000 г. Руководил экспедициями Л.Л. Касаткин. Благодаря тому, что члены экспедиции работали с информантами, разбившись на группы, удалось записать на магнитофон огромный массив диалектной речи – более 300 часов звучания. На базе собранного материала предполагается издать звучащую хрестоматию донских казачьих говоров.

Сделанные записи позволяют с достаточно большой точностью описать основные диалектные особенности этих говоров. Наиболее полно представлены в записях их фонетические и грамматические черты, беднее – лексические, выявление которых требует использования другой методики. Однако в этих материалах встретились слова и значения слов, не отмеченные диалектными словарями: *кратить* ‘раскулачивать’, *пасать* ‘пасти’, *полдэвка* ‘девочка 14-16 лет’, *шáя*, *шáйка* ‘группа людей, животных’ (без пейоративного значения) и др. Из фонетических особенностей следует отметить так называемую «редукцию гласных до нуля». Безударный гласный может выпадать в разных частях слова, но наибольшее число примеров приходится на заударные слоги, особенно на конечный открытый слог в конце синтагмы.

При выпадении гласного возможно сокращение числа слогов в слове. Если это выпадение факультативно и зависит от фразовой позиции, темпа речи, общего спада напряженности, фонема сохраняется; если изменение лексикализовалось, гласная фонема в слове отсутствует. Слоговая структура слова может не меняться за счет долготы предшествующего согласного, ставшего слоговым, или сохранения глухого гласного. Отсутствие гласного звука также компенсируется долготой следующего согласного, лабиализованностью предшествующего согласного при выпадении [y], необычностью возникшего сочетания согласных. В этих случаях гласная фонема сохраняется.

Важным результатом экспедиции в донские казачьи говоры в 2000 г. является фиксация на магнитофон донского типа яканья, которое отмечено экспедиционной группой в четырех населенных пунктах Чернышковского района Волгоградской области: хуторах Ёлкин, Захаров, Нижний Гнутов, Сизов. Вероятно, этот тип яканья был распространен и на территории, прилегающей к станице Есауловская и затопленной Цимлянским водохранилищем.

В июле 2000 г. при содействии профессора Торуньского университета им. Н. Коперника Стефана Гжибовского (Польша) состоялась экспедиция в **русские старообрядческие поселения на северо-востоке Польши**. Группа из четырех человек, в которую кроме С. Гжибовского входили Л.Л. Касаткин (руководитель группы), Р.Ф. Касаткина и О.Г. Ровнова, работала в деревнях Габовы Гронды, Бор, городах Августов и Сувалки. Было записано на магнитофон 30 часов звучащей речи.

Предки современных старообрядцев появились на этой территории в восьмидесятые годы XVIII в.; это были выходцы из псковских земель. Таким образом, материнский говор современных старообрядцев относится к западным среднерусским акающим говорам. В силу своей конфессиональной принадлежности старообрядцы ориентированы на сохранение русского языка и русской культуры. Действительно, их речи свойственны типично псковские диалектные черты: сильное яканье; существительное *дочка́* с нафлекссионным ударением; окончание *-и (-ы)* у существительных 1 склонения в форме дат. и предл. падежей (*этот хрещáемый должен прикоснуться к головы; остáлись при стáрой веры*) и *-ым* в форме тв. падежа мн. числа (*возили зимой саням, телегам; старики с борода́м*); широкое распространение деепричастных форм на *-ши (-вши)* в роли сказуемого (*всё заросши было; он там родивши*); видовая пара *купить – куплять*; глаголы дистрибутивного способа действия с приставкой *по-* (*ма́тка нас всех поодела; я напекла́, наварила, всё поделала*) и многие другие. Вместе с тем, в результате русско-польского двуязычия старообрядцев в их речи распространены полонизмы. Это осознают и сами жители, см. их типичные высказывания: *с Польшей живём, язык-то мешáный; мы немножко спольшишные* (т.е. «ополяченные»). В частности, отмечены такие лексические заимствования, как *леки* ‘лекарства’, *стодола* ‘гумно, сарай’, *збожье* ‘зерно, родина’ ‘семья’, *забранять* ‘запрещать’, *ховáть* ‘ухаживать, кормить’ и др. Под влиянием польского языка конструкция *у меня есть* вытеснена конструкцией *я имею (маю)*; отмечены частые случаи изменения глагольного управления под воздействием польского языка: *мужик помёр на рака* (от рака); *учатся закона божьего* (закону божьему); *приедете сюда́ за год* (через год).

Не будет преувеличением сказать, что влияние польского языка сказывается на всех уровнях русского говора старообрядцев. Изучение этого влияния представляет самостоятельную задачу для диалектологии.

Следует отметить, что русская речь старообрядцев, проживающих в Польше, изучается польскими лингвистами начиная с 50-х годов, однако русские диалектологи впервые получили возможность ее записывать и анализировать. В ноябре 2000 г. между Институтом русского языка им. В.В. Виноградова и Торуньским университетом им. Н. Коперника подписан договор о научном сотрудничестве, предусматривающий дальнейшее совместное изучение говора русских старообрядцев Польши.

Отчет подготовлен *О.Г. Ровновой*.

И. И. Фужерон (Франция)

От библиотечной карточки к архиву С.И. Карцевского

Моя первая «встреча» с С.И. Карцевским произошла в 1972 году в генеральном каталоге Ленинской библиотеки. Я только начала работу над своей докторской диссертацией и перебирала в ящике бесконечные карточки по теме интонация, когда вдруг наткнулась на карточку: Serge Karcevski «Sur la phonologie de la phrase». Фонология фразы. Что такое фонология, я знала, но никогда не слышала, чтобы говорили о фонологии фразы. По-французски я говорила свободно, но читать научную литературу было часто нелегко. Я начала читать и была удивлена, как все было изложено просто, ясно и понятно. О таких сложных вещах автор говорил простым и доступным языком. Начались поиски других трудов Карцевского. Кроме работы «Système du verbe russe» и «Повторительный курс русского языка» никаких других книг этого автора я не нашла, да и эти, надо сказать, были в грустном состоянии. Статьи были разбросаны по разным сборникам, журналам, некоторых в каталоге не было, о них я узнавала только из ссылок автора на свои статьи.

Необходимо отметить, что подавляющее большинство работ Карцевского, однажды опубликованные, до сих пор больше не были переизданы.

Среди прочих работ мне попали две статьи напечатанные в переводе в журнале «Вопросы языкознания»: «Сравнение» — 1976 г. и «Бессоюзие и подчинение в русском языке» — 1961 г. А несколько позже я прочитала в «Вопросах языкознания» 1957 г. статью Н.С. Пospelova из которой я и узнала о существовании архива С.И. Карцевского и о том, что он хранится в Институте русского языка им. В.В. Виноградова АН СССР

Дорога к этому архиву была долгой.

Но вот в 1996 г. благодаря моим друзьям и коллегам Р.Ф. и Л.Л. Касаткиным и разрешению директора Института русского языка А.М. Молдована я получила доступ к архиву. Именно в этом году архив Института русского языка получил в свое распоряжение маленькое, но собственное помещение, маленькая пещера Али-Бабы, где в строгом порядке хранятся сокровища.

И вот передо мной архив С.И. Карцевского: 14 довольно толстых папок и одна 15-я, совсем тоненькая. С трепетом развязываю тесемки этих папок. Передо мной листы, исписанные мелким аккуратным почерком. Весь архив на французском языке. Только три страницы, работа

«К вопросу о залогах в русском языке» написана по-русски¹. Впечатление, что все, или почти все, что находится в этих папках, готовилось для перепечатывания. Листы в папках пронумерованы. Вероятно, это сделано после того, как в 1957 году жена и сын Карцевского передали архив в Академию наук. Со слов И.С. Карцевского, сына ученого, архив принимал В.В. Виноградов. Тогдашний президент АН СССР С.И. Вавилов предложил создать комиссию по лингвистическому наследию Карцевского. Была ли она создана? Кто в нее входил? Что ею было сделано?

При ближайшем рассмотрении оказалось, что материал в папках совсем не был систематизирован. Так, например, в первой папке находились отдельные параграфы по фонологии, по орфографии, тут же конец статьи «Introduction à l'étude de l'interjection» («Введение в изучение междометия»), а потом ее начало. Во второй папке рядом с глаголами находились параграфы о беглой гласной («Les substantifs à syllabe syncorée»), о родительном падеже существительных... Ни одна из папок не содержала перечня того, что в ней находилось. Вероятно, с архивом работал Н.С. Пospelов, когда готовил публикацию переводов, (может быть, это он и пронумеровал листы в папках), но после, похоже, что архив так никого и не заинтересовал, и в порядок приведен не был: в каждой папке было всего понемножку. Наряду с нумерацией, сделанной после передачи архива, немалое число страниц носит авторскую нумерацию, что в какой-то мере помогло мне провести систематизацию материала.

В одной папке листы не были пронумерованы, а при ближайшем рассмотрении оказалось, что, если расположить листы в определенной тематической последовательности, с учетом нумерации параграфов, сделанной Карцевским, то из содержания этой папки можно составить почти полное описание имени существительного.

В различных папках среди листов было большое число карточек, листочков, листков отрывного календаря, куда были занесены отдельные мысли, заметки, примеры для анализа, наброски схем.

В первую очередь необходимо было составить опись с перечнем того, что находилось в каждой папке. Эта первая опись позволила более наглядно представить себе содержание всего материала и приступить к его систематизации.

В своей статье «О структуре русского существительного»². Карцевский пишет, что он работает над «Структурной грамматикой русского языка». Эта работа была делом всей его жизни, но так и осталась незавершенной. Систематизация архивного материала позволяет думать, что перед нами части этой грамматики. К сожалению, в архиве нет никакого хотя бы более или менее общего плана «Структурной грамматики». Некоторые части выглядят отработанными, законченными, переписанными, готовыми к публикации. Другие носят характер материала еще в работе. Особый интерес представляет «лаборатория ученого» — отдельные главы предстают

¹ Вероятно, должен был быть и архив работ на русском языке, но пока ничего найти не удалось. Архивы парижских газет, где были напечатаны две статьи Карцевского, по нашим данным, исчезли во время Второй мировой войны.

² Статья впервые опубликована на французском языке под заглавием «Sur la structure du substantif russe» в сборнике «Charisteria Gvilelmo Mathesio quinquagenario a discipulis», Прага, 1932, с. 65-73, переиздана в нашем переводе см. С.И. Карцевский, Из лингвистического наследия, М.: «Языки русской культуры», 2000, С. 59-70.

в нескольких вариантах, параграфы переставляются, их нумерация меняется: старый номер зачеркнут и стоит новый, иногда под дробью, иногда не стоит вовсе, как будто его место в общей системе еще не определено.

Систематизация позволила из разрозненных материалов 14 папок составить 12 тематических папок.

Вот заглавный лист, где рукой ученого написано:

Serge Karcevski
Grammaire
de la
langue russe

Затем идет изложение разделов по фонологии, фонетике и орфографии, которые Карцевский ставил под номером **I**. Эти разделы (тематическая папка №1) выглядят наиболее законченно. Здесь имеется составленный Карцевским план. Перед нами два варианта систематического изложения проблемы (Первый вариант: гл. I §§ 1-9 Phonologie; гл. II §§ 10-14 Orthographe; и второй вариант: гл. I §§ 1-9 Sons et lettres; гл. II §§ 10-20 Phonétique et phonologie). Кроме того варианты отдельных параграфов, наброски и два варианта небольшой заметки о фонологии и фонетике русского языка, датированные октябрём – ноябрём 1941 года, где Карцевский развивает идею о том, что в русской фонологии доминируют два фактора: палатализация — в области согласных и интенсивность и движение ударения — в области гласных. Вероятно, перед нами первоначальные варианты статьи «Remarques sur la phonologie russe», опубликованной в 1943 году в «Cahiers Ferdinand de Saussure», т. III.

Вот два листа; на первом под римской цифрой **II** заголовок — «Introduction à la grammaire», — всего три страницы; (нумерация листов и страниц перепутана: страница 1-лист 17, а 2 — лист 16.) Судя по цифровым обозначениям первый раздел Карцевский не включал в грамматику. По этому поводу небезынтересно вспомнить высказывание в предисловии «Повторительного курса русского языка», где Карцевский пишет: «Анализ /.../ фонемы уводит нас из языка в физиологию звуков и в акустику. В изучении *именно родного языка* (курсив наш) необходимо идти натуральным путем, т.е. от смысловых единиц к звукам, а не обратно, и, стало быть, от лексики к семантике, потом к грамматике, наконец к физиологии»³. И действительно, в «Повторительном курсе» звуковому строению речи, письму и орфографии посвящены две последние главы. Но Карцевский никогда не отрывал свою научную деятельность от преподавания. Он прекрасно понимал разницу в преподавании родного языка и иностранного. Вероятно, именно поэтому в Грамматике, написанной на французском языке (и, можно думать, предназначенной для иностранцев) он изменяет принцип построения и начинает описание с изложения фонетико-фонологических вопросов. Так архивные данные позволяют понять, как под влиянием педагогического опыта за границей у Карцевского изменяется представление лингвистического материала.

Другой, весьма разработанной частью является раздел «Существительное» (папки 2-4). Во второй папке в основном собран материал, последовательное изложение которого подобрано по нумерации параграфов, сделанной самим Карцевским. Здесь обращает на себя внимание интерес Карцевского к словообразованию: около 30 страниц рукописи с авторской нумерацией заключают в себе детальную разработку вопроса, может быть, даже более

³ С. И. Карцевский: Из лингвистического наследия. С. 103.

подробную, чем в упомянутой выше статье «О структуре русского существительного». В параграфе о сложных словах, который, судя по указанию на рукописи, Карцевский предполагал поместить «в конце книги», автор снова возвращается к идее внутренней синтагматики и представляет части сложного слова как элементы, находящиеся между собой в отношениях определяющего и определяемого (*T'T*). Карцевский пишет, что «некоторые из сложных слов в своем ансамбле выступают в качестве определяющего в структуре нового сложного слова, например, *пароходовладелец* — (*T'T*)'T».

В третьей папке помещен вариант материала второй (10 параграфов); в четвертой — черновики, варианты и наброски по существительным.

В разделах «Прилагательное» и «Местоимение» (папка 5) установить последовательное изложение оказалось значительно труднее: не достаёт целого ряда разделов.

Безусловный интерес представляет все, что имеет отношение к тому, что Карцевский называет «*Les déterminatifs (ou pronominaux)*» (папка 6). Эти слова, по мнению Карцевского, распространяются глубоким слоем под всей лингвистической системой. От обычных слов они отличаются в первую очередь чрезвычайно общим характером их семантического значения, до того общим, что оно часто совпадает с формальным значением обычных слов: так, значение лица в глаголе есть значение формальное, однако в «детерминативах» — личных местоимениях — это значение становится семантическим. Существуют «детерминативы» существительные (*кто*), прилагательные (*какой*), наречия (*когда*), союзы, частицы, даже междометия (*эй!* — служащее для оклика). Глагол *быть* тоже входит в состав «детерминативов», отличаясь от прочих глаголов тем, что находится вне системы видов, а его семантическим значением можно считать его непереходность, значение, которое у других глаголов, по мнению Карцевского, является формальным. Эти слова отличаются от прочих и морфологически.

Как мы уже говорили, к сожалению, в архиве нет никакого хотя бы более или менее общего плана «Структурной грамматики», но по тем вариантам главы «Детерминативы», которые сохранились, видно, что Карцевский неоднократно перерабатывал ее и не раз переставлял (глава II, потом VI, потом VII).

В папку №7 вошли главы по числительным, наречиям, в том числе рукопись варианта статьи «*Sur la nature de l'adverbe*» («О природе наречия»), впервые опубликованной в 1936 г. в VI номере «*Travaux du Cercle linguistique de Prague*» (с. 107-111)⁴. В этой же папке материал по предлогам, в частности глава о значении падежей и их связи с предлогами.

Восьмая папка содержит материалы по глаголу. Здесь имеется составленный Карцевским план. Из сохранившихся материалов некоторые части полностью соответствуют нумерации в плане. Кроме того немало подготовительных разработок, вариантов по разделам, которые не отражены планом. В основном в папке собраны материалы по спряжению глаголов и их распределению по классам и по группам. Особо следует отметить рукопись «§§ 37-47» о префиксации и классах глагола. Обращает на себя внимание тщательность и четкость фигурирующих в тексте таблиц.

В статье «*L'idée du procès dans la langue russe*» («Понятие процесса в русском языке»),

⁴ Статья переиздана нами, см. Serge Karcevski: *Inédits et Introuvables*, Paris 2000, С.247-254

помеченной в рукописи 26/IX-37 г. и опубликованной впервые в посмертном XV номере «Cahiers Ferdinand de Saussure»⁵, Карцевский пишет, ссылаясь на А. Мейе: «Существительные соответствуют обозначению вещей, глаголы — обозначению процессов». В девятой папке собраны материалы, свидетельствующие об интересе Карцевского к этому вопросу. Здесь свидетельства дальнейшей разработки вопроса, наброски, варианты: датированная 23/X 1937 г. рукопись «le Procès et son entourage» («Процесс и его окружение»), рукописи «Procès et son entourage. Remarques sur la grammaire russe» («Процесс и его окружение. Заметки о русской грамматике»), «L'idée du procès et le verbe. Remarques sur le verbe russe» («Понятие процесса и глагол. Заметки о русском глаголе»). Перерабатывая и углубляя свой анализ, Карцевский постоянно возвращается к мысли, «что процесс — это напряжение между двумя неподвижными точками, между двумя полюсами, качественное различие между которыми проявляет природу процесса как изменения. <...> Основа самой идеи процесса противоречива, так как любой процесс единичен и в то же время многократен».⁶

В десятой и одиннадцатой папках собраны работы по синтаксису. Установление связи между словами, типы фраз, роль диалога в организации структуры фразы, осуществление связи главного предложения с придаточным, происхождение сочинительных союзов ... — вот неполный перечень тех вопросов, над которыми работает Карцевский. По некоторым из них остались лишь начальные разработки, другие предстают законченными работами в нескольких редакциях. Например, известная статья «Deux propositions dans une seule phrase» («Два предложения в одной фразе»)⁷ предстает перед нами в четырех редакциях, из которых третья и четвертая в свою очередь в двух вариантах. Основная идея Карцевского, что фраза и предложение единицы разного порядка, что фраза есть функция диалога и именно тип диалога определяет структуру фразы.

В нескольких вариантах предстает работа Карцевского над междометиями. В архиве хранятся написанные один за другим два варианта статьи, посвященной памяти Н. С. Трубецкого. Эти два варианта так отличаются друг от друга, что почти можно говорить о двух разных статьях. Один озаглавлен «Les interjections russes» («Русские междометия») (2.IX.40 — 11.IX.40) и в нем немалое место уделено рассмотрению вопроса о функционировании русского отрицания. Во втором варианте — «Sur les fonctions exclamatives en russe.» («О восклицательных функциях в русском языке») — Карцевский выделяет четыре семиологических плана языка: номинативный (называющий вещи, действия, качества), числительный, указательный (сюда входят местоимения или «слова-указатели»), сигнализирующий («в котором «вещи» заявляют сами о себе посредством какого-либо сигнала») и рассматривает роль каждого из них в языке. Особенное внимание уделяется планам, занятым в выражении восклицания, в частности планы указательный и сигнализирующий.

Здесь же рукопись интереснейшей статьи «De l'exclamation à la conjonction» («От восклицания к союзу»), впервые опубликованной нами в 2000 году в Париже. В этой работе Карцевский детально разрабатывает свою идею о происхождении сочинительных союзов от междометий.

⁵ Статья переиздана нами, см. *Ibid.*, P. 65-76.

⁶ Архив, папка № 9, с.с.9 и 39.

⁷ Впервые опубликована: *Cahiers Ferdinand de Saussure*, 1956b XV, p. 36-52, переиздана нами, см. Serge Karcevski: *Inédits et Introuvables*, p. 195-210.

Материалы архива показывают тщательность работы Карцевского. Все неоднократно переделывалось, переписывалось, о чем свидетельствуют многочисленные черновые записи и варианты. Карцевский работал не в ширь, а в глубь, как бы по спирали: количество разрабатываемых тем в его лингвистическом наследии ограничено, но каждая работа по определенной теме углубляет предыдущую. Уже в отработанном варианте снова встречаются поправки, заметки карандашом. Об этой кропотливой работе ученого позволяет судить и содержание 12-й папки, где теперь собраны все мелкие наброски, заметки и огромное количество примеров, как литературных, так и взятых из наблюдений за живой, современной ученому речью.

Осталось сказать несколько слов о последней, исходной 15-й, тоненькой папке. В ней хранится отрывок протокола заседания Московской Диалектологической комиссии при Российской Академии наук, на котором Карцевский, в феврале 1918 году, делал доклад о системе русского глагола. Эти напечатанные под копирку листки были переданы в Архив членом комиссии, вероятно, П. Богатыревым, с просьбой приложить этот материал к материалам архива С. Карцевского.

Многолетнее собрание разбросанных по разным изданиям трудов С.И. Карцевского и работа над его архивом позволила осуществить издание двух сборников работ Карцевского. Первый из них: Serge Karcevski *Inédits et Introuvables*, Textes rassemblés et établis par Irina et Gilles Fougeron. Paris, Peeters, 2000 – вышел в январе 2000 года. Эта книга содержит работы, написанные на французском языке. В ней широко использованы архивные материалы и в ряде случаев, проведен текстологический анализ, например, статья «Introduction à l'étude de l'interjection» переиздана по рукописи, т.е. с поправками и вариантами фигурирующими в архивной рукописи по сравнению с текстом первой публикации⁸. Кроме того мы опубликовали ранее неизданный рукописный вариант этой статьи, в той его части, где он расходится с текстом первого варианта. Другой пример: уже упомянутая статья «Deux propositions dans une seule phrase», опубликованная впервые в XV томе «Cahiers Ferdinand de Saussure» после смерти Карцевского по одной из существующих рукописей, переиздана в сборнике с использованием рукописей вариантов, что позволяет проследить развитие мысли ученого. Вслед за статьей и комментариями мы опубликовали один из вариантов, незаконченный, но наиболее отличный от всех других, в котором большое место уделяется роли интонации.

Кроме ряда других работ в сборник вошли две капитальные статьи Карцевского «Du dualisme asymétrique du signe linguistique» («Об асимметрическом дуализме лингвистического знака») и «Sur la phonologie de la phrase» («О фонологии фразы»).

А в июне 2000 года в издательстве «Языки русской культуры», в серии «Studia Filologica» вышла книга: С.И. Карцевский: Из лингвистического наследия, (составление, вступительная статья и комментарии И. И. Фужерон). Сюда вошли почти все работы ученого, написанные на русском языке, и некоторые статьи в переводе. Здесь были переизданы ставшие библиографической редкостью статьи Карцевского, опубликованные в редактируемом им журнале «Русская школа за рубежом», издававшемся с 1923 по 1928 гг. в

⁸ Впервые статья была опубликована: *Cahiers Ferdinand de Saussure*, 1941, I, p. 57-75.

Праге. Единственный материал архива, написанный на русском языке, – «К вопросу о залогах в современном русском литературном языке» также вошел в этот сборник.

В книге, в приложении, рядом с конспектом доклада С. И. Карцевского на заседании Московской диалектологической комиссии в феврале 1918 г. опубликован еще один архивный материал из другого фонда: это протоколы заседаний (7 февраля и 17 мая 1918 г.), на которых шло обсуждение этого доклада, который, несомненно, лег в основу докторской диссертации Карцевского, а затем его книги «Système du verbe russe». Тем более интересно прочитать мнения ведущих лингвистов, принявших участие в обсуждении.

С. И. Карцевский умер в Женеве, 7 ноября 1955 года. В 1957 году его прах был перевезен в Москву и захоронен в Московском крематории. После смерти ученого прошло сорок пять лет. И вот 2000 год можно считать годом Карцевского, когда издание его трудов вернуло из забвения этого крупного лингвиста, одного из создателей Пражского лингвистического кружка.

Я пользуюсь случаем, чтобы выразить глубокую благодарность Институту русского языка им. В. В. Виноградова РАН, его руководителям, сотрудникам и в частности заведующей архивом Г. С. Баранковой за предоставленный архивный материал и постоянную помощь в моей работе.

И.И. Фужерон
(Университет им. Шарля Де Голля, Лилль, Франция)

XV съезд скандинавских славистов

В течение почти полувека в скандинавских странах регулярно – каждый третий или, как исключение, каждый четвертый год – организуются съезды скандинавских славистов. Первый такой съезд был проведен в Дании в 1952 году. Четыре страны – Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия – поочередно берут на себя организацию съезда, а внутри каждой страны эта обязанность распределяется между университетами. В 2000 году очередь пришла к самому северному университету мира – университету г. Тромсё в Норвегии.

XV съезд славистов в Тромсё проходил с 12 по 15 августа – четыре рабочих дня и один экскурсионный. Всего было зарегистрировано 93 участника, а с докладами выступило 84. Большинство докладов были прочитаны на скандинавских языках.

В настоящем реферате коснемся только тех 36 докладов, которые были посвящены непосредственно русскому языку (и в современном, и в историческом аспекте).

О проблемах фонетики, точнее акцентологии, современного русского языка речь шла в двух докладах: Ю. Ларссон (Лунд) описала тенденции развития системы ударения прилагательных, а Е. Марклунд Шарапова (Уппсала) изложила тезисы своей докторской диссертации (защищенной в октябре этого же года) о нормах ударения глагола, на примере ударения форм прошедшего времени возвратного глагола. Кроме того, были два доклада об

орфографии: современному языку был посвящен доклад Л. Мустонен (Ёенсу) об изменениях в «графическом костюме» русского языка, а более древнему этапу – доклад Л. Силин (тоже Ёенсу) о вариантности как орфографическом явлении XVI века.

Диалектная фонетика (диссимилятивное яканье) была предметом доклада Т. Нессета (Тромсё), опиравшегося на теорию оптимальности.

Современной морфологии был посвящен доклад Й. Нёргорда-Сёренсена (Копенгаген) о «фальшивых друзьях» в грамматике, в котором выражения категории числа в русском языке были сопоставлены с датскими эквивалентами. Проблемы видов и способов действия глагола были освещены в докладах Атле Грённа (Осло) и Л. Бирюлина (Хельсинки). Первый доклад был о телических видовых парах и проблеме «обрыва», а второй – о классификации мультипликативов и семельфактивов.

Морфология в историческом плане была затронута в пленарном докладе Л. Стеенсланда (Лунд) об одном морфологически аномальном выражении в Слове о Полку Игореве – «живые струны», в докладе Я.-И. Бьёрнфлатена (Осло) об изменениях окончания третьего лица настоящего времени в русских говорах и в докладе И. Миди (Стокгольм) об экспансии тематического гласного *a* на окончания **o*-основ в начале XVIII века. Материалом для её доклада послужило собрание русских писем, хранящихся в Стокгольме.

Можно отметить некоторое усиление интереса к русскому синтаксису, преимущественно в контрастивных исследованиях. Сопоставление русского и датского языков было проведено в докладах Е. Бабочкиной-Лоренцен (Копенгаген) об адъективно-предикативных конструкциях с именем лица в качестве подлежащего, в докладе А. Кристенсен и С. Шуваловой (Орхус) о датском выделительном обороте и его функциональных эквивалентах в русском языке и, наконец, в докладе Л. Янсен (Копенгаген) об агенсе, акторе и переходных конструкциях. Шведский и русский были сопоставлены в докладах М. Бьёрклунд (Або) о страдательном залоге в информативном и репродуктивном дискурсе и Н. Зорихиной-Нильссон (Гётеборг) о русских деепричастных конструкциях в зеркале шведского языка (точнее, о выражении отношения разновременности между действиями). Контрастивный характер имели также пленарный доклад М. Лейнонен (Тампере) о морфосинтаксических параллелях между северо-русскими говорами и финноугорскими языками и доклад М. Ванхала-Анишевски (Тампере) о метатекстовых элементах в русской и финской научной речи. Проблемам перевода был посвящен доклад О. Комаровой (Тромсё) и С. Степановой (С.-Петербург) о синтаксических фразеологизмах и их переводе на норвежский язык. Два славянских языка были сопоставлены в докладе Й. Нурдборга Нильсена (Копенгаген) о структурах деагентивации в русских и украинских деловых текстах.

Синтаксической тематике были посвящены некоторые другие доклады. О. Паульссон (Гётеборг) обратил внимание на мало использованную конструкцию – причастие прошедшего времени сослагательного наклонения. В докладе Б. Нильссон (Стокгольм) были подвергнуты семантическому анализу словосочетания с отглагольными существительными (типа *метод прокатки*). Л. Лённгрен (Тромсё) очертил круг предикатов, подчиняющих союзные актанты. К.-Г. Лунд (Орхус) рассказал о русском синтаксисе в проекте VISL (Visual Interactive Syntax Learning). О конструкции со словом *аб-е* в языке житийных текстов говорила в своем докладе Т. Лённгрен (Тромсё).

Ряд докладов был посвящен вопросам лексикологии и лингвистики текста. Л. Ферм (Уппсала) говорила о политической метафоре в русском языке новейшего времени, а А. Песонен (Васа) – о метафоре в русских объявлениях. Л. Пёппел (Стокгольм) прочитала доклад о человеке в советском политическом дискурсе конца 30-х годов (на примере передовых статей газеты «Правда»), а В. Вегвари (Печ, Венгрия) – о «речевом взаимодействии».

Типологическая характеристика русского языка была предложена в докладе П. Дурста-Андерсена (Копенгаген), в котором русский и английский рассматривались как два подтипа аккумулятивных языков.

Доклад П. Амбросиани (Стокгольм) был посвящен историко-топонимическому исследованию названий деревень в Новгородской области.

Как правило, на этих съездах скандинавских филологов немало внимания уделяется исследованиям по истории русского языка. не стал исключением и XV съезд в Тромсё. Е. Лёфstrand (Стокгольм) в своем докладе дала описание русско-шведского разговорника, составленного в 1690-х годах купцом Кошкиным. Доклад И. Люсен (Осло) был посвящен технике древнейших славянских переводов. Темой доклада И. Майер (Уппсала) были вторичные переводы, произведенные для русского царя в мастерской переводчиков при «Посольском приказе» в 1648 году. Л. Нурдквист (тоже Уппсала) темой своего доклада выбрала особый тип документов – «мольбы» – из богатого Новгородского архива 1611-1617 гг., хранящегося в Стокгольме. Т. Русен (Уппсала) рассмотрел в своем выступлении проблемы изучения средневековых славянских переводов (периода 1000-1500 гг.). Наконец, в докладе Л. Дюровича (Лунд) были представлены церковно-славянские лютеранские катехизисы, опубликованные в Швеции в XVII веке.

Леннарт Лённгрен
(Университет г. Тромсё, Норвегия)

**Из истории Института русского языка РАН
О работе Отдела грамматики и лексикологии
Института русского языка РАН с 1944 года по 2000 год**

Отдел грамматики и лексикологии (до 1970 г. – сектор русского литературного языка) был создан акад. В. В. Виноградовым в 1944 г. – в год, когда Институт русского языка АН СССР выделился из состава Института языка и письменности АН СССР. Первоначально Отдел был небольшим: кроме В. В. Виноградова в нем работали С. И. Ожегов, Н. С. Пospelов, докторанты Ю. С. Сорокин и А. И. Ефимов; с 1946 г. – Н. Ю. Шведова, А. Б. Шапиро, Т. А. Иванова; после 1950 г. Отдел начал пополняться: в него влились В. А. Плотникова (Робинсон), И. С. Ильинская, В. Н. Сидоров, С. И. Бернштейн, В. Д. Левин, М. Н. Петерсон, Е. А. Иванчикова, Н. С. Авилова, после 1960 г. – И. С. Улуханов, В. В. Лопатин, И. И. Ковтунова, М. В. Ляпон, И. Н. Кручинина и ряд других исследователей, чьи имена сейчас хорошо известны в лингвистике. В состав Отдела входили действительные члены и члены-корреспонденты Академии наук: В. В. Виноградов, Н. Ю. Шведова, Ю. Л. Воротников.

За более чем полвека своего существования Отдел выпустил свыше тридцати индивидуальных монографий, более пятнадцати сборников статей, несколько серий научных трудов (см. об этом ниже). До 1950 г. работа Отдела крайне затруднялась противодействием и неусыпным контролем сторонников «нового учения о языке»; особенно усердствовали здесь Г. П. Сердюченко, Ф. П. Филин, М. М. Гухман, В. А. Аврорин, Т. П. Ломтев. В 1948 г. они организовали травлю В. В. Виноградова, обвиняя его в «космополитизме», т. е. в том, что он знал работы зарубежных лингвистов и не боялся о них писать. С появлением статьи в «Правде» и брошюры Сталина (автор ее – грузинский академик А. С. Чикобава, который один только мог объяснить Сталину истинное положение вещей) все резко изменилось: В. В. Виноградов стал «главой советского языкознания», к нему потянулось множество исследователей. Важно было при этом прежде всего то, что лингвистика получила возможность нормально развиваться как подлинная гуманитарная наука, хотя и с постоянной оглядкой на особое место так называемого «советского языкознания».

За несколько десятилетий после 1950 г. Отдел выпустил ряд важных индивидуальных и коллективных трудов по истории русского литературного языка, лексикологии, лексикографии, теории слова, грамматике, словообразованию, истории русистики. Это прежде всего цикл научных описательных грамматик: «Грамматика русского языка» (1952–1954 гг., редколлегия: В. В. Виноградов, Е. С. Истрина, С. Г. Бархударов), «Грамматика современного русского литературного языка» (1970 г., отв. редактор Н. Ю. Шведова), двухтомная академическая «Русская грамматика» (1980 г., редколлегия: главный редактор Н. Ю. Шведова, Н. Д. Арутюнова, А. В. Бондарко, Вал. Вас. Иванов, В. В. Лопатин, И. С. Улуханов, Ф. П. Филин Государственная премия СССР 1982 г.), «Краткая русская грамматика» (1989 г., редакторы Н. Ю. Шведова, В. В. Лопатин), «Словарь языка Пушкина» (тт. 1–4, 1956–1961 гг., редколлегия: В. В. Виноградов – отв. редактор, С. Б. Бархударов, Д. Д. Благой, Б. В. Томашевский, С. М. Бонди; переиздание – в 2000 г., исправленное и дополненное справочным аппаратом, а также материалами из ранних редакций и вариантов пушкинских текстов), «Очерки по исторической грамматике русского литературного языка

XIX века» (т. 1–5, 1964 г., под ред. В. В. Виноградова и Н. Ю. Шведовой), *«История лексики русского литературного языка конца XVII – начала XIX века»* и *«Лексика русского литературного языка XIX – начала XX века»* (1981 г., подготовленные под руководством Е. Т. Черкасовой), *«Библиографический указатель литературы по русскому языкознанию с 1825 по 1880г.»* (тт. 1–8, 1954–1959 г., главный редактор В. В. Виноградов, руководитель работы Н. Ю. Шведова), *«Слово и грамматические законы языка»* (тт. 1–2, 1989 г., редакторы В. В. Лопатин и Н. Ю. Шведова). Отделом выпущены теоретически важные лингвистические труды в виде ряда монографий (В. В. Виноградов, Н. С. Поспелов, И. С. Улуханов, В. В. Лопатин, Н. Ю. Шведова, Н. С. Авилова, И. И. Ковтунова, В. Д. Левин, Е. Т. Черкасова, М. В. Ляпон, Е. С. Копорская, И. Н. Кручинина, Ю. Л. Воротников и др.).

В Отделе велась и ведется большая работа по созданию разного типа словарей русского языка: кроме уже упомянутого «Словаря языка Пушкина», сыгравшего неоценимую роль в изучении языка поэта, сотрудниками Отдела выпущены в свет двадцать три издания «Словаря русского языка» С. И. Ожегова (1-ое изд. – 1949 г., 23-ье изд. – 1990 г., премия имени А. С. Пушкина АН СССР 1990 г.), четыре издания «Толкового словаря русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой (1992–1998 гг.); подготовлено пятое издание этого словаря, значительно дополненное и снабженное сведениями о происхождении слов (словарные статьи расширены зонами, содержащими сведения об этимологии более чем 15000 слов), подготовлен и выходит в свет шеститомный «Русский семантический словарь» (т. 1 – 1998 г., т. 2 – 2000, т. 3 – в печати) – первое в лексикографии словарное описание, представляющее лексику как исторически сложившуюся естественную иерархически организованную систему.

Отдел постоянно ведет большую научно-организационную работу: после смерти акад. В. В. Виноградова сотрудниками Отдела организовано и проведено более тридцати ежегодных «Виноградовских чтений» с привлечением большого числа ученых из разных научных центров; прочитанные на них доклады публиковались в виде специальных сборников. Отделом подготовлено много кандидатов наук; в нем выросли такие ученые – доктора наук, как В. В. Лопатин, И. С. Улуханов, Е. А. Земская, В. Д. Левин, Н. Ю. Шведова, М. В. Ляпон, Е. С. Копорская, И. А. Оссоветский, Л. М. Грановская, И. И. Ковтунова, Е. А. Иванчикова, Е. Т. Черкасова, Н. С. Авилова и др.

Научный потенциал Отдела, безусловно, определился тем, что этот отдел был создан В. В. Виноградовым и опирался на его школу; коллектив долгие годы работал под руководством этого ученого (после 1950 г., став директором Института и академиком-секретарем ОЛЯ, он передал всю организационную работу в отделе Н. Ю. Шведовой). Акад. В. В. Виноградов видел задачу своих учеников и сотрудников в познании собственно языка, его законов и, следовательно, в изучении и описании больших, не всегда исследованных материалов. Именно поэтому в Отделе удалось создать фундаментальные работы, посвященные целостному описанию таких важнейших уровней языковой системы, как лексика и фразеология, словообразование, морфология и синтаксис, показать основные процессы в новейшей истории русского литературного языка. Эти фронтальные исследования и всесторонние описания естественно привели к важным теоретическим результатам, относящимся к существованию лексики как естественной саморазвивающейся

системы, к теории слова, к проблемам общей и русской лексикографии, к представлению словообразования как самостоятельной внутриязыковой системы, к природе грамматических категорий, к семантической структуре предложения, к определению языкового смысла.

После смерти В. В. Виноградова (1969 г.) сотрудники Отдела отдали дань его памяти: они участвовали во всех «Виноградовских чтениях» и в издании последующих сборников; они приложили много усилий к изданию пятитомника его трудов: редакторы первого, грамматического, тома – Н. Ю. Шведова и М. В. Ляпон; силами сотрудников отдела выпущена в свет большая посмертная монография В. В. Виноградова «История слов» (1994 г., переиздание – в 2000 г.; отв. ред. Н. Ю. Шведова, редакторы-составители Е. С. Копорская, В. В. Лопатин, М. В. Ляпон, В. А. Плотникова, И. С. Улуханов, Е. П. Ходакова), оставленная автором в разрозненных рукописях, записках и выборках, которые он собирал свыше 40 лет.

Отдел постоянно готовил кадры и целые коллективы вливающиеся в состав Института русского языка РАН: в 1962 г. из его состава выделился Сектор языка художественной литературы и стилистики, организатором которого был В. Д. Левин, заведовавший Сектором вплоть до своего отъезда в 1980 г., когда стараниями таких партийных деятелей как В. Н. Хохлачева, Н. Б. Бахилина, Л. И. Скворцов, А. И. Горшков, В. П. Даниленко и др. этот крупный ученый был вынужден эмигрировать. Сейчас в разных отделах Института и в других научных организациях работают те, кто в пятидесятые – шестидесятые годы начинал у нас в качестве аспирантов или младших сотрудников (Е. А. Земская, И. С. Улуханов, В. В. Лопатин, И. Н. Кручинина, К. П. Смолина, Л. М. Грановская и др.).

Сотрудники Отдела поддерживают научные связи с зарубежными специалистами, научными и учебными заведениями, участвуют в международных конференциях, выезжают за рубеж с лекциями и докладами, помогают специалистам из разных стран, обращающимся в Отдел за консультациями.

акад. Н.Ю. Шведова

Об истории создания и о научной деятельности отдела современного русского языка

Отдел создан на базе сектора с тем же названием, который выделился из состава сектора культуры русской речи Института в 1963 году. Возглавил сектор современного русского языка к. ф. н. М. В. Панов, в 1968 году защитивший докторскую диссертацию по русской фонетике (диссертация была опубликована ранее в виде книги: М. В. Панов. Русская фонетика. М., 1967).

Под руководством М. В. Панова в 60-е годы развернулась широкомасштабная работа по изучению процессов, происходящих в русском языке XX века. Было выпущено несколько сборников, имеющих общее название «*Развитие ... современного русского языка*» с уточнением (начиная со второго выпуска), какая сфера языка, какой ярус его структуры является предметом изучения авторов данного сборника: *Развитие современного русского языка* (под ред. С. И. Ожегова и М. В. Панова; 1963), *Развитие грамматики и лексики*

современного русского языка (под ред. И. П. Мучника и М. В. Панова; 1964), *Развитие лексики современного русского языка* (под ред. Е. А. Земской и Д. Н. Шмелева; 1965), *Развитие фонетики современного русского языка* (под ред. С. С. Высотского, М. В. Панова, В. Н. Сидорова; 1966; второй сборник с тем же названием, посвященный фонологическим подсистемам, вышел в 1971 г.), *Развитие словообразования современного русского языка* (под ред. Е. А. Земской и Д. Н. Шмелева, 1966; второй сборник с тем же названием, посвященный проблемам членимости слова, вышел в 1975 г.). *Развитие функциональных стилей современного русского языка* (под ред. Т. Г. Винокур и Д. Н. Шмелева; 1968).

Главным же итогом интенсивной работы по изучению социально обусловленных изменений в русском языке новейшего времени явился четырехтомный труд «*Русский язык и советское общество*» (под ред. М. В. Панова; 1968). Здесь были использованы данные социолингвистических вопросников (по фонетике, морфологии и словообразованию), которые распространялись среди носителей литературного языка и затем были подвергнуты статистической обработке. Продолжение этих социолингвистических исследований нашло отражение в коллективной монографии «*Русский язык по данным массового обследования*» (под ред. Л. П. Крысина; 1974), в сборнике «*Социально-лингвистические исследования*» (под ред. Л. П. Крысина и Д. Н. Шмелева; 1976) и в докторской диссертации Л. П. Крысина «*Социолингвистическое исследование вариантов современного русского литературного языка*» (1980).

Дальнейшая работа по анализу и описанию материалов, полученных путем социолингвистических обследований, не была осуществлена по причинам нелингвистического характера: в 1971 году из Института вынужден был уйти М. В. Панов, а в начале 1973-го — Л. П. Крысин, вернувшийся в Отдел только в 1991 году.

С 1971 г. Отдел возглавил д. ф. н. (с 1987 г. — академик) Д. Н. Шмелев. Под его руководством в течение двадцати с лишним лет в Отделе велись работы в области изучения русской разговорной речи (РР). Непосредственный руководитель этих работ д. ф. н. Е. А. Земская, опираясь на высказанную М. В. Пановым еще в начале 60-х годов идею о самодостаточности РР как подсистемы литературного языка, разработала цельную концепцию, которая легла в основу указанных исследований. Было опубликовано несколько книг по РР, в которых использованы массовые записи живой речи: Е. А. Земская. *Русская разговорная речь. Проспект* (1968); *Русская разговорная речь*. Под ред. Е. А. Земской (1973); *Русская разговорная речь. Тексты* (под ред. Е. А. Земской и Л. А. Капанадзе; 1978); Е. А. Земская, М. В. Китайгородская, Е. Н. Ширяев. *Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис* (отв. ред. Е. А. Земская ; 1981); *Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика. Жест* (1983, отв. ред. Е. А. Земская). *Russische Umgangssprache* (Hrsg. S. Koester-Thoma, E. Zemskaja¹. Berlin, 1995)

Эти работы получили широкий резонанс не только в отечественной русистике, но и за рубежом и явились толчком к изучению разговорных вариантов других национальных языков (прежде всего, славянских).

¹ В случае коллективного авторства или научного редактирования разрядкой выделяются только фамилии сотрудников Отдела

Внимание к функциональной стороне русского языка, к изучению его прагматических и коммуникативных свойств характерно для работы Отдела современного русского языка и в последующие годы. Свидетельство тому — несколько фундаментальных работ, как коллективных, так и индивидуальных, опубликованных сотрудниками Отдела в 80-90-е годы:

Способы номинации в современном русском языке (отв. ред. Д. Н. Шмелев; 1982); *Городское просторечие: проблемы изучения* (отв. ред. Е. А. Земская и Д. Н. Шмелев; 1984); *Русское сценическое произношение* (отв. ред. С. М. Кузьмина; 1986); *Разновидности городской устной речи* (отв. ред. Д. Н. Шмелев и Е. А. Земская; 1988); *Язык: система и подсистемы* (отв. ред. М. Я. Гловинская и Е. А. Земская; 1990); *Грамматические исследования: функционально-стилистический аспект* (две книги: 1989 и 1991 гг.; отв. ред. Д. Н. Шмелев); *Русский язык в его функционировании: Коммуникативно-прагматический аспект* (отв. ред. Е. А. Земская и Д. Н. Шмелев; 1993); *Русский язык в его функционировании: Уровни языка* (отв. ред. Д. Н. Шмелев и М. Я. Гловинская; 1996); *Русский язык конца XX столетия (1985—1995)*. Отв. ред. Е. А. Земская (1996); *Поэтика. Стилистика. Язык и культура* (отв. ред. Н. Н. Розанова; 1996); *Облик слова* (отв. ред. Л. П. Крысин; 1997); *Изменения в славянских языках. 1945—1995. Русский язык* (отв. ред. Е. Н. Ширяев; 1998); *Лики языка* (отв. ред. М. Я. Гловинская; 1998); *Язык. Культура. Гуманитарное знание. Научное наследие Г.О. Винокура. и современность.* (отв. ред. С.И. Гиндин и Н.Н. Розанова) Т. Г. Винокур. *Закономерности стилистического использования языковых единиц* (1980); Т. Г. Винокур. *Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения* (1993); В. Л. Воронцова. *Русское литературное ударение XVIII—XX вв.* (1979); М. Я. Гловинская. *Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола* (1982); Е. А. Земская. *Словообразование как деятельность* (1992); Н. Е. Ильина. *Морфология глагола в современном русском языке* (1980); L. Kasatkin, L. Krysin, V. Zhivov. *Il Russo* (Firenze, 1995); М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова. *Русский речевой портрет. Фонохрестоматия* (1995); М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова *Речь москвичей: Коммуникативно-культурологический аспект* (2000) Е. В. Красильникова. *Имя существительное в русской разговорной речи. Функциональный аспект* (1990); Л. П. Крысин. *Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка* (1989); С. М. Кузьмина *Теория русской орфографии*. М., 1981; М. В. Панов. *История русского литературного произношения XVIII—XX вв.* книга утверждена к печати в 1970 г.; Е. Н. Ширяев. *Бессоюзное сложное предложение в современном русском языке* (1986); Н.А. Янко-Триницкая. *Русская морфология* (1982).

Сюда же примыкают опубликованные несколько ранее две книги Д. Н. Шмелева «Синтаксическая членимость высказывания в современном русском языке» (1976) и «Русский язык в его функциональных разновидностях» (1977), а также вышедшая отдельным изданием его докторская диссертация «Проблемы семантического анализа лексики» (1973).

По инициативе М.В. Панова в 60-70-е гг. была опубликована – в виде отдельных выпусков – серия обзоров современных отечественных и зарубежных исследований по русистике.

После кончины в ноябре 1993 г. академика Д. Н. Шмелева работой Отдела руководил д. ф. н. Е. Н. Ширяев, а с февраля 1997 г. и по настоящее время заведующим Отделом является д. ф. н. Л. П. Крысин.

В 1997—2001 гг. Отдел ведет исследования по следующим темам:

— Социальная дифференциация современного русского языка (рук. Л. П. Крысин); коллективная монография под тем же названием объемом 35 а.л. закончена в 2000 г. и сдана в печать.

— Письменные и устные тексты современного русского языка: структура и тенденции развития (рук. Е. Н. Ширяев); коллективная монография под тем же названием (объемом 25 а.л.) закончена в марте 2001 г. и утверждена к печати ученым советом Института.

— Язык русского зарубежья (рук. Е. А. Земская); монография: М.Я. Гловинская, Е.А. Земская. *Язык русского зарубежья* (объемом 25 а.л.) закончена в 1999 г. и сдана в печать

— Активные процессы в русском языке конца XX века (рук. Л.П. Крысин; работа начата в 2000 г.)

— Языковое существование современного горожанина (рук. М.В. Китайгородская; работа начата в 2000 г.)

— Московский лингвистический кружок по данным архивов (рук. Л.Л. Касаткин; работа начата в 1999 г.)

Регулярно, один раз в два года, Отдел проводит Шмелевские чтения (посвященные памяти академика Д.Н. Шмелева), которые имеют статус международных (приглашаются ученые из ряда зарубежных стран). Материалы – доклады участников двух последних чтений под названием *Русский язык сегодня* – находятся в печати.

Наряду с исследовательской работой сотрудники Отдела ведут научно-педагогическую деятельность, являясь авторами ряда учебников и учебных пособий по русскому языку, читая лекции в вузах, руководя работой аспирантов, а также занимаются популяризацией лингвистических знаний: выступают с лекциями, участвуют в радио- и телепередачах. Особым направлением научно-аналитической работы сотрудников Отдела является лингвистическая экспертиза юридических и деловых документов, заказы на которую поступают из судебных, арбитражных и иных учреждений.

За время существования Отдела его ведущие научные работники создали несколько учебников и учебных пособий, книг научно-популярного характера:

УЧЕБНИКИ: Е. А. Земская. *Современный русский язык. Словообразование* (1973); Е. А. Земская. *Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения* (1978; 2-е изд. — 1987); Д. Н. Шмелев. *Современный русский язык. Лексика* (1977); М. В. Панов. *Современный русский язык. Фонетика* (1979); *Русский язык. Учебник для пединститутов*. Под ред. Л. Ю. Максимова. В 2 т. (1989; среди авторов — сотрудники Отдела Л. П. Крысин и Е. Н. Ширяев); О. А. Крылова, Л. Ю. Максимов, Е. Н. Ширяев. *Современный русский язык. Теоретический курс. Синтаксис и пунктуация* (1997); *Современный русский язык. Учебник для филол. факультетов университетов*. Под ред. В. А. Белошапковой (3-е изд., 1998; среди авторов — сотрудники Отдела Е. А. Земская и Л. П. Крысин); Л.П. Крысин, В.И. Беликов. *Социоллингвистика: Учебник для студентов и аспирантов филологических факультетов университетов* (2001); Л.Л. Касаткин, Л.П. Крысин, М.Р. Львов, М.Ю. Федосюк. *Русский язык: Учебник для педагогических университетов* (под ред. Л.Л. Касаткина; в печати).

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ КНИГИ: М. В. Панов. *И все-таки она хорошая! Рассказ о русской орфографии* (1964); М.В. Панов. *Занимательная орфография* (1982) Е. А. Земская. *Как делаются слова* (1964); Д.Н. Шмелев. *Слово и образ* (1964) Л.П. Крысин *Язык в современном обществе* (1977); Л.Р. Крысин *Жизнь слова* (1980).

СЛОВАРИ: И.А. Василевская, Е.И. Голанова, В.В. Одинцов, Г.П. Смолицкая. *Школьный словарь иностранных слов* (1983; вышло четыре издания); О.П. Ермакова, Е.А. Земская, Р.И. Розина. *Слова, с которыми мы все встречались: Толковый словарь русского общего жаргона*. (1999); Л.П. Крысин. *Толковый словарь иноязычных слов* (1998; 2-е изд.: 2000; 3-изд. 2001); Л.П. Крысин *Школьный словарь иностранных слов* (1998; 2-е изд.: 2000)

В 1984 году вышел в свет «*Энциклопедический словарь юного филолога. Языкознание*» (составитель М. В. Панов, научный редактор Л. П. Крысин), среди авторов которого — сотрудники Отдела. Им же принадлежит ряд статей в Энциклопедии для детей «*Языкознание. Русский язык*» (1998) и энциклопедии «*Русский язык*» (2-е изд., 1997).

Под руководством М. В. Панова в течение многих лет ведется работа по созданию учебников русского языка для средней школы. В этой работе активное участие принимали сотрудники Отдела. Опубликованы: *Русский язык. Экспериментальные учебные материалы для средней школы*. В 4 ч. Под ред. И. С. Ильинской и М. В. Панова (1979—1980); *Русский язык. 5-й класс* (1995); *Русский язык. 6-й класс* (1997); *Русский язык. 7-й класс* (1998); *Программа по русскому языку для средней школы* (1997) — всё под ред. М. В. Панова.

Результаты научно-исследовательской деятельности Отдела получили признание в отечественной и зарубежной лингвистике, что отразилось в многочисленных рецензиях на труды Отдела, опубликованных в научной периодике (часть этих рецензий указана в брошюре Е. А. Земской и Л. П. Крысина «*Московская школа функциональной социолингвистики. Итоги и перспективы*». М., 1998). Ряд книг и статей сотрудников Отдела переведен на немецкий, французский, английский, итальянский, чешский, словацкий, польский, сербский, болгарский языки и опубликован в зарубежной научной печати.

Л. П. Крысин

Из истории Отдела этимологии и ономастики

В 50–60-е годы в языкознании (и отечественном, и зарубежном) отчетливо и парадоксально определилась наибольшая актуальность двух полярных областей: для синхронного языкознания приоритетной стала проблематика сугубо теоретическая — структура, системность, тогда как интересы исторического языкознания оказались сконцентрированными вокруг самой «частной» (по объекту исследования — конкретному слову) из его отраслей — этимологии. Разумеется, на глубинном уровне эта полярность весьма условна: в усиленном внимании к этимологии, которая на предшествовавшем этапе истории языкознания вызвала определенное разочарование пестротой своей методики и множественностью решений, проявилось такое же, как и в синхронном языкознании, стремление к упорядочению методики исследования, в сущности — к системности (характерно название одной из статей В. А. Никонова, топонимиста-этимолога, 1963 г. — «Поиски системы»).

Реальность методических, теоретических и практических достижений в этимологии подготавливалась и во многом определялась успехами сравнительно-исторического языкознания (теория индоевропейского корня, ларингальная теория, активное привлечение материалов хеттского и других древних, ранее малоизученных языков), а также накоплением обширного исторического и диалектного лексического материала. В 50–60-е годы в периодических изданиях появилось много работ по этимологической проблематике, причем акцентировались вопросы методики и теории. Вышел в свет ряд новых этимологических словарей, в том числе – славянских (индоевропейских языков – Ю. Покорного, русского М. Фасмера, чешского – Й. Голуба и Ф. Копечного, чешского и словацкого – В. Махека, польского – Ф. Славского). Были переизданы некоторые старые этимологические словари (польского языка – А. Брюкнера, русского – А. Преображенского). Особый интерес и дискуссии вызвал в нашей стране словарь М. Фасмера. Стремление и возможность использовать исторические и диалектные материалы и исследования, недоступные М. Фасмеру, придало новый импульс уже начатой работе над русским этимологическим словарем профессора МГУ П. Я. Черных. Для широкого круга читателей в 1961 г. издали популярный «Краткий этимологический словарь русского языка» Н. М. Шанский, В. В. Иванов и Т. В. Шанская.

Академик В. В. Виноградов, директор Института русского языка АН СССР и заведующий кафедрой русского языка филологического факультета МГУ, отреагировал на растущие интересы к этимологии созданием в 1957 г. при кафедре русского языка Кабинета этимологического словаря с целью подготовки такого словаря научными силами кафедры. С 1960 г. кафедра стала выпускать подготавливаемые Кабинетом периодические «Этимологические исследования по русскому языку». В 1959 г. в Институте русского языка была проведена конференция по проблемам этимологии и этимологических словарей, в которой приняли участие крупнейшие отечественные ученые, как русисты, так и слависты, германисты, тюркологи и картвелисты.

В 1959 и 1960 гг. Институт славяноведения АН СССР издал две монографии по этимологии славянской лексики (терминов родства и названий домашних животных) О.Н. Трубачева (незадолго перед тем закончившего аспирантуру Института под руководством С. Б. Бернштейна). Эти книги привлекли внимание всех этимологов убедительной системностью исследования и расширением историко-культурных возможностей этимологии. Тогда же и возник, и обдумывался О. Н. Трубачевым проект этимологического словаря славянских языков. Актуальность этого предприятия определялась незавершенностью и явным устареванием принципов последнего по времени этимологического словаря славянских языков Э. Бернекера, значительными успехами этимологизации лексики отдельных славянских языков, выработкой новых представлений о праславянском языке, о его лексическом фонде и о реконструктивных возможностях этимологии. Осуществление этого проекта оказалось возможным в Институте русского языка.

В 1961 г. в Институте русского языка АН СССР была создана Группа этимологии (впоследствии – Группа этимологии и ономастики, с 1965 г. – сектор, а ныне – отдел этимологии и ономастики) в составе руководителя кандидата филологических наук О.Н. Трубачева и двух сотрудников (В.А. Меркуловой и Л.А. Гиндина). В 1962–1966 гг. в состав коллектива вошли еще четверо сотрудников (Ж.Ж. Варбот, И.П. Петлева – через аспирантуру, Л.В. Куркина и Т.В. Горячева), что и образовало его «костяк». Все пришедшие в эти годы сотрудники еще не имели научных степеней, но все были выпускниками МГУ, в большинстве своем прошли подготовку у П.С. Кузнецова и С. Б. Бернштейна (некоторые – через аспирантуру), имели опыт этимологической работы (в Кабинете этимологического словаря в МГУ) и первые этимологические публикации. Проект О. Н. Трубачева, разработанные им методические и теоретические принципы словаря были с энтузиазмом приняты и освоены коллективом.

В 1965–1976 гг. пятеро сотрудников (В.А. Меркулова, Л.В. Куркина, Л.А. Гиндин, Ж.Ж. Варбот и И.П. Петлева) защитили кандидатские диссертации, в 80-е годы двое (Ж.Ж. Варбот и Л.В. Куркина) защитили докторские диссертации. О.Н. Трубачев (доктор филол. наук с 1966 г.) был избран в 1972 г. членом-корреспондентом АН СССР, а в 1992 г. – действительным членом РАН. Состав Отдела несколько менялся в 70–90-е годы (вместо перешедшего в Институт славяноведения и балканистики Л.А. Гиндина был принят ученик по аспирантуре Ф.П. Филина Г.Ф. Одинцов, затем – после аспирантуры при Отделе – Е.С. Павлова и А.А. Калашников, по году проработали в Отделе Т.В. Невская и Е.Н. Малыгина; ушли В.А. Меркулова и Е.С. Павлова, умер Г.Ф. Одинцов).

В настоящее время в коллективе семь сотрудников: зав. Отделом академик О.Н. Трубачев, доктора филологических наук Ж.Ж. Варбот и Л.В. Куркина, кандидаты филологических наук И.П. Петлева и А.А. Калашников, научный сотрудник Т.В. Горячева и редактор А.А. Краснянская.

С 1963 г. Отдел выпускает периодический научный сборник (до 1986 г. – ежегодник) «Этимология», ориентированный на публикацию новейших исследований отечественных и зарубежных ученых в области теории и методики этимологии, этимологизации лексики различных языков, а также в области смежных дисциплин. Это единственное в мире периодическое издание, охватывающее столь широко этимологическую проблематику, и оно пользуется вниманием и авторитетом ученых многих специальностей. К настоящему времени вышло в свет 27 томов сборника.

В 1967 г. Отдел провел первый в истории этимологии международный симпозиум по проблемам этимологии, в котором приняли участие ведущие этимологи нашей страны и зарубежья. Весьма представительен был также международный симпозиум по этимологической и исторической лексикологии и лексикографии в 1983 г., одним из организаторов которого являлся Отдел этимологии и ономастики. Члены коллектива участвовали во всех других симпозиумах и конференциях по этимологии (в Вене, в Брно, двух – в Лейпциге, трех – в Екатеринбурге), во всех (с 1963 г.) международных съездах славистов.

С 1974 г. началась публикация «Этимологического словаря славянских языков». Цель Словаря двуединая: это реконструкция праславянского лексического фонда на базе лексики всех славянских языков и этимологизация реконструированного фонда при пословной организации Словаря.

Принципиально новыми и существенными характеристиками Словаря являются методика составления словника, предполагающая независимую выборку потенциальных праславянизмов из лексики отдельных славянских языков с их последующим корректирующим объединением, пристальное внимание к словообразовательному анализу, акцентирование проблем выявления праславянских диалектизмов, праславянских архаизмов и инноваций, межславянских и славянско-индоевропейских эксклюзивных соответствий, сочетание задач реконструкции и этимологизации праславянского лексического фонда с реконструкцией материальной и духовной культуры древних славян. К настоящему времени вышло в свет 27 выпусков (А – *oblězati). В выпусках 1-13 Словаря всю авторскую работу осуществил О.Н. Трубачев, с 14 выпуска работу ведет коллектив авторов – сотрудников Отдела во главе с О.Н. Трубачевым.

Сотрудниками Отдела опубликовано более тысячи научных статей, докладов и рецензий, 11 монографий (из них 6 – О.Н. Трубачева). Индивидуальные исследования членов коллектива базируются на обширном историческом и диалектном лексическом материале различных славянских языков; они разрабатывают как конкретные этимологические решения для отдельных лексем, так и проблемы формирования и развития лексических систем – этимологических гнезд и семантических групп, вопросы методики и теории этимологии, перспектив реконструкции истории и культуры древних славян методами этимологии.

О направлениях и объектах исследований сотрудников Отдела можно судить по некоторым публикациям последних лет: О.Н. Трубачев. *В поисках единства. Взгляд филолога на проблему истоков Руси* (изд. 2-ое, М., 1997); О. Н. Трубачев. *INDOARICA в Северном Причерноморье* (М., 1999); О.Н. Трубачев. *Из лексических комментариев к поискам прародины славян // Studia etymologica Brunensia* (Praha, 2000); Л. В. Куркина. *К реконструкции древних форм земледелия у славян (на материале лексики подсечно-огневого земледелия) // Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов. Краков, 1998 г.: Доклады российской делегации* (М., 1998); Ж.Ж. Варбот. *Славянские представления о скорости в свете этимологии (к реконструкции славянской картины мира) // Там же; см. также статьи Ж.Ж. Варбот, Т.В. Горячевой, А.А. Калашникова, Л.В. Куркиной и И.П. Петлевой в сб. «Этимология. 1997 – 1999».* (М., 2000).

В научной среде коллектив отдела этимологии и ономастики нередко называется московской этимологической школой, что объективно отмечает общность методических и теоретических принципов исследователей.

Ж. Ж. Варбот

**Из воспоминаний
(посвящается 25-летию начала публикации
Энциклопедического словаря славянских языков (ЭССЯ): 1974-1999гг.)**

Этимология — едва ли не самая древняя из наук гуманитарных. Понятно, что никто из ныне живущих не может претендовать тут на первенство начинания. И все же в нашем Институте начинали дело этимологии мы.

Перед лицом древности было это как будто вчера — в 1961 году, во времена директорства ученого, имя которого ныне носит Институт русского языка РАН. Почему в Институте русского языка, а, скажем, не в Институте славяноведения? На все, конечно, были свои причины, свои человеческие факторы; какие-то торможения, окрашенные в цвета ревности и зависти, сказались там, и за давностью впору забыть о них, во всяком случае — не говорить подробно. Слава богу, что тут, в новом учреждении, крупность ученого руководства выразилась также в понимании директором важности проблемы, как и второстепенности того, где над этой проблемой работать, а мы знаем, как часто чиновники от науки преувеличивают именно важность второстепенности, просто упираются в нее до полной остановки дела. Словом, *habent sua fata... ideae*. Идея этимологического словаря славянских языков, положенная в основу нового структурного подразделения, тоже была из числа старых идей, тоже — старше всех ныне живущих. Можно лишь (к вопросу о возрасте) существенно добавить, что в ней выразилась огромная потенция внутреннего обновления, то есть то, что роднит ее со всей этимологией в целом, составляя притягательную прелесть последней — единение древних знаний и обогащения сколь угодно новыми методами. Короче, эту идею составления нового этимологического словаря славянских языков молодой будущий руководитель привез с собой в Москву еще со студенческой скамьи вуза, усилиями политиканов оказавшегося потом в «ближнем зарубежье», на Украине. Но путь впереди предстоял еще длинный.

Весной, в марте 1961-го года я перешел при посредничестве Н. И. Толстого в возглавляемый акад. В. В. Виноградовым Институт. Деловая сторона трудоустройства контролировалась тогдашним зам. директора — С. Г. Бархударовым. Видя, что начальство морщит лоб — «куда же нам вас посадить», я подсказал: в комнатку, ранее занимавшуюся В. И. Абаевым. Морщины на лбу начальства облегченно разгладились, да, там сейчас свободно, с тех пор, как выделился Институт языкознания, а с ним съехал и Абаев. Имелась в виду крохотная клетушка, отгороженная чуть ли не фанерой, на третьем этаже дома 18 на Волхонке. Сейчас там давно, наверное, все перепланировано на том третьем этаже, заарендованном коммерческими структурами во времена предыдущей администрации. Кто знает, тот не может вспомнить о той убогой комнатке иначе как с улыбкой. А для меня это был этап, правда, нулевой, но освященный многозначительной преемственностью: на том малом пространстве сидел сам Василий Иванович Абаев, имя которого, доколе жив будет последний этимолог, будет произноситься с великим почтением. При нелюбви моей ходить по чужим кабинетам, ход в эту дверь я знал, и предыдущие мои одно-два посещения Василия Ивановича оставили у меня самую теплую, признательную память об этом благородном, незаурядном человеке.

...Первые месяцы весны 1961-го я сидел там один как перст, рьяно пробуя свои силы в отборе и реконструкции праславянского словника для белорусского языка; тогда это представлялось абсолютной целиной. Концепция нашего нового словаря («автономность праславянских состояний каждого славянского языка/диалекта»), новая, в чем-то крамольная (вспомним хотя бы эту хрестоматийную в науке периодизацию украинского и белорусского с XIV века...), вызревала там и тогда. Признательная память хранит высказанное В. Н. Топоровым в тогдашних беседах одобрение примененной тогда практики выработки

отдельных праславянских словников для каждого славянского языка со стратегией их дальнейшего объединения в едином праславянском словнике и все теоретические предвзвешивания получения объективной картины, которую такая стратегия сулила. Но на первых порах было далеко и до «Проспекта» нашего Словаря (вышел в 1963 году), надо было создавать группу Этимологического словаря славянских языков. И вот с мая того же 1961 года она была, наконец, учреждена в составе трех сотрудников: автор этих строк (руководитель), В. А. Меркулова и Л. А. Гиндин. Последнего мне порекомендовал с хорошей стороны тот же Н. И. Толстой, а для того, чтобы заручиться сотрудничеством В. А. Меркуловой, мне пришлось предпринять поход в МГУ на Моховой, в кабинет этимологического словаря русского языка. Встреча и беседа с Меркуловой прошла очень удачно, она охотно откликнулась на приглашение. Последовавшее затем тридцатилетие совместной работы подтвердило этот выбор, и я с благодарностью вспоминаю об этом отличном работнике, знатоке русской и восточнославянской народной лексики, самобытном этимологе. Вспоминаю — и одновременно сожалею о последовавшем уже в нынешнее десятилетие выходе на пенсию и уходе Валентины Антоновны, Вали (как говорится, востребовала семья...).

В. А. Меркулова принялась за дело тогда, с 1961 года, как русист (русский и украинский языки), Л. А. Гиндин взялся осваивать праславянский словник старославянского, позже — болгарского и македонского. Достаточно сказать, что комплектовалась старая наша гвардия. В общем я хотел привлечь в те же сроки к нам на работу и Ж. Ж. Варбот. Но добросовестная девушка-аспирантка Жанна Варбот, при своем принципиальном согласии, пожелала еще год проработать по своей аспирантской программе и только в следующем, 1962-ом, подключилась к нам, существенно расширив нашу рабочую программу. Выученица П. С. Кузнецова, Ж. Ж. Варбот продолжала серию исключительно продуктивных исследований по морфологии и этимологии, с одновременным обеспечением чешского и словацкого отделов для нашего Словаря. Вообще это время вспоминается как творчески напряженное, в чем-то даже героическое и очень цельное. Уже был сделан русский Фасмер, создавались большие новые заделы. Достаточно сказать, что в те первые годы была задумана и серия «Этимология», оставившая своими десятками томов (том первый — в 1963 году) свой след в науке. Как сейчас помню энтузиазм, с которым «Этимология» 1963-го года была встречена: весь первый тираж был реализован на корню, что называется, не перешагнув порога издательства и тут же был осуществлен второй тираж книги.

Из драматических деталей тогдашней нашей, моей жизни того же самого первого, 1961 года. Вышел, как известно, малоудачный «Краткий этимологический словарь русского языка» группы авторов, а я возьми и разразишь довольно жёсткой рецензией в ВЯ 1961, № 5. В общем круги по воде пошли большие... Отв. ред. С. Г. Бархударов чувствовал себя задетым, поговаривал о дискриминации. Отношения с этим непростым человеком были явно (и до конца) испорчены. Общественность института и вокруг принялась бурно сопереживать. Не остался в стороне даже институтский «капустник» (вообще формы общественной, коллективной жизни Института разительно отличались именно своей активностью, если посмотреть из нынешнего «конца века», когда ничего подобного давно уж нет); на сценических подмостках нашего конференцзала на Волхонке звучал, например, сюжет

«Отряд Трубочева сражается», по аналогии с одноименным детским и юношеским кино, и это все — по поводу той нашумевшей рецензии и тех кругов по воде. Общественность института была тогда на моей стороне. К 1965 году нас уже было пятеро; к нам принята молодая Л. В. Куркина, проделавшая творческий путь, в чем-то сходный с Варбот: глагольная морфология, но затем — расширение планов в сторону этимологии и специализация в области западной группы южнославянских языков, с центром интересов в словенском. Я забыл сказать, что к этому времени мы уже давно «выросли» из той абаевской клетушки, какое-то (промежуточное) время сидели в двух комнатах придворовой части первого этажа, затем — в более отдаленных «апартаментах» по ту сторону двора (да, там на самом деле, говорят, была квартира известного в свое время марриста Сердюченко). Время шло, мы обрастали картотеками, книгами, научными связями. Коллеги, порой издалека, приходили и приезжали к нам, мы сами стали выезжать, наведываться в славистические центры за границей. Оглядываясь сейчас на наше прошлое, я думаю о систематичности и грандиозности осуществлявшейся тогда программы. Я и мои сотрудники начали выезжать за границу, в итоге оказались посещены и учтены картотечные (рукописные) собрания десятков славистических центров, университетов у нас и за рубежом; все это вливалось в наш будущий словарь, принимая порой характер уникальных свидетельств по лексике и семантике. В 1962 году я какое-то время работал в Кракове, в контакте с составителями будущего польского Праславянского словаря. Они тогда только еще подготовили свой скромный «Пробный выпуск». Дело уже давнее, и мне приятно сознавать, что дух соперничества, инициированный тогда моими коллегами-поляками, сейчас все больше уступает место духу теплой коллегиальности и готовности понять друг друга. Память выхватывает отдельные эпизоды того времени: совсем еще молодая тогда (ныне покойная) Герта Хютль-Ворт заходит к нам, чтобы презентовать свою книгу о заимствованных словах; бывал у нас и ее тогдашний супруг, американский славист Дин Ворт, добрые отношения с которым с тех пор сохранились. В те «апартаменты» заезжал к нам и проф. Йозеф Шютц, вспомнивший потом о тех контактах в своих несколько односторонних, политически ангажированных воспоминаниях последнего времени.

Ко второй половине 60-ых годов наш состав был практически полностью укомплектован; пришли еще И. П. Петлева и Т. В. Горячева. Петлевой для этого потребовалось пройти *еще одну аспирантуру* у нас, у меня, что она и выполнила самоотверженно, приобретя квалификацию слависта-сербокроатиста. Горячева совершенно бескорыстно принялась исполнять работу, близкую к технической (вся картотека Словаря), отреклась при этом от кандидатской диссертации как лишней нагрузки, и все это — при знании нескольких языков и обнаружившемся хорошем вкусе к этимологии... Всех собравшихся объединяла, и это необходимо подчеркнуть, подлинная творческая устремленность и серьезная преданность общему делу. Думаю, что именно такому удачному подбору работников мы в немалой степени обязаны успехом Словаря, его оригинальным характером, уникальным богатством и — не в последнюю очередь — беспрецедентно регулярным выходом в свет его частей. Но еще далеко было до того 1974 года, когда вышел 1-ый выпуск Словаря, и немало сил душевных и всех прочих отнял предшествовавший выходу латентный период. Ведь по крайней мере шесть выпусков, примерно с 1969 года,

были написаны и легли на стол в условиях, когда судьба Словаря еще не была решена, висела на волоске, зависела от случайных людей, для которых важнее всего уже упоминавшаяся второстепенность: они не скупилась на навязывание нам правил и условий (издавать по подписке ... печатать только при условии 50-процентной готовности всего объема ... Боже мой, какое счастье, что, в конце концов, они устали сами от себя, махнули на нас рукой и дали добро, я уж не помню, кто именно дал — всемогущий тогда Лихтенштейн в РИСО или еще какие чиновники: пусть издадут по мере готовности). И мы показали им всем, на что способен человек творческий, когда у него развязаны руки. Я говорю о вещах, отнюдь не банальных, потому что на свете слишком много примеров неосуществленных самых прекрасных словарных замыслов. Да, создание крепкого творческого коллектива порой видится как нечто равновеликое созданию Словаря. Нас уже знали в научном мире, к нам слали стажеров-исследователей из-за границы; первым из них был приехавший в 1966-ом году по рекомендации акад. П. Ивича Велимир Михайлович из Югославии (Новый Сад), работавший над сербохорватской диалектной лексикой и ономастикой, ныне уже покойный (как и П. Ивич). Эволюционировал и наш статус, и в 1966 году был учрежден сектор этимологии и ономастики, а в 1967 году мы рискнули даже провести первый международный симпозиум по этимологическим исследованиям, собравший участников из нашей страны и из-за границы. Всем участникам памятен энтузиазм, царивший на заседаниях в трескуче морозном январе того 1967 года. Из одной Венгрии прибыли (были приглашены) два, а в сущности — три человека: Г. Барци (венгерский этимологический словарь), объяснявшийся только по-французски и в общем ошарашенный фактом приглашения; Л. Киш, славист, по-прежнему мой старинный друг. К ним в общем можно причислить и такую колоритную фигуру, как О. Семереньи, эволюционировавший к тому моменту из венгерского коммуниста-функционера в западного профессора-индоевропеиста (Лондон, затем Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Сейчас его уже нет в живых. Был Й. Хубшмид из Берна и Гейдельберга, интересовавшийся в Москве туркменскими коврами не меньше, чем субстратной этимологией, добрейший Х. Шустер-Шевц из Лейпцига (ГДР), Ф. Славский из Польши, Ф. Копечный из Чехословакии, Ф. Безлай из Любляны (Словения, тогда — Югославия), оба последних уже покойные. Вообще в 1960-е годы у нас в Институте много кто бывал с ученого Запада, можно назвать хотя бы Р. О. Якобсона, бывшего и у меня в гостях дома, и В. Р. Кипарского, которого я приветствовал на ученом совете Института по поручению акад. В. В. Виноградова.

О 60-х годах в нашей, моей жизни, наверное, надо сказать особо. Впрочем, опять в первую очередь — о составе сектора этимологии и ономастики, который вправе привлечь внимание еще такой своей чертой, как *стабильность*. А сохранить стабильность состава сквозь все 60-70-80-90-ые годы — это ли не показатель серьезности и правильности отбора! Это ведь отнюдь не всегда и не обязательно именно так бывает, чаще — наоборот. Почтенный коллектив близкородственного Праславянского словаря в Кракове, количественно также сравнимый с нашим (не более восьми сотрудников), как раз отличается значительной *текучестью*. А у нас только одна замена: в 1970-ом году ушел в ИСАН Гиндин, его сменил Г. Ф. Одинцов. А теперь возвращаюсь к 60-ым годам. Все помнят всплеск диссидентского движения второй половины того десятилетия.

Я к этому движению и отдаленно не принадлежал и вовсе не потому, что именно с 1966 года оказался привлечен на одновременную работу в дирекции. Попутно замечу, что на всякие отвлечения нужен все же досуг, свободное время, а у лексикографа его нет в принципе. Но главное — именно с того времени пошло это «раскачивание лодки», результаты которого сказались в нашей институтской русистике (зачем далеко за примерами ходить) после 1982-го, особенно — после 1989/1991-го годов, взять хотя бы это пренебрежение традициями, порой ненормативное до циничности. Одна «заветная» (sc. lic. матерная) лексикография чего стоит! Скажу одно: мой Сектор и в нелегкие 1960-ые занимался своим делом, чего, подозреваю, не хватало русистам из числа вчерашних англистов ...

Перед любой инстанцией мы готовы ответить, что ту жизнь, которую мы прожили в науке, мы прожили честно. Передо мной лежит мой «Опыт автореферата ... к 20-летию издания “Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд” (1974—1994, I—XX, А—М)», опубликовано в ж. “Јужнословенски филолог” LI (Београд, 1995). Там даны итоговые цифры материала ЭССЯ от А до К: 2902 печатных страниц, 205 авторских листов, 6696 словарных статей. За последующие годы работа не стояла на месте, новых цифровых данных у меня сейчас, правда, нет, но вышел уже 26-ой выпуск Словаря, до слова *oblězati, а в рукописи мы окончили алфавитную последовательность на *ob-*. Так что, как говорится, honni soit qui mal у pense, перед нами — крупнейший этимологический словарь славянского мира и один из крупнейших вообще в мире. Начав свой выход в том же году и даже месяце (!—декабрь 1974 года), что и Праславянский словарь польских коллег, наш ЭССЯ оставил его далеко позади и регулярностью своего выхода до сих пор умиляет наших зарубежных коллег (мне об этом пишут), наслышанных о нашем кризисном российском житье-бытье. Ну, а о том, что своим трудом мы раньше других и впереди других вступили в неизведанную область *празыковой лексикографии вообще* я здесь повторяться не буду, хотя значительность события не стоит преуменьшать.

Вот, пожалуй, и все на сегодня «из воспоминаний», которые, может быть, даже жалко обрывать на тех 60-х, — жалко еще и потому, что те 60-е делаются понятнее и все выше ценятся, чем дальше они уходят от нас. Чтобы не быть криво истолкованным, оговорюсь, что для меня лично — шестидесятые годы XX века — это не какой-то политический штамп. Мне дороги 60-е годы нашей жизни в науке, наша молодость, тот подъем этимологических и сравнительно-исторических исследований в нашей стране, о котором, думаю, будут еще долго вспоминать.

О. Н. Трубочев

Позиционный взгляд на язык

Рецензия на книгу: М. В. Панов. «Позиционная морфология русского языка». М., 1999.

М. В. Панов – фонолог, представитель Московской фонологической школы (МФШ). Он писал о кодифицированном языке, о разговорной и поэтической фонетике, о театральном произношении. Его научный опыт включает исследование всех фонетических подсистем современного русского литературного языка. В анализ фонетики наряду с парадигматическим им введен синтагматический аспект – «Русская фонетика», М., 1967 (на противопоставлении этих двух аспектов проясняется задача построения типологии языков: *О двух типах фонетических систем // Проблемы лингвистической типологии и структуры языков*. Л., 1977). Социальному варьированию языка посвящена коллективная монография, написанная при участии и под редакцией М. В. Панова «Русский язык и советское общество». Историческая смена фонетических систем представлена в его «Истории русского произношения XVIII – XX веков» (она была опубликована, к сожалению, только в 1990 году). М. В. Панов – автор разделов «Фонетика» в учебниках: для студентов филологических факультетов университетов, для учащихся национально-педагогических училищ и русских школьников (*Русский язык*, М., 1995).

Вторая область его постоянной с довоенных лет работы – история языка русской поэзии. Курс по поэтическому языку от Ломоносова до Твардовского читался им в МГУ, МГОПУ. Пока опубликованы две статьи «Ритм и метр в русской поэзии», 1989; «Ритм и метр в русской поэзии. Статья вторая. Словесный ярус», 1991.

Есть еще одна линия, которая дает основание назвать М. В. Панова главой Московской лингвистической школы (выросшей из МФШ) в последней трети XX века – это позиционный анализ языка на всех уровнях. «Позиционная морфология русского языка» – так озаглавлена его книга, вышедшая в 1999 г. Верно было бы назвать позиционной и его фонетику.

М. В. Пановым исследованы позиционные отношения в стилистике (см. статью, опубликованную в сборнике 1992 года «*In honour prof. Victor Levin. Russian philology and history*»). Стилистика – это область, в которой «москвичи» уже многое сделали, начиная с А. М. Сухотина – учителя М. В. Панова. «Стилистика по природе позиционна».

Написаны две статьи о позиционном распределении лексики (одна опубликована: «Позиционный анализ значений у слов в зависимости от текста» // *Структура и семантика художественного текста*. М., 1999).

Что же открывает новая книга? «В пределы одного слова входят те грамматические формы, которые отвечают принципу позиционного чередования и/или принципу грамматической совместности» (стр. 118). Например, позиционно распределены спрягаемые формы глагола и причастия. 1) Спрягаемые формы зависят от местоимений-подлежащих *я, ты, мы, вы* – а причастия от существительного (при личных местоимениях они не употребляются).

2) Если спрягаемая форма (в 3-ем лице) и причастие стоят при существительном, то распределение такое: спрягаемая форма – при подлежащем; причастия – при подлежащем и другой глагольной форме.

Понятие совместности форм предполагает единый набор форм в одной позиции. Позиционное чередование и совместность определяются на основе отношений в разных позициях и отношений в одной позиции. Объединение форм в слово строится на этих двух принципах.

Основная задача книги состоит в выработке оснований описания языка. Фонологи Московской школы разрабатывали эти основания на фонетическом уровне. Поэтому книга М. В. Панова начинается с их изложения – в фонетике. Два ряда законов организуют язык: законы сочетания единиц (синтагматика) и законы чередования единиц (парадигматика).

Синтагматика описывает разные единицы в одной позиции: есть /ра/ и /ка/ – значит: есть /р/ и /к/ : есть /ра/ и /рэ/ – значит: есть /а/ и /э/. Закономерность имеет место, если сочетаемость охватывает классы единиц – все звуки определенного класса без исключения. Единицы, имеющие общий признак, входят в класс. Минимальной единицей в синтагматике является отдельный различительный признак.

В парадигму объединяются звуки, которые находятся в разных позициях и чередуются – без исключений. Позиционно чередующиеся звуки образуют фонему. Единица парадигмы – континуум. Позиционно чередоваться могут совершенно различные звуки, не объединенные никакими общими признаками $o = /ó/ \parallel /a/$. Таким образом, различие идет сразу в двух направлениях: если синтагматика, то важны линейные разграничения, если парадигматика, то существенны нелинейные отождествления единицы: «отношения линейные и нелинейные, отношения разграничения и отождествления».

В отношениях между единицами важно понятие нейтрализации. В книге рассматривается нейтрализация в парадигматике и синтагматике. В частности, если какой-нибудь признак, различительный в определенных позициях, в данной позиции утрачивает различительную силу, то это синтагматическая нейтрализация. На конце слова нет контраста звонкости и глухости, значит, глухость теряет свою различительную силу.

Структура морфологии оказывается более сложной. Описания включают еще одно важное противопоставление: форма и содержание, позиция для означаемого и означающего, нейтрализация означаемого и означающего. На первый план выдвигается противопоставление грамматических форм и значений в составе категорий. В частности, вводится актуальное для морфологии соотношение: отмеченная – неотмеченная единица (маркированная / немаркированная), то есть реализуется идея существования наряду с эквиополентными привативных оппозиций. Собственно такое отношение есть и в фонетике: б/п – п (немаркированная единица с точки зрения признака глухость / звонкость). Эта работа еще не содержит полного описания морфологии русского языка. Она содержит образцы анализа ее с определенных теоретических позиций и в связи с этим множество конкретных уточнений в толковании противопоставлений.

В понимании противопоставления частей речи очень важно следующее. «В слове могут быть участки, набором своих грамматических значений отвечающие определенной части речи, и другие участки, набором своих грамматических значений соответствующие другой части речи. Все это создает подвижную систему взаимодействия частей речи и

словоформ, объединенных в слове» (с. 175). «Формы принадлежат к определенной части речи даже в том случае, если они в процессе позиционного чередования утрачивают грамматические значения, характерные для данной части речи. Так, формы на -о (*сильно, далеко*) входят в парадигму прилагательного, то есть являются прилагательными, хотя позиционно приобрели свойства наречий. Причастие – это форма глагола, хотя позиционно приобрело свойства прилагательных. Субстантивированное прилагательное (*Глухой подружился с немцем*) остается в парадигме прилагательного, хотя грамматически, под влиянием позиции, приобрело признаки существительного. Это вытекает из свойства позиционных чередований: позиционно замещающая единица (например, /а/ в слове *хожу*) сохраняет единство с единицей замещаемой (с /о/ в *ход*)» (с. 175).

Далее строятся системные отношения в спряжении и склонении. В шестой главе устанавливаются грамматические позиции в распределении содержания категорий лица и числа, времени, наклонения, инфинитива. Отмечается своеобразие значений числа у личных форм глагола (с. 178).

Описанию содержания категорий спряжения и склонения предшествует глава о системе самостоятельных частей речи в русском языке. Существительные, прилагательные, наречия, числительные – именные части речи.

Отприлагательные наречия *скоро, просто, ясно* входят в парадигму прилагательного, причастия и деепричастия – в парадигму глагола. При разборе прилагательного рассматриваются позиционные превращения его в существительное: *Сытый голодного не понимает; Сильное не должно быть врагом доброму*.

В составе глагола, с которого начато изучение частей речи, выделяются и оговариваются формы: 1) *нет* – *не было* – *не будет*. Аналитическая единица *нет* имеет формы времени и безличности. 2) Формы *бах, шлеп* – глагольные временные изменяемые формы, ср: *толкнул* – *толк* – (*а он меня и*) *толкни*. 3) инфинитив – внеличная форма, соотношенная с личными и безличными.

В системе частей речи имя существительное является неотмеченной (немаркированной) частью речи: специфической семантики у него как части речи нет. У него нет категорий, присущих только ему (род, число, падеж есть у разных частей речи). Меняя суффиксы, можно превратить в существительное любую часть речи (любую часть речи можно превратить в существительное, меняя не ее состав, а некоторые аффиксы окружающих слов: *Эти постоянные как-нибудь*). Напротив, у глагола вид, наклонение, лицо специфичны.

В парадигме прилагательного есть формы на -о, в которых нейтрализованы свойства прилагательного и наречия, в деепричастии нейтрализованы свойства глагола и наречия.

Среди частей речи особое место занимают аналитические прилагательные. Эта часть речи была выделена А.А. Реформатским, но ее формирование в современном языке, происходящее на наших глазах, было описано М.В. Пановым. В книге перечислены 16 групп таких прилагательных и указаны их грамматические (и фонетические) признаки.

В этой главе рассматривается отношение отмеченных – неотмеченных единиц в категориях различных частей речи. Это противопоставление мужского – женского рода в существительных, обозначающих лицо (не отмечен мужской род), противопоставление единственного – множественного числа (формы единственного числа могут обозначать единичный предмет, обобщенный, отвлеченное понятие и множество – *В эти края пришел человек и все их заселил*).

Одно из глубоких наблюдений М.В. Панова выражено афористично: «В пределах одного слова – разные части речи». Приводимые примеры убедительны. Речь идет о прилагательных, которые в сочетании с существительными – склоняются, а в сочетании с глаголами теряют способность изменяться и превращаются в наречия. Это позиционное изменение (*быстрый разговор – быстро говорит*).

В этой части разбираются и типы грамматических значений в языке. Эта тема потребует от читателя серьезных размышлений.

Рассмотрим подробно изложенное в работе противопоставление времен. Прошедшее и будущее время действия после или до момента речи относятся к настоящему времени как форме неотмеченной: «ее смысл в том, что она не показывает временное ограничение форм, готова служить любому времени». При этом формы настоящего времени несовершенного вида и формы будущего времени совершенного вида имеют одно и то же значение, один и тот набор форм для его выражения. Дан замечательный пример из грамматики К.С. Аксакова, показывающий возможность толкования, что формы *глядит* и *поглядит* есть формы одного времени: *Смотрите, что делает заяц: прыгнет и присядет, прыгнет и присядет* (стр. 183). Иллюстрируется употребление формы совершенного вида для обозначения действия в прошлом, будущем и для обозначения «протекающего действия»: *Смотри-ка: наездница бросит мяч и на скаку поймает*.

Как пишет М.В. Панов, настоящее время – неотмеченная категория – это «хамелеон», он принимает цвет под влиянием окружающей среды, позиции. Приводятся примеры использования формы настоящего времени в функциях прошедшего и будущего времени, например: *Вчера лечу я*. Эта конструкция «экспрессивнее, энергичнее, резче, динамичнее, острее, напряженнее, чем вторая» (*Вчера я летел*). Интересно наблюдение: «Форма настоящего времени, обращенная в прошлое, не годится для обозначения регулярных повторяющихся событий. Это ограничение, характеризующее пределы позиционного действия данной закономерности» (стр. 185).

Как неотмеченные характеризуются несовершенный вид, изъявительное наклонение. Описываются возможности употребления форм изъявительного наклонения в роли передатчиков значений повелительного и сослагательного наклонений. Ср. побуждение: *Ты польешь цветы, ты подрежешь ветви деревьев, а ты уберешься дома*. Вносятся уточнения в грамматические значения наклонений. Повелительное наклонение – не «ирреальное». Но оно не указывает, реально ли названное им действие (стр. 187). Сослагательное наклонение – ирреальное.

Вводятся в определение позиций, связанных с употреблением конкретных значений форм.

1) *Пошли! Поехали!* Позиция, в которой появляется это значение: глагол направленного движения; форма прошедшего времени совершенного вида, с начинательным оттенком значения; в ситуации, когда говорящий является участником действия в ближайшем будущем (с. 182).

2) *Да будь я и негром преклонных годов*. Форма повелительного наклонения имеет значение сослагательного наклонения и употребляется в придаточном условном. Позиционные условия: со вторым лицом не употребляется. Требуется определенный порядок слов: сначала глагол в повелительном наклонении, затем подлежащее. При этом необходима связь с подлежащим не 2-го лица. Это один тип из ряда указанных позиционных изменений в значении повелительного наклонения.

В седьмой главе даны интерпретации значений двух падежей – творительного и родительного. Здесь поставлен вопрос о парадигматике падежей. Взгляды на падеж Р.О. Якобсона, предложенные им интерпретации их значений рассматриваются в синтагматике падежей. Автор отмечает особую роль в интерпретации семантики падежей А.А. Барсова, его замечательной статьи (открытой для нас И.Н. Кручининой) «*Значение и зависимость падежей и их соотношение между собой*» // *Филологические записки. Воронеж, 1880. Часть 2*).

Особенно важна глава о позиционных чередованиях. «Позиционно сменять друг друга могут и обозначающие единицы и обозначаемые» (стр. 216). Позиционно чередующиеся смыслы, то есть связанные парадигматическими отношениями, могут быть весьма различны, ср. например значения творительного падежа. Синтагматические отношения смыслов иллюстрируются сочетанием глаголов *начал, продолжил, кончил* только с глаголами несовершенного вида. «Значение вида тем самым нулизовано, передано фазовым глаголом». «Направленные позиционные связи создают единство в цепи».

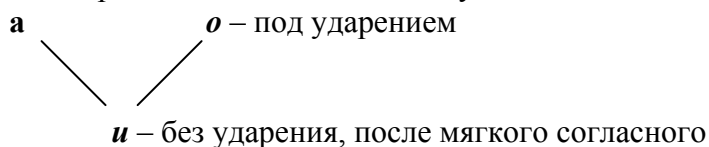
Возможна обоюдная позиционная зависимость (между подлежащим и сказуемым, между глаголом-сказуемым и существительным при сильном управлении).

Позиция может иметь очень сложное строение. Для пояснения приводится следующая конструкция: *Колес у арбы два; Дверей в комнате было две. «А у нас, мой батюшка, всего-то душ одна девка Палашка» (А. Пушкин)*. В этой конструкции числительное – подлежащее (в именительном падеже), но оно зависит от дополнения и согласуется с ним в роде (*Колес два, дверей две*). Числительные и существительные словосочетаний не образуют. В позицию входит также определенный порядок слов: *колес – два, дверей – две* (нельзя сказать *два колес, две дверей*). Есть еще одно позиционное условие – значение всей конструкции. «Членение предложений на субъект и предикат совершенно различно»: *у этого столика / три ножки; ножек у этого столика / три*.

Итак, «позиционные условия включают: определенный состав грамматических форм – порядок слов – общий грамматический смысл конструкции. Эти условия определяют, что первое существительное получает форму родительного падежа множественного числа. Следовательно, «грамматические позиции бывают комплексные, многоэтажные» (стр. 226).

Нейтрализация «по-московски» – это скрещение рядов позиционно чередующихся единиц в определенной позиции, их совпадение в определенной позиции (стр. 229).

В девятой главе рассматривается понятие нейтрализации. Причем нейтрализация не обязательно касается единиц материально сходных. Это могут быть отношения типа:



Подчеркивается: «Нужно только одно, чтобы были отношения, которые обуславливают нейтрализацию – позиционные отношения» (стр. 229). Позиционно обусловленные звуки должны входить в одну морфему. Даны примеры нейтрализации из фонетики, морфонологии (*брось, косточка* – сильная позиция; *бросьте* и *кости* – нейтрализация; ср. *лететь, лечить – лечу*), из словообразования:

Лексемы уравнились по смыслу, стали взаимозаменяемы, нейтрализовались. Пример парадигматической нейтрализации. Речь идет о местоимениях, где различия смыслов связаны с позицией. Меняются не отдельные различительные признаки, а все значение целиком. В позиции личного местоимения после замещаемого существительного – постпозиционно. Вопросительные местоимения *кто* и *что* обращены вперед – к ответной реплике. Они снимают различия в роде и числе, остается только контраст одушевленности–неодушевленности.

О нейтрализации в синтаксисе писал еще Ф.Ф. Фортунатов: «Обстоятельство не может быть отличаемо от дополнения в тех случаях, где так называемое обстоятельство дано в слове, имеющем падежную форму». *Переправа на плотах и понтонная... Переправа на плотах и вплавь... Переправа на плотах и небольших лодках...*: «Скрестились, сошлись вместе три единицы: определение, обстоятельства и дополнение». Это нейтрализация членов предложения.

В заключении и приложении к работе ставится в частности вопрос об исторических процессах изменений: так, в языке XVIII – XIX веков – господство нейтрализации в системе гласных, в XX веке – поворот: система согласных во многих позициях увеличивает число возможных различителей.

В приложении «Динамика русского языка в XVIII – XIX – XX веках» рассматривается соотношение характера изменений в системе фонетики и грамматики. Как пишет М.В. Панов: «Особенность русского языка в том, что снижение уровня информации достигается путем изменения гласных, повышение – путем изменения согласных; с другой стороны, в области грамматики имена выполняют роль понижателей, глаголы – повышателей уровня информации» (стр. 268). Существует мнение о симметрии дихотомий: гласные – согласные, глаголы – имена (см. [Булыгина 1968]). Возникает необходимость теоретического осмысления исторического направления этих связей.

Важный вопрос для морфологии: противопоставление книжного и разговорного языка. Употребление форм *бах*, *бряк*, конструкций типа «*Летом я люблю цветы и купаться*» (стр. 191) факты разговорной речи, осваиваемые художественными текстами. Для разговорной речи характерны ограничения в употреблении падежных форм *кофейку*, *чайку*, *щец*, которые связаны с особыми функциями общения, свойственными РР. Эти и другие языковые явления должны быть сегодня оценены с позиции противопоставления состава форм подсистем литературного языка, учитывая их стилистическую окраску.

Форма изложения в рецензируемой книге незаурядная. Она держит внимание читателя. Текст расчленен на множество небольших по объему параграфов, выделяющих каждый шаг в развитии текста. Строгий научный слог с необходимой терминологией сочетается – в пояснениях, растолкованиях—с разговорностью, свободными художественными находками. Автор использует сквозные образы, сосредотачивающие внимание читателя на серьезной научной проблеме. Напомним, например, *медведя Щербы*, о котором уже писал в своей рецензии на книгу Е.В. Клобуков (мы не коснулись трех глав книги – «Морфонология», «Единство слова», «Членимость слова», посвященных морфонологии и слову в словообразовательном аспекте, рассмотренных подробно в [Клобуков 2000]). Замечательны примеры, которые в своем большинстве не являются цитатами – они созданы автором. Но запоминаются и цитаты из Пушкина, Крылова, Маяковского и Гнедича, и... потенциальные производные: *гусьва*, *линьва*, *язьва*.

Это новый стиль изложения. Здесь есть и та ясность и простота стиля, которые живут именно в традициях ученых Московской школы – вспомним Д.Н. Ушакова, Н.Н. Дурново и «первого и главного учителя» М.В. Панова А.М. Сухотина. Алексею Михайловичу Сухотину – «учителю, педагогу, поэту, мыслителю» – посвящена эта книга.

Литература

Булыгина 1968 – Т.В. Булыгина. Грамматические оппозиции. // Исследования по общей теории грамматики. М., 1968.

Клобуков 2000 – Е.В. Клобуков. [Рец. на кн.:] Панов М.В. Позиционная морфология русского языка. М., 1999 // ИЮЛЯ. 2000. Т. 59. № 4.

А.В. Занадворова

Slavic Gender Linguistics / Ed. by Margaret H. Mills. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1999

(Гендер-лингвистические исследования в славянских языках / Под. ред. М. Миллз. Амстердам (Филадельфия), 1999)

Хотя, интерес к гендерным исследованиям в лингвистике возник уже более двадцати лет назад (первой здесь выступила англоязычная школа), в славянском мире таких исследований практически не предпринималось. Одной из первых в этой области явилась работа Е.А. Земской, М.В. Китайгородской, Н.Н. Розановой «Особенности мужской и женской речи», представляющая собой одну из глав коллективной монографии «Русский язык в его функционировании: коммуникативно-прагматический аспект» / Отв. ред. Е.А. Земская, Д.Н. Шмелев), М., 1993. К сожалению, несмотря на новизну и оригинальность подхода, российские исследования практически не получили распространения на Западе. Здесь сыграл свою роль фактор языка: указанные работы не были переведены на английский. В своей работе Е.А. Земская и ее соавторы выявили основные различия в мужской и женской речи, поставили ряд важных теоретических вопросов, очертили дальнейшие направления исследований.

Рецензируемая книга представляет собой сборник статей, посвященный различным проблемам гендер-лингвистики. Она является первой англоязычной работой, рассматривающей эту проблематику на материале славянских языков (русского, польского, чешского и старославянского), теоретический аппарат которой совмещает подходы русской и американской школ гендер-лингвистики.

Сборник включает одиннадцать статей, восемь из которых написаны на материале русского языка. Он охватывает широкий спектр вопросов, касающихся морфологии, синтаксиса, прагматики, анализа дискурса, когнитивной лингвистики, а также отражения особенностей мужской и женской речи в художественной литературе. Примечательно, что хотя многие проблемы ранее неоднократно рассматривались в лингвистической литературе, авторам удалось найти оригинальные решения. Это объясняется новизной подхода – до сих пор при решении этих вопросов не учитывались социолингвистические факторы.

Книга подтверждает основные положения, выдвинутые Е.А. Земской, М.В. Китайгородской и Н.Н. Розановой, она является своеобразным откликом на

поставленные ими вопросы. Выводы, полученные в [Земская и др. 1993] служат некоторой канвой для исследователей, поэтому мы приведем их здесь (в сокращенном виде) и укажем в каких статьях рецензируемого сборника затрагиваются сходные вопросы:

1. В сфере **грамматики** особенно существенных различий между мужской и женской речью не обнаружено (статья J. Sonkova).

2. Некоторые различия дает область **словообразования** (например, употребления диминутивов и некоторых иных форм производных слов – наименований женщин) (статьи E. Andrews, B. Mozdierz).

3. Женщины более склонны к кооперативной беседе, в связи с чем задают больше вопросов и высказывают больше реплик-реакций, чем мужчины (статья L.A. Grenoble).

4. Речь женщин более эмоциональна, что сказывается в их пристрастии к употреблению экспрессивных форм общей оценки, часто при помощи прилагательных и наречий (статья I. Sharonov).

5. Женщины чаще используют косвенные просьбы, чем приказы (статья M. Mills).

6. Вопрос о том, кто чаще перебивает собеседника в речи – мужчины или женщины – требует дальнейшего изучения (статья L.A. Grenoble). [Земская и др. 1993: 134].

Остановимся подробнее на статьях, базирующихся на русском языковом материале, поскольку они представляют наибольший интерес для российского читателя. Две статьи посвящены вопросам рода в системе языка.

«Род, иконичность¹ и согласование в русском языке» (Gender, Iconicity, and Agreement in Russian. B.J. Urtz). В статье рассматриваются особенности согласования предиката с парой существительных, соединенных предлогом «с» (например: *муж с женой*). Проблема согласования встает в тех случаях, когда мы имеем дело с существительными разного рода. До настоящего времени считалось, что существительное мужского рода тяготеет к начальной позиции, соответственно, предикат употребляется во множественном числе (*муж с женой пошли в театр*), случаи, когда сущ. ж. р. стоит на первом месте являются эмфатически выделенными, в них предикат согласуется с сущ. ж. р. и стоит в единственном числе (*жена с мужем пошла в театр*). Однако автор статьи показывает, что это правило работает не всегда. Например, *Катя с Колей / Коля с Катей пошли в театр*. Таким образом, указанное правило верно только для «иконических» пар, в которых статус членов пары одинаков (такие, как *брат с сестрой, отец с матерью* и т.п.). В других случаях (например, *мать с ребенком, профессор со студентом*) на согласование влияет ряд факторов. В основном они сводятся к следующему – если речь идет о паре (одушевленных существ), воспринимающейся как единое целое, то предпочтительней будет множественное число и наоборот. Если же мы обратимся к парам неодушевленных предметов, ситуация будет обратной (*На столе осталась чашка с блюдцем; но На столе остались блюда с чашкой*). *Чашка с блюдцем* является иконической парой, воспринимающейся как единое целое, в то время как *блюда с чашкой* представляются, скорее, двумя независимыми предметами.

¹ Термин «иконичность» (ср. *иконический* тип знаков) применяется в данной статье по отношению к порядку слов. Иконический порядок слов – это порядок, отражающий реальные функциональные отношения между предметами реального мира, обозначаемых этими словами.

Таким образом, для выбора правильного варианта согласования важными оказываются социолингвистические факторы: пол (род) и ролевой статус, согласуемых существительных, а также восприятие разнородной пары – как единой сущности или группы самостоятельных объектов (что иногда обусловлено контекстом).

«Правило образования существительных женского рода от названий профессиональных занятий в русском языке» (The Rule of Feminization in Russian. V.M. Mordzierz).

В статье рассматриваются правила образования существительных женского рода по названию деятельности. Их семантические типы и функции в сравнении с мужскими коррелятами. Вопрос этот не раз затрагивался лингвистами, однако, автору удалось сделать ряд новых наблюдений, в частности, предлагается новое объяснение блокировки образования некоторых форм женского рода.

По формальным и семантическим признакам названия женщин по роду деятельности делятся на три категории:

1. Значение сущ. ж.р. формально и семантически совпадает с мужским аналогом (например, *студент, студентка*).
2. Семантические различия: а) женский вариант обозначает жену, а не деятеля (*докторша, генеральша*); б) женский вариант маркирован, обозначает более низкий профессиональный уровень (*техник – техничка*).
3. Названия профессий, не имеющих женских аналогов в литературном языке: *банкир, экономист* и т.п. Наименования профессий, не имеющих мужских аналогов, обозначают, как правило, малоквалифицированные профессии: *доярка, мотальщица*.

Автор статьи ставит вопрос – почему блокируется образование некоторых женских коррелятов? В лингвистической литературе предлагалось несколько объяснений. Например, блокировка происходит в тех случаях, когда образование сущ. ж.р. привело бы к омонимии, т.е. соответствующее слово уже существует в языке и имеет другое значение (*матрос – матроска, столяр – столярка*), однако контрпримеры, когда такие омонимы спокойно сосуществуют (*ударник¹ – ‘передовик производства’, ударник² – ‘музыкант, играющий на ударных инструментах’*), заставляют отказаться от этого аргумента.

Другая проблема, которую рассматривает автор – как происходит выбор между формально и функционально равноправными обозначениями, такими, например, как *учитель, учительница*. Анализ текстов показал, что мужской вариант употребляется чаще женского (даже когда речь идет о женщинах), хотя в России подавляющее число учителей – женщины. Это опровергает тот аргумент, что блокировка образования некоторых форм ж.р. происходит из-за того, что данным родом деятельности занимаются преимущественно мужчины. Данные показывают, что употребление мужской формы по отношению к женщине указывает на ее высокий профессиональный уровень.

Таким образом, автор приходит к выводу, что закономерности употребления/неупотребления сущ. ж.р., обозначающих род деятельности, отражают статус женщины в современном российском обществе. В России рутинные, малооплачиваемые работы в основном выполняют женщины. Исследования показали, что ограничения на употребление женских форм продиктованы не грамматическими, а социальными причинами. Неупотребление женских форм отражает традиционную социальную стратификацию мужчин и женщин в отношении рабочих мест и в обществе в целом.

Ряд статей рассматривает различия мужской и женской речи в области речевой

коммуникации. Анализ затрагивает различные сферы общения (*школа, семья, общение с ровесниками*), различные соотношения социальных ролей собеседников (*учитель – ученик*), кооперативные и «конкурентные» стратегии ведения беседы, специфику употребления различных речевых актов (*инструкции, вопросы, запреты и др.*) в мужской и женской речи.

«Речь учителя» в русской и американской школе. Способы воздействия и культурные стереотипы («Teacher talk» in the Russian and American classroom: Dominance and cultural framing. M. Mills). М. Миллз рассматривает различия в речевом поведении учителя в российских и американских учебных учреждениях. Автор исследует две группы детского сада (в Москве и Айова-сити), а также классы по изучению русского языка для американских студентов в России и Америке. Поскольку большинство педагогов – женщины (особенно в дошкольных учреждениях), автор ограничил исследование учителями-женщинами. Речь учителя представляет собой интересный материал для социолингвиста, она относится к т.н. директивному типу дискурса. Здесь мы видим различные стратегии воздействия на адресата: от прямых императивов до косвенных просьб, «намеков», широко используются косвенные речевые акты.

М. Миллз выделяет десять типов учительских инструкций по убыванию директивности. На первом месте идет *императив*, далее следует *безличный запрет* (*Не бегать с ножницами*), затем два вида *сообщений*: 1) агенсом является говорящий, т.е. учитель – *Я хочу послушать только девочек; I still need to wait for Abby's picture*; 2) агенсом является ученик (*Итак, вы рассказываете стихотворение; You need to stop working now*). Далее следуют три типа вопроса: Вопрос^а: агенс – слушающий (*Joy, will you move over so you can see better?; Анечка, ты не хочешь нам почитать?*) Вопрос^б: агенс – слушающий (*Can you find the way that you get to school? Наташа, ты почему не следишь?*) Вопрос^в: агенс – говорящий (*Ребятки, я как просила обращаться с этими книжечками?*). Потом идет «*инклюзивная инструкция*» (*joint directives*) – грамматически говорящий включается в действие, хотя предполагается, что выполнять его будут другие: *Давайте закончим; Сейчас заканчиваем писать*. На предпоследнем месте находится *констатация состояния* (*David, the cap of your marker is on the floor – just so you know*). Завершает классификацию *поощрение* (*Uh-huh, that's right. Next. Дальше, еще, следующий*).

Интересно, что не все типы инструкций были зафиксированы в рассматриваемых социумах обеих странах. Что же касается стратегий воздействия, «общих» для учителей России и Америки, сравнительная частота их употребления в некоторых случаях сильно различается. *Императив* употребляется в русской аудитории в 1,5 раза чаще; *безличный запрет* и *вопрос^в* ни разу не встретились в речи американских педагогов; зато в русской школе ни разу не встретилась *констатация состояния*; русские учителя в шесть раз чаще употребляют *инклюзивные инструкции*. Автор считает, что подобный тип дискурса вообще является одним из специфических русских культурных стереотипов и имеет широкое употребление и за пределами классной аудитории (ср. примеры из речи продавцов: *Покупаем! Не проходим мимо!*).

Интересно, что другой тип *вопрос* в значении *косвенной просьбы* – редко употребляется учителями. Автор считает, что причина этого в том, что вопрос формально

позволяет ученику отказаться от выполнения задания.

Далее М. Миллз подробно анализирует различные синтаксические модели учительских инструкций и их иллокутивную силу, признавая, впрочем, что одна и та же модель в зависимости от интонационного воплощения может быть воспринята и как строгий приказ, и как просьба. Статья содержит интересный языковой материал, а также сведения культурологического характера, касающиеся различий в российской и американской системах обучения.

Вопросу, до их пор не получившему однозначного ответа, посвящена статья **«Влияние пола на речевые стратегии в русском дискурсе» (Gender and Conversational Management in Russian. L.A. Grenoble)**. Л. Гренобль исследует различные типы *перебивов* и *вопросов* в мужской и женской речи. Опираясь на собранный материал, она приходит к выводу, что женщины перебивают собеседника **не реже**, чем мужчины (причем перебивами она считает только ситуации, когда собеседники начинают говорить одновременно). Природа этих перебивов, однако, существенно различается. Для женщин более типичны *перебивающие вопросы* (в два раза чаще, чем в мужской речи), *вопрос-подтверждение* (в два раза чаще, чем мужчины), *самоповторение* (в три раза чаще, чем мужчины). Это показывает, что женщины в большей степени настроены на взаимодействие, поддержание беседы.

Вопрос также является важным механизмом, регулирующим ход разговора, он позволяет говорящему и слушающему поменяться ролями. Завершение своей реплики вопросом и передача слова собеседнику совсем не означает утрату контроля над ситуацией. Напротив, задавая вопрос, говорящий может направить разговор в интересующее его русло. Общеизвестно, что женщины задают больше вопросов (по данным автора – в два раза чаще, чем мужчины). В это число не входят *вопросы-подтверждения* (*Да? Нет? Правда? Так ведь? Isn't it?* и т.п.), а также вопросы для привлечения внимания (*знаешь, видишь, понимаешь*), поскольку они не порождают иллокутивно вынужденной ответной реплики.

Подобные вопросы могут сигнализировать как о сомнениях, неполной уверенности в сообщаемой информации (*А на первое собеседование пришло человек сорок, наверное, да?*), так и об уверенности, желании убедить собеседника в своей правоте, получить от него подтверждение (*У себя же в квартире не будешь рисовать на стенах, правильно?*). Они используются также, когда собеседник хочет подсказать нужное слово. Хотя употребление подобных вопросов в большей степени обусловлено речевой манерой конкретного человека, нежели его полом, однако по статистике женщины задают такие вопросы в два раза чаще, чем мужчины.

Все вышесказанное хорошо коррелирует с мнением, что женщины стремятся к кооперативной беседе.

«Говорящий, пол и выбор коммуникатива в русском дискурсе» (Speaker, Gender and the Choice of Communicatives. I. Sharonov). И. Шаронов вводит понятие *коммуникативов*, под которыми он понимает единицы речи, несущие исключительно эмоциональную окраску, комментирующие ситуацию, но напрямую с ней не связанные. Они, как правило, имеют фразеологическую природу, синтаксически независимы, являются своего рода клише, т.е. автоматически воспроизводятся в речи. Сюда относятся, например, такие выражения: *Фи! Ой! Правда-правда, Эге-гей.* и т.п. Одни чаще употребляются мужчинами (*Баста!*), другие женщинами или детьми (*Ой; Я так больше не буду*), третьи – не имеют

ярко выраженной половой отнесенности (*Здравствуйте, я ваша тетя!*). Разумеется, это распределение имеет не абсолютный, а статистический характер. Автор отмечает определенную близость женских и детских коммуникативов и их противопоставленность мужским. Некоторые коммуникативы связаны с традиционно «мужскими» тематическими полями, например, армия (*Разговорчики в строю! У матросов нет вопросов*) и выпивка (*Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец*). Использование «чужих» коммуникативов используется как прием языковой игры, например, произнесение в мужской компании фразы: *Между нами, девочками*. Хотя термин *коммуникатив* представляется несколько спорным, поскольку под этим названием объединены структурно разнородные типы высказываний, однако коммуникативно ориентированный подход автора представляется весьма интересным и плодотворным. До сих пор проблема гендерной окрашенности речевых клише в лингвистике не рассматривалась.

Книга имеет развитый методологический аппарат, с которым читателю было бы полезно ознакомиться. Так, в статье Валентины Зайцевой «**Референциальные знания в дискурсе. Представление {себя/другого} в мужской и женской речи**» (**Referential knowledge in discourse: Interpretation of {I, You} in male and female speech**. V. Zaitzeva) используется модель речевого взаимодействия (Transactional Discourse Model), введенная О. Йокояма. Эта модель позволяет исследовать представления знаний, на которых базируются те или иные высказывания. В модели выделяется семь типов знания. Значение и распределение частиц в дискурсе зависит от взаимодействия между различными видами знаний и отражает когнитивные стратегии концептуализации речевой ситуации. В. Зайцева рассматривает особенности употребления частиц *ведь*, *разве* и *неужели* в устной речи и в художественной литературе. Автор делает ряд интересных наблюдений над функционированием этих частиц и отмечает, в частности, что их употребление сигнализирует о несоответствии между представлением говорящего и адресата. Интересно сопоставить выводы В. Зайцевой с функциональным анализом частиц *разве* и *неужели*, приведенном в [Булыгина, Шмелев. Языковая концептуализация мира. 1997: 270-281]).

В статье **Роли, определяемые полом, и их восприятие: диминутивы в русской речевой коммуникации** (**Gender Roles and Perception: Russian Diminutives in Discourse**. E. Andrews) рассматривается один из традиционных вопросов гендер-лингвистики. Э. Эндрюс анализирует употребление диминутивов в зависимости от социальных ролей собеседников и ситуации общения. Для этого был проведен следующий эксперимент: испытуемым предлагалась анкета, содержащая вопросы, касающиеся их восприятия уменьшительных форм по отношению к себе, а также собственного употребления диминутивов в различных ситуациях общения. Им предлагалось указать наиболее частотные диминутивы при обращении к маленьким детям, выбрав их из предложенного списка; ответить на вопросы: от кого в семье они слышат диминутивы чаще всего, кто реже всех употребляет диминутивы; какие уменьшительные слова они адресуют маленьким детям и ровесникам.

Кратко перескажем основные результаты, полученные в результате анкетирования.

1. Мужчины и женщины могут употреблять диминутивы в количественном отношении одинаково, однако функционально эти употребления будут различаться. Женщины употребляют уменьшительные формы с более широким кругом собеседников.

2. Большинство взрослых считает, что в разговорах с дошкольниками употребляется гораздо больше диминутивов, чем при общении с более старшими детьми. В разговорах с маленькими детьми могут употребляться уменьшительные второй и последующих степеней словопроизводства (*ножоночки*). Суффиксы *-оч/к-а* (*-оч/к*) при разговорах с маленькими детьми наиболее употребительны.

3. Возраст является менее значимым фактором, чем пол для анализа закономерностей употребления диминутивов. Отношения между говорящим и адресатом являются ключевым параметром, определяющим возможность употребления уменьшительных форм.

4. На вопрос нравится ли Вам, когда в разговоре употребляют уменьшительные формы, 31% женщин и 15% мужчин ответили утвердительно, половина опрошенных женщин заявили, что им все равно, 45% мужчин ответили отрицательно.

5. Хотя чуть меньше половины опрошенных мужчин-студентов заявили, что не любят, когда по отношению к ним употребляют диминутивы, однако, уменьшительно-ласкательные формы личных имен считают естественными во внутрисемейном общении. По данным опроса личные имена и обращения (*мамочка, папочка*) являются наиболее частыми случаями употребления диминутивов.

Две статьи посвящены «отражению» особенностей мужской и женской речи в художественной литературе.

«Анализ русской детской литературы с позиций гендер-лингвистики» (**Gender linguistic analysis of Russian children's literature**. *Olga T. Yokoyama*). Автор рассматривает процесс половой самоидентификации у детей и его отражение в их речевом поведении. Различия в речи мужчин и женщин имеют социальную, а не биологическую природу, они во многом являются национально специфичными. Существуют определенные культурные стереотипы, обуславливающие определенные модели речевого поведения мужчин и женщин, которые усваиваются в процессе социализации. Такие модели находят отражение и в детской литературе, анализу которой посвящена данная статья.

Исследование О. Йокояма иллюстрирует и подтверждает многие наблюдения, высказанные в [Земская и др. 1993]. В частности, интересным представляется анализ имен малышей и малышей в повести Н. Носова «Приключения Незнайки», состав которых очень показателен для гендер-лингвистического анализа. Так, практически все имена мальчиков связаны с родом занятий (*Винтик, Шпунтик*), за исключением *Знайки, Незнайки*, поэта *Цветика* и *Пудика*. Имена же девочек являются производными от названий растений, животных и т.п. *Ласточка, Маргаритка, Мушка*.

Автор приходит к выводу, что уровень индивидуальности в речи мужчин значительно выше, чем у женщин. Недостаточная «мужественность» речи свидетельствует о том, что персонаж характеризуется как отрицательный, а также, возможно, является артистической натурой (*Цветик*) или недостаточно взрослым.

О. Йокояма делает ряд интересных наблюдений над сравнительным употреблением *приказов* и *просьб* – вопрос ранее специально не изучавшийся. Так, модель поведения, представленная в «Незнайке», показывает, что мальчики могут рассчитывать на безусловное внимание со стороны девочек, но им приходится прикладывать значительные усилия, чтобы завладеть вниманием других мальчиков. Таким образом, можно предположить, что, общаясь между собой, и мальчики, и девочки используют более резкие директивные средства, чем при обращении к противоположному полу.

Описанные особенности речевого поведения мальчиков и девочек хорошо согласуются с данными о соответствующих особенностях речи взрослых, что позволяет говорить об универсальности выявленных моделей для русской культуры в целом.

Другая статья, анализирующая различия в речевом поведении мужчин и женщин, нашедшие отражение в художественной литературе, написана на материале польского языка – «Анализ пьесы С. Мрожека *“Танго”* с позиций гендер-лингвистики» (*A gender linguistic analysis of Mrozek's Tango. J.L. Christensen*). Автор анализирует речь персонажей по таким параметрам, как длина реплик того или иного персонажа; круг предпочитаемых тем; функции и частотность употребления императивов и диминутивов. В отношении последних отмечается интересный факт: за исключением уменьшительных форм имени, диминутивы употребляются в основном мужчинами. Один из них пользуется уменьшительными формами для выражения иронии, другой же – выражает с их помощью презрение к адресату и пытается снискать расположение женщин. Это наблюдение согласуется с выводами, представленными в [Земская и др. 1993: 125] о том, что, хотя женщины, как правило, чаще используют диминутивы, мужчины чаще употребляют их для выражения иронии. Исследовательница обращает внимание на то, как Мрожек использует указанные особенности мужской и женской речи для характеристики своих персонажей.

В заключение хочется отметить, что появление этой книги является значимым событием для российской лингвистики, оно свидетельствует о том, что российская школа нашла, наконец, свое место в общей теории гендерных исследований. Данная книга является мостом, связующим звеном между славянским и западным подходами к вопросам гендер-лингвистики.

В книге содержится большое количество фактического материала и статистических данных, количественно характеризующих различия мужской и женской речи. Для тех, кто специально занимается этой проблематикой, большую ценность представляет библиография, включающая как классические, так и малоизвестные работы зарубежных авторов, а также краткие обзоры существующей литературы, которыми открывается почти каждая статья. Большой интерес представляет понятийный аппарат и модели, используемые авторами данной книги, которые могли бы быть полезны для исследования и описания речевой коммуникации вообще (не только применительно к гендерным исследованиям).

Книга представляет несомненный интерес для русистов, социо- и психолингвистов. Было бы полезно перевести ее (хотя бы частично) на русский язык, сделав ее доступной для широкой научной аудитории.

Литература

Земская и др. 1993 – Е.А. Земская, М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова. Особенности мужской и женской речи // Русский язык в его функционировании: коммуникативно прагматический аспект. М., 1993.

Булыгина, Шмелев 1997 – Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев. Языковая концептуализация мира. М., 1997.

Объявления

Информация для участников очередного, XIII Международного съезда славистов 2003 г.

16 и 17 октября 2000 г. в Загребе (Хорватия) прошло заседание Международного комитета славистов под председательством Аленки Шивиц-Дулар (Словения), ныне — председателя МКС. В повестке дня стоял практически один главный вопрос — подготовка и проведение XIII Международного съезда славистов, который должен состояться в 2003 г. (предположительно в августе) в Любляне.

Общая квота докладчиков — с разными поправками — 683. Размеры национальных квот — в пределах, принятых для предыдущего, XII МСС (Краков). Напомню, что от России в Кракове было 101 участник.

От национальных комитетов в срок до **31 ноября 2001 г.** ожидается получение конкретных тем докладов и сообщений участников.

Было решено, что квота участников тематических блоков не входит в общую вышеназванную квоту (683 темы). Уточнение тем докладчиков блоков и состава самих блоков планируется на период до 2002 г. (в 2002 г. в Любляне намечено проведение **пленарного** заседания МКС).

Специфика блоков и их организации в целом довольно детально обсуждалась. Число (активных) участников блока — 4-5 чел. (минимально — три страны). Окончательный срок заявок о блоках — **июнь 2001 г.** (к этому времени уже должна поступить программа / тематика съезда).

Отдельно встал вопрос о круглых столах (хотя четкого понимания об отличии круглых столов от блоков обнаружено не было). Срок заявок о круглых столах — **октябрь 2001 г.** (с оговоркой, что вопрос еще будет решаться на следующем заседании МКС, предположительно — в ноябре-декабре 2001 г.; страна проведения будет уточнена).

Подлежит уточнению количество блоков, причем резкое его увеличение осуждалось. **От России последовало предложение особого блока по лексикографии.** Однако сделано это должно быть в установленные сроки (см. выше) и по установленной форме: 1. название блока; 2. ответственный организатор; 3. участники блока (4-5 чел.; перечислить); 4. обоснование блока; 5. разработка тематики блока; 6. продолжительность (блока, докладов, дискуссий); 7. способ подачи заявки блока — через национальный комитет.

Весьма напряженно обсуждалась тематика будущего съезда (черновой проект). Пришлось, в частности, отстаивать междисциплинарное единство традиционно первого пункта программы, который рисковал распасться из-за непродуманного отделения и выведения этногенеза и археологии, которая, как известно, в этих проблемах всегда выступает в тесном контакте с лингвистикой.

Отдельно встал вопрос о молодых славистах, далее — о комиссиях, о координаторе комиссий (замена проф. Басары, Польша, ранее исполнявшего эту функцию), о финансовых вопросах, формах поддержки и т. д. Вообще складывается впечатление, что, при всей деловитости обсуждений 16-17 октября, число нерешенных вопросов убавилось мало, ряд деталей подлежит дальнейшему уточнению.

Хозяева будущего съезда (Словения) заверили в максимальном благопритворении с их стороны. Место проведения XIII МКС — Цанкарев дом в Любляне, с залом на 1.300 мест (чем, в сущности, ограничен верхний предел числа физических лиц участников).

В Президиуме МКС 16-17 октября приняли участие представители Словении, Хорватии, России, Белоруссии, Германии, Австрии, Польши, США, Канады, Чехии. Со стороны Хорватии, организатора нынешнего заседания Президиума МКС, присутствовали руководители Хорватского филологического общества, Хорватского национального комитета славистов, филологического факультета Загребского университета, Старославянского института Хорватской академии наук и искусств.

Обычно подобные заседания МКС принято сочетать с проведением тематической научной конференции. В данном случае этого не было, имели место выступления некоторых авторитетных филологов (несколько эскизное, вводное обсуждение хорватских и сербских языковых и этнических древностей, с акцентом на собственные национальные приоритеты; в эти обсуждения был вовлечен и нижеподписавшийся).

О. Н. Трубачев

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ ЖУРНАЛА «РУССКИЙ ЯЗЫК В НАУЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ»

Статьи представляются в двух экземплярах и на дискете. Текст статьи должен иметь окончательный вид. Издаваемые памятники, цитаты и ссылки должны быть тщательно выверены по первоисточникам. Изменения в корректуру могут вноситься только в исключительных случаях. На последней странице статьи после подписи сообщаются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень и звание, контактный телефон (факс, электронная почта).

I. Требования к файлу

I.1. Компьютерный редактор Word 2.0, Word 6.0, Word 7.0, (*но не Word 8.0 и не Word 97!*). Возможна подача материала с расширением .rtf.

I.2. Шрифты семьи Times; древняя кириллица – шрифты Flavius, Slavong, Sergij; древнегреческий язык – Flavius. Если в работе использован специфический, он должен быть записан на той же дискете, что и статья.

I.3. Иллюстративный материал в формате Word.

I.4. Транскрипция — стандартные фонты SIL.

II. Требования к оформлению статьи

II.1. Текст статьи и подстрочные примечания должны быть напечатаны через полтора интервала.

II.2. Нумерация подстрочных примечаний должна быть сплошной по всей статье.

II.3. В тексте статьи и подстрочных примечаниях библиографические ссылки на источники и литературу даются сокращенно в квадратных скобках, где приводятся фамилия автора (или шифр источника), год (или том, часть) публикации и, если это существенно, после двоеточия указание на страницы (столбцы, листы), например: [Тип-89: 6—боб.], [Селищев 1: 129], [Шахматов 1957: 365]. Все библиографические ссылки раскрываются в конце статьи в Списке сокращений (о нем см. II.10), например:

Тип-89 — Минея служебная, октябрь. 1096 г. РГАДА, собр. Библиотеки Московской синодальной типографии (ф. 381), № 89.

Селищев 1 — А.М. Селищев. Старославянский язык: Введение. Фонетика. М., 1951. Ч. 1.

Шахматов 1957 — А.А. Шахматов. Историческая морфология русского языка. М., 1957.

II.4. Если это необходимо во избежание недоразумений, перед фамилией автора приводятся его инициалы, например: [И. И. Срезневский 1866], [В. И. Срезневский 1877].

II.5. Если авторов более двух, в тексте статьи и подстрочных примечаниях следует указывать только одного с пометой «и др.» или «et al.» (для изданий на латинице), а в Списке сокращений необходимо перечислить всех членов авторского коллектива, например:

Дурново и др. 1915 — Н.Н. Дурново, Н.Н. Соколов, Д.Н. Ушаков. Опыт диалектологической карты русского языка в Европе с приложением Очерка русской диалектологии. М., 1915.

II.6. Если ссылки даны на несколько работ одного автора, опубликованных в одном году, то при указании года используется буквенное уточнение, например: [Соболевский 1907a], [Соболевский 1907b] и т. д. Под этим же кодом приводится данная работа в Списке сокращений:

Соболевский 1907a – А.И. Соболевский. Лекции по истории русского языка 4-е изд. М., 1907.

II.7. Если работа опубликована в периодическом издании или сборнике, то название статьи отделяется от выходных данных издания двойным слэшем (//) и указываются номера страниц, например:

Виноградов 1936 — В.В. Виноградов. О задачах стилистики: Наблюдения над стилем «Жития проропа Аввакума» // Русская речь: Сб. статей. Пг., 1923. С. 195-293. Вып. 1.

Жуковская 1957 — Л.П. Жуковская. Типы лексических различий в диалектах русского языка // ВЯ. 1957. № 3. С. 102—111.

II.8. Вместо полного названия периодического издания допустимы стандартные сокращения, например: АЕ — Археографический ежегодник, ВВ — Византийский временник, ВИ — Вопросы истории, ВСЯ — Вопросы славянского языкознания, ВЯ — Вопросы языкознания, ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения, ИАН СЛЯ — Известия АН СССР. Серия литературы и языка, ИОЛЯ — Известия Отделения литературы и языка Российской академии наук, ИОРЯС — Известия Отделения русского языка и словесности императорской Академии наук, РФВ — Русский филологический вестник, РЯ — Русский язык в научном освещении, РЯНШ — Русский язык в национальной школе, РЯШ — Русский язык в школе, СОРЯС — Сборник Отделения русского языка и словесности императорской Академии наук, ТОДРЛ — Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей российских и др.

II.9. Лексические примеры выделяются курсивом, а их значения помещаются в марровских кавычках, например: *божница* ‘полка для икон’.

II.10. В конце статьи приводится в алфавитном порядке Список сокращений, состоящий из двух разделов:

а) письменные и старопечатные источники, ссылки на которые оформляются в следующей последовательности: название источника, его дата, местонахождение, номер фонда в круглых скобках, номер единицы хранения (см. пар. П.3, Тип-89).

б) опубликованные источники и литература.

III. Непринятые работы не возвращаются.

IV. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются.